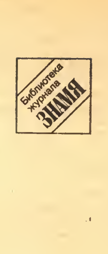


Недолгое пребывание в камере пыток

Повести и рассказы




Библиотека
журнала
ЗНАМЯ

Недолгое пребывание в камере пыток

Повести и рассказы

Москва
Издательство «Правда»
1991

84 Р 7
Н 42

Составление
В. Л. Шохиной

Н $\frac{4702010201-2330}{080(02)-91}$ 2330—91

ISBN 5—253—00236—7

Борис Пильняк

ЗАШТАТ

Российское место оседлости именно — место оседлости и — российское. При царях Иванах здесь была вспольная крепость, при императорах помещался уезд, перед самым семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе рик. В начале века у города возникла было некая необыкновенность и погибла с революцией: наладились было в городе покупать дома с вишневыми садами отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города — семьдесят один километр. Базар и собор на горе, собор, впрочем, заколочен. Вокруг базара двухэтажные каменные места жительства бывших потомственно-почетных с каменными воротами и глухими садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости — одноэтажные деревянные дома, за амбарами сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо.

Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе, в конюшнях и двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза, и там же помещалась аптека; младший ветеринар Клычков, Николай Сергеевич, жил на дворе во флигеле. Через улицу, как раз окна в окна, также на втором этаже, жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей — человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции, и, встретившись, они не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины.

Некогда, еще до пятого года, Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. От пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Феодор Расторов, местный феодал и улан ее величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему, и он пригласил двух врачей помимо санитарного совета и без стажа на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собрание пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить товарищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено,— в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений,— не подавать этим двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил, и он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Феодор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, не подававшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку...— кроме двоих,— кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, узнав о проектах князя, за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподачи руки уклонившись тем самым,

и перешел работать в новый уезд. А Гроза Иван Авдеевич спрятал руку за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал: «Извините, князь, но с этими господами знаком быть я не желаю»,— и был уволен из Калязинского земства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две, когда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Калязин ликвидировать свою квартиру, он объехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по нерастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год начала мировой войны, в зное и духоте феодальной реакции, в условиях второвского капитализма и фонмэкковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его.

— Господа члены санитарного совета,— торжественно сказал Гроза.— Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает, ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях...

Гроза Иван Авдеевич сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг

к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами,— доклад был встречен гробовым молчанием, принят был «к сведению». А летом семнадцатого года, при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами временного правительства,— именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, злой с виду, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят граммов ректификованного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационары, опять разводил пятьдесят граммов, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в десять поджаривал яичницу и ложился на диван, под одеялом из романовской овчины, в сотый раз перечитывал майнридовские романы, пока не засыпал. По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, а в дожди казалось, что по крыше шествует обутое в ичиги мамаево полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозою в Калязине, Лавр Феодосович Невельский семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до ноября, сначала от энэсов, а затем от эсеров занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, а затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и — перевелся в заштат, ехал со станцин в заштат на семи возах хозяйственной утвари. В заштате он отвоевал себе лучший, генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. С ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической литерату-

ры, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его, и глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрика, сказал:

— Иван Авдеевич, новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься.

И Иван Авдеевич Гроза так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад и, низко качая головой из стороны в сторону, раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю.

Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще ж Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старостуденческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

— Ты, товарищ Гроза,— чего ж это ты, здорово живешь, встаешь на дыбки? — или что знаешь? Ежели знаешь — скажи.

Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

— Ничего я не знаю! и я не желаю говорить о Невельском!

В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал «Красную новь» и «Новый мир», вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крыше и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушек и

где развешаны были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Первой весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно за город, куда-нибудь к оврагу иль к холму летом, иль к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически. Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям частная практика запрещена, да и не это являлось специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом и, не занимаясь принципиально частною практикой, он принимал участие в консилиумах, за что в гонорары принимал благосклонно утят и курят. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современность, от калязинской молодости до заштатной мудрости,— о том-де, что на той неделе-де подслушал он из окошка разговор прохожих у его подъезда. Один спрашивал другого: «Здесь, что ль, живет доктор?» — «Здесь!» — «И ничего, доктор хороший?» — «Доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым, живых он не лечит!..» А Гроза жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климков Николай Сергеевич, и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти граммов до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров в заштате возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема,— с громом на рассвете выезжал с бывшего постоялого двора на улицу, верхом на дрожках, в паруси-

новом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой с овсом,— полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева Павла Егоровича, то был он партийцем ниже средней руки — его товарищи давно работали в крае иль даже в Москве,— местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством в местном городском училище Положения 77-го года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не попал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом рика, хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович отмалчивался от жены, на второе приглашение заявил жене строго: «Не пойду, ну их к черту,— интеллигенты!.. и тебя прошу — не ходи... тоже, Завалишина — словами завалила!.. галстуки носят!..» А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

И наступил порог первого Великого Пятилетнего Плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия — заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек, с шофером остановился в общежитии ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тюрина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского, он вместе со стенографисткой-секретаршей устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расстав-

лены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался вопрос об аэроэлектрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплотинивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов,— этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседание собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было, по существу, и прений, ибо все, соглашаясь с докладчиком и восхищаясь его талантами, так строили все свои речи, о ветеринарии, в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайца, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию, и тогда затребовал себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

— Господа,— сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился,— то есть товарищи! Я принципиально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут проис-

ходит. Я служу в земстве,— и опять смутился, обозлел еще больше, поправился,— то есть сначала в земстве, а потом при Советской власти — двадцать семь лет в общей сложности,— опять смутился и окончательно обозлел.— То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. В Германии ветеринарное дело поставлено лучше, чем у нас, германское население культурнее нашего, у немцев соседями являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей, и тем не менее в Германии до сих пор имеются эпизоотии. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые, в свою очередь, граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотий не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующими крайзу. Речь его была вежливейшая и академичнейшая. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы «господа» и «в земстве» были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения.

Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

— Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить... Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом.

Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинение съезду. Слово взял Лавр Феодосович Невельский, заговорил тоном, указывающим, что события не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им и он от нее не отказывается. Он, единственный на съезде, называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

Тогда вскочил с места Гроза Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не спросил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно:

— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что, работая как земец, то есть как врач, двадцать семь лет, я никогда, ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, правильно, но от обсуждения я принципиально уклоняюсь. А поэтому имею заявить: извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю, ибо тут происходит явное передергивание фактов...

Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился летний звон заштата, и в зное всхлынувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский Лавр Феодосович предложил проголосовать резолюции и пожал лавры: было постановлено о ветеринарии, в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

Съезд был закончен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тюрина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», марш Буденного, «Кирпичики» и даже «Гаудеамус». Председатель, завкрайзу, оказался веселым товарищем, простым человеком, и он сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

— А кто этот твой Гроза? — добавил, думая вслух: — Черт их знает, интеллигенты!.. На самом деле, заштат, степь,— беги по этой степи бешеная собака, на тысячи верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике.., а с другой стороны, большинство, ведь не дети ж, не в шашки играют, ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, ведь учились не меньше, чем этот старик!..— как его — Гроза? — такая фамилия?

— Именно такая фамилия,— ответил Трубачев.— Работник отличный, а человек... Человек чумовой, водку

пьет в одиночку и ночи напролет читает иностранные романы. Скандальный человек. Прямо не заметно, но надо полагать, что человек чужой, ведь сбежал же из Можайского земства к нам сюда!..

— А Невельский? — спросил крайзу.— Очень поспешный, черт, вроде эсеров... Кто он у тебя?

— Работает, старается,— ответил Трубачев и начал думать вслух: — Черт их знает, говоришь — интеллигенты!.. на самом деле, галстуки ведь на них на всех одинаковые, пойди разбери... Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого, и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, так его жена меня ученостью завалила. Работает, старается. Я, признаться, избегаю с ними по душам говорить,— стараюсь, полегче, конечно, понезаметней, приказывать и следить за выполнением,— сами того требуют... Я думаю, все-таки большинство право,— ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают,— ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение как специалистов. Я и им повторил. Приходится верить... Галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!..

— То-то — верить! — так же вслух начал думать крайзу.— Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь? Ведь Москва — на материалах республик, краев, областей Союза, ведь в расчетах Великого Пятилетнего Плана в разделе «животноводство», в главе «ветеринария», в параграфе «борьба с эпизоотиями» напишут и примут в расчет: мероприятиями Советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки!.. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

— Своих надо,— невесело сказал Трубачев,— своих, партийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор!.. А приказ — я не могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встает... приходится верить, а то с одним чумовым Грозой останешься!..

Партийцы помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего мерседеса, как прозываются у шоферов вдребезги разбитые ав-

томобили, и поехал в край. Степь легла довспольным простором.

Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответработников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель Николай Сергеевич Климков был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете, Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице, он окликнул в окно, сказал: «Зайдите!» — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемной рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

— И зачем вы только это, Иван Авдеевич?..

— Что зачем?..— крикнул Гроза.

— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а уж если выступили, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом? Уважаемый врач, старый практик и...

Гроза перебил вопросом.

— Какую резолюцию приняли?

— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

— Вы голосовали?

Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, заговорил:

— Вы ведь Невельского давно знаете? Надо было начинать с этого, надо было разоблачать врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом... Да и не это главное...

— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крякнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципиально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать, но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен.— Глаза старика стали печальными.— Вы голосовали за? Но скажите мне сейчас, здесь, наедине, начистоту,— разве

я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?!

— Конечно, правду!.. если не все, не все, то большинство это понимает...

— Так в чем же дело?! в чем дело! — радостно крикнул Гроза.— Ведь я говорил ради нашего дела! я ветеринарному делу помогал и помогал стране!.. и вы — голосовали!..

Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика, заговорил невесело:

— Иван Авдеевич, не мне учить вас! — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи,— ну, разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играть главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции,— с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет,— быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса, быть может, нас никого не будет в живых,— кто знает? Вера в успех — это одно. Малое знание,— это другое. Ну, а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей. Кто тогда будет прав, вы или Невельский?.. И еще. Посмотрите на большевиков — как им хочется, чтобы все хорошо было. Возьмите наш съезд,— о Трубачеве не говорю, он если не прямо, то косвенно приказал: валяй, ребята! — посмотрите на председателя, отличный человек, матрос, старый большевик,— обратили внимание, как у него рассечено лицо? — он говорил на ужине, полосанул белый казак,— ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы все было отлично,— ведь он, поди, счастлив, поди, считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через пять лет у нас не будет эпизоотий,— он жизнь отдал революции,— ну, как против него руку поднять?! И обидеть не хочется, и опять же страшно — власть!.. а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов, и поделом, потому что социально чуждые и правды не говорят и назло и со страху,— страх свою роль играет!..

А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру... шкура человеческая — страшная вещь!

Николай Сергеевич помолчал, он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, опять заговорил невесело и горько:

— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне, говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг!.. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете,— и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и приукрашивают, а вы это сказали вслух, вы правду вслух сказали. Именно поэтому мы и стали на сторону Невельского — это я о себе говорю,— потому что вслух вы сказали правду. Можно даже сказать, что товарищи оклеветали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент. Но в том-то и дело, что, если человек сделает гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом — будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана. Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду, если бы вы не окликнули меня в окошке, если бы не дали так по-хорошему папироски, и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

— И пожалуйста!! Не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза так, что задребезжали стекла в рамках.— В циниках и в предателях друзей не держу! — чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! Не прошу-с!

Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского. Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шепотом:

— Иван Авдеевич,— Невельский подслушивает, умоляю, потише, умоляю, не надо,— я вам как друг говорил, по душам,— умоляю,— подслушивают!..

Старик лег в постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внима-

тельно, взгляд стал очень далеким, старик слушал себя, и старик сказал тихо:

— Не понимаю, не понимаю... ведь я же говорил ради нашего ветеринарного дела, ему ведь я отдал всю мою жизнь, невеселую жизнь... а вам — вам за вашу правду спасибо, я такой правды не знаю, прошу — на меня не сердитесь... Стар! не понимаю!..

Николай Сергеевич молвил очень невесело:

— Э-э-эх, Иван Авдеевич...

Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь. Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба — и Лавр Феодосович и Полина Исидоровна — поспешно окно распахнули. Крик затих.

— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилийка тоже! — сказал Лавр Феодосович.

— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал:

— Нет, конечно, но если бы ты знала, как о̆ни мне надоели!..

— Кто — Гроза?

— Нет, большевики, конечно,— весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

— О, да, конечно!..— сказала Полина Исидоровна.

Окончательно в рассвет у дома ответработников прохрипел «китайский мерседес», и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна. На съезде от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев. Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии, интеллиген-

ты, вы, черти, галстуки носите!..— напутал Невельский? — ты скажи по сердцам!..

Гроза ответил очень покойно:

— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом,— в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте — возьми датскую статистику, если не веришь германской.

— Ты подожди наукой сыпать,— ты скажи кратко — останутся или не останутся, и скажи про Невельского,— молвил Трубачев.— На, закури, Иван Авдеич!..

— Останутся,— твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском и говорить — ниже моего достоинства. До свиданья.

Иван Авдеич перебрал вожжи.

— Ты постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты что же, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? — почему я тебе верить должен?..

— До свиданья,— сказал Гроза,— глупости говоришь. Еду на страховку.

В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат. Базар и золоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности, обутые в ичиги, мамаевы кочевья ночи и дождей, над заштатным дули ветры и метели. И как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание поместило в городе рик. В начале пятилетки снимали в городе с церкви колокола, заштатцы говорили: ничего не выйдет, народ за колокола взбунтуется,— но колокола сняли и забыли о них в новых событиях. В социальном ветре, который прошел над страной, всполошились деревни вокруг заштата, валом повалив в колхозы. Заштатники говорили: ничего не выйдет,— но единоличник исчезал, и в новых деревнях о нем забыли. Весь заштат однажды не спал ночи, мальчишки целые сутки висели на заборах и липах, а молодежь с котомками уходила навстречу,— ожидали трактора со станции, невиданное зрелище. Тракторов въехало сразу двадцать три штуки,

и проехали тракторы прямо в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатинки провожали тракторы до собора и влезли в гараж вместе с тракторами, три дня ходили пересматривать тракторы старухи, в поле таскались смотреть, как тракторами пашут, и не заметили за тракторами, как от станции до заштата — семьдесят один километр — вместо екатерининского глиняного большака легло каменное шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами и автобусом, за грохотом тракторов заштатинки не заметили, как под горой на месте разбитой мельницы зафыркала электростанция, и, как должное, затребовал заштатец в рике себе на дом провода. Не заметили, как многие заштатцы смылись из заштата и подобру-поздорову, и иными путями, как новые поселились в заштате люди, не знавшие о довспольных временах. Так прошло четыре года. В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог второго Пятилетня, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотин в заштатных землях есть. Дом Грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под Новый год,— в Москве тогда только что отошел процесс промдеятелей, и московские газеты назревали кондратьево-чаяновским процессом,— совсем под Новый год по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. С одного из них вылез — в овчине, в треухе, в валенках — бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп — там заседала новая комиссия. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, опершись на скрещенные руки, бритый, молодой, с ромбами на красных нашивках.

— Эх, ты,— галстуки!.. не дети же...

Трубачев стоял против стола, не садился всю ночь. И глубоко за полночь последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения, проводили. В музейном зале от ламп под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич?! Здравствуй, как поживаешь? Мы вот тут стенограммы читаем,— это вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план,— ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?,

— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.
— Ты нам посоветуй, что ты можешь сказать в свое оправдание. Мы вот сегодня Невельского арестовали...
— Арестовали? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими сединами.
— Арестовали,— ответил моряк.— Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его и арестовывать не пришлось бы, а, может, его б тогда арестовали — для пользы дела. И знаешь, тебято за укрывательство негодяев надо арестовать. Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил! И вот ты об этом подумай, старик, ведь ты ж вредителем оказываешься со своей интеллигентской моралью. Тебе верить можно?
— Можно.
— Тогда ты это докажи и не путай. Ты нам изложи твои точки зрения на местную ветеринарию и взгляды. Ты что ж, Невельского отстаивать будешь?
В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В довспольные времена здесь ходили мамаи, была здесь вспольная крепость. Но, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили: ничего не выйдет. Гроза взбунтуется, не говоря уже о Лавре Феодосовиче Невельском,— однако колокола сняли, забыли о них.

Владимир Тендряков

ОХОТА

Охота пуще неволн

Осеиь 1948 года.

На Тверском бульваре за спниой чугунного Пушкнна багряно ненстовствуют клены, оцепенело сндят старнчки на скамейках, смеются детн.

Чугуииая спниа еще ие выгнаниого иа площадь Пушкнна — своего рода застава, от иее иачинается лнтературная слобода столицы. Тут же иа Тверском — дом Герцеиа. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патрнарх Горькнй, где ои в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олнмпа. На задворках этнх гостеприимных патриаршнх палат уютио существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски иаловчился смешить олнмпнйцев, кувыркаясь иа ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковскне переулочкн — Скатертный, Хлебный, Ножевой,— лежит бывшая Поварская улнца, на ней помещичий особняк, прославлеиный в «Войне и мнре» Львом Нниолаевнчем Толстым. Здесь правленне Союза пнсателей, здесь писательскнй клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец лнтературной слободе.

Но, навериое, нигде лнтатмосфера так ие густа, как в доме Герцеиа. И еслн там в сортнре иа стене вы прочтете иачертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это иастенное откровенне звучит так:

> «Хер цена дому Герцена!»
> Обычно заборные надписи плоски,
> С этой согласен —
>
> В. Маяковскнй!

Так сказать, снмбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»[1]. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:

Нигде кроме
Как в Моссельпроме!

А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

---

[1] Уже после окончания повести я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

Он был автором повально знамеиитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детнще бурио жило, забыв своего родителя. «Тачаику» пели во всех уголках страны, а Рудерману ие хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвóздикамн».

Где-то за спиной нашего ииститута, на Большой Броиной, жил в те годы иекий Юлий Марковнч Искин. Он не осчастливил мир, подобио Рудерману, победиой, как эпидемия, песней, ие свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существованин, хотя в Союзе пнсателей ои пользовался некоторой известиостью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У иего, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомиатиая квартнра, забнтая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятнлетияя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательио упрятывали под липы централььиую улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland über alles!» — «Германня — превыше!..» Ха!.. В прахе н в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на баикете поднял тост за здоровье русского иарода:

— Потому что он является наиболее выдающейся иацией нз всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезнеиную гордость, даже русская матерщина. Что ие по-русскн, что иапоминает чужеземиое — все враждебио. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисоиа... Кстати, почему это счи-

тают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потустороннней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?..

«Deutschland, Deutschland über alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать,

говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя,— претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка— оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте,— кивок шляпой, неулыбчивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него не смотрел, прислушивался к себе.

А и. о. директора не обращал внимания на неулыбчивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окал, по-деревенски выглядел да и невежествен был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмесу.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это вопиющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революции Федору Тенкову, моему отцу,— всего двадцать один год!

В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверхвозбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались во евать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наиболее квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наиболее грамотного из рабкоров взяли в штат. Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты, а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило — буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простоях вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит, чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой парень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но — странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей

победой, уж никак не разгромом... Наша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием, которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью.

Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушаст, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушие,— сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не спел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литстервятников.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного,— подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра-шо,— сказал он отечески.— Оч-чэнь нэ харашо. Плахой мнр лучше доброй ссоры. Пратяните рукн, памиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не злопамятный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах с минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева внсела в воздухе, а за широким застольем обмиралн гостн — великий вождь н учитель попадал в иеловкое положенне вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя ие предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадэев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный челавэк, то-варищ Фадэев. У Авэрбаха есть характэр. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, н можно представить, как пылали большие уши Фадеева, н, наверное, Авербах спесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто подыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовалн, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды нз разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, непосильное несогласие, от него одна водка уже ие помогала, к ней нужны былн еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велнк, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание н... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запои, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь?! Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачным дубом, шло очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице

сам собою подмигивал глаз каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с заграницей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывше грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязан ли ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колючий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился расслабленно

беззащитной и в то же время едкой улыбочкой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острота:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостья.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашеная — с расчетом «на знойкость» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и

мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостья не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна.— И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмиревшей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханных полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых»,— ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучко-

вой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали, на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна! Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Привет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рачков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.

Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.

Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед троицыным днем она почувствовала себя лучше потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на грудях. Мать перед ней —

ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков,— холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине,— нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно нагрянул, проклятая родина.

Холщовую суму Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшенного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И тучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, запивала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не знай чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хомутов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого подобрей лица. Она протянула руку к офицерику:

— Христа ради, на пропитание.

Офицерик был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах,— рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За свериком, стороной, рыча, громыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями, в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся ласковым вечером. Тут не было ничего необычного, институтик карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышу, под одну шапку,— заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника.— Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!»

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах и подрагивающее острое коленко, и худая, как коршунья лапа, рука вкогтилась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет.— Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушага́ем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримири́мости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фю-

ить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я,— единственный признак для определения классовости? А что если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать по-нашему.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворницки думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить,— продолжал незнакомец,— что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внемли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую макушку в жидких тусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

•

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома,

тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрезился ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной, я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте.

Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а... Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пытались повесить чужую растрату. И с Иван Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не нравится лисоньке ма-

лишку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексирует, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ», Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ,— чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена самомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть некудышных. Нас-то кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадь-то у него на ходу валится, и обрать-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот ужо, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, после-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незваный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открыла, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил.

И еще тем усердием он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, что способен оценить все русское». А нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя,— голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выноснть в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего н не понял.

Ночью, перед сном, он вспомннл этот случай н рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тнхо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомнн Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напомннал стуком, что есть несчастные. Дина, до снх пор мы былн непозволнтельно счастлнвы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежнтия отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояння!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит пнсьмо матери. Мать пншет нз села:

«Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо — прожнву. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а нмей сто друзей. Карточки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то н мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матерн послать кнлограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержнт.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисеевском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио бравурно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили

штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку.

— Вот...— он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою.— На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных

людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо...— произнес наконец секретарь.— Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен? Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, *все* сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — *все* сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, *создал* новые теории. Сначала *создал*, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше *создал* для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайтеся! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашеных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами,

забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:

— Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойся, успокойся! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашеные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести легкого наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные,— просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки... госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга Фадеева, ни разу не прибегал к его высокой помощи. Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался на том конце провода:

— Да что они, с ума сошли! Идиоты! Перестраховщики! Бдительность подменять мнительностью!..— Тут же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком! А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава советских писателей Александр Фадеев не мог вмешиваться в работу партийного комитета: «Прекратите, мол, дурить!» В райкоме же партии непременно прислушаются к слову известного писателя, члена ЦК. Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был незамедлительно принят одним из секртарей, женщиной средних лет в темно-синем костюме и белой кофточке, с моложавым миловидным лицом, с чистым голубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Маркович сразу почти физически ощутил, что у него семитский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка, врожденная скорбность в складках губ, характерная для разбросанного по планете мессианского племени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый вопрос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-меие.

— Вы ие замечали в его поведеиии ннчего предосудительного?

— Ничего.— Мог ли ои ответить ииаче.

— Вы были иа собранни, когда обсуждалн Вейсаха?

— Был.

— Почему же вы тогда не протестовалн?

Голубой взор и участливый голос. Юлнй Марковнч ощущал признаки семнтства иа своей фнзиономни. Секретарь райкома глядела иа иего, он молчал.

— Вашего старого друга осуждалн. И вы зиали, что он ин в чем не повннен. Так почему же вы ие встали и открыто не заявнли об этом?

Голубые глаза, прилежио завитые светлые волосы, в миловидиом лнце терпелнвая, почти матерннская требовательность: почему?

На собраини тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сндел в самом углу, тнхо сидел... И после собраиня он ие осмелился подойтн к другу Семеиу... Оплывшая фигура, свинцовая фнзиономня, сам собой подмигивающнй глаз.

Юлий Марковнч ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, иаверное, ие обладаю достаточным мужеством...

Сокрушеииая гримаска в ответ.

И он поиял: летит вииз, иадо сню же мннуту за что то ухватиться. Ои заговорил с раздражеиией обндой:

— Послушайте, почему вы ие вспоминаете о письме? Без этого пнсьма инкто и не подумал бы меня подозревать! Освободнте меия сиачала от ложиых обвинений, а уж потом иакажите... за слепоту, за отсутствие бдительиости, за трусость, иакоиец! Со строгостью!..

— Письмо?.. — уднвилась оиа. — Ах, да, да... — И брезглнво передериула плечиками: — Это аиоинмка... Товарищ Искни! Не считаете ли вы, что мы идем иа поводу аноинмщиков?.. Личио я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мие изложили.

Нужно лн вспомниать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхиул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протяиула ему руку:

— Мы попроснм, чтоб товарнщи разобрались в вашем деле со всей беспристрастиостью.

Ои был уже у дверей, когда оиа его оклнкиула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокий секретарь райкома не мог взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать,— передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить наверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, осторожненькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безрод-

ные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшнйся, тоже безродиый.

Каждому ясио: Искии — ннчтожиая фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Ои — безродиый.

Если вдуматься, что за странное обвиненне. Каждый человек где-то роднлся, каждый может указать место иа карте: «Я появнлся иа свет здесь!» И при этом нелепо нспытывать стыд или гордость, счнтать — удачно родился или неудачио. Можио рассуждать о том, чем н как отличаются Холмогоры от Симбнрска: меньше по населенню — больше, дальше от коммуиикацнй — блнже к ннм, культурией — некультурней, но ннкак нельзя оценнть эти два географических пуикта в плане родины — мол, предпочтительией в Симбирске, чем в Холмогорах, одио лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценнвать человека по месту рождения: мол, нмеет достойную родииу, а потому и сам достоин уважения, н наоборот.

Он, Юлий Марковнч Искин,— безродный!..

Да иет же! Ои роднлся в самом центре Россин — в Москве! Так уж случилось, тут нет его лнчной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пнрожннцами, сндящнми на морозе на горшках с углями, помннт н Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-такн безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным велнкого Сталина? Право же, родился в Грузнн, с юности жнвет в России, чаще говорнт по-русскн, чем по-грузннскн, а не столь давно на весь мнр заявнл: русская нацня «является наиболее выдающейся иацией нз всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитнческий акт, безродиый по духу.

И Сталииа славят за эту безродиость.

А Юлня Искина клянут: не имеешь права считать своей родииой Москву, всю Россию!

Неудачио родился, ие там, где следует.

А где?..

Если можио отиять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отиять у человека родииу?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слежавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это он! И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, перекличка машин. На праздничио освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кошка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой, втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинув повыше голову, расправив грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!..— свистящий в лицо шепот.— Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое имя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?!. А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости...

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья, царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из предопределенной ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил надсадной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит мир силой своего таланта. Он сыт был славой, нужно самопризнание.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом...

Не впервой с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда преданно смотрит ему в рот. И каж-

дый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадежность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорош. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным,— приспособляется. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадежности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь — этого никто не может,— способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут окликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и пивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болезненно зябнущие после вчерашнего перепоя; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор,— разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлюстанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, т р е т и й номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому примкнул парень-рабочий с волевой челюстью и виновато

увнливающимн от прямого взгляда зрачками, иачииающий алкоголик, еще сохраививший пока способиость стыдиться самого себя.

Через пять минут оии сндели на скамейке в истоптанном сквериκе, нстово делили водку из зелеиой поллитровкн в граиеный стакаи, заблаговремеиио припасеиный ржавомордым. Стакаи был одни, пнли по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюблеиио.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, ои заговорил, что жизнь стаиовится «сквозио бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренией снлой, которая пьяиила самых трезвых, искушеииых делала сентнментальиымн. Два случайиых алкоголика — старый н молодой — слушалн его, не поинмалн, но вернлн каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликиул:

— Мать честиа! Живешь среди свиией да вдруг иаскочишь — какие людн бывают иа свете!

Этого полупьяного призиаиия было достаточио,— Фадеев подиялся н потребовал:

— Пошлн!

Оин продолжали в грязиом, дымном рестораие Павелецкого вокзала. Там свалнлся старый алкаш и вместо него подхвачен какой-то комаидировочный. И уже кончнлись возвышеииые речн, былн только излняния:

— Ты меия любишь? Ты меия уважаешь?

Его любилн н уважали здесь ие за то, что знамеинтый писатель, высокопоставлеииое лнцо, просто так — «за натуру».

А в Правленнн Союза легкий переполох: латииоамериканца должен приинмать кто-то другой. И обзваннвалн члеиов секретарната: «Александр Алексаидровнч болен. Александр Алексаидровнч сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала онн взялн такси н поехали за город, в Переделкнно.

— Ты меня любншь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканскнй пнсатель счел своим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господиia Фадеева? Ему любезио н скупо ответили: «Сердечиая недостаточность». Совещаиие секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутиой реки на счастлнвый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано ли поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блестка лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда,— возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицезреть! Чтоб наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мерт-

венно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство победности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх, как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычны, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки и стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования... Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:
— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист, и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом людям отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, попахивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные прохожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохожий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выпирающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?

— Действительно — почему? Белинский называл се-

бя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты...— произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно,— не моргнув глазом, согласился незнакомец.— Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками,— узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет,— сказал он наконец.— Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться.— Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почуяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым батоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и зауряд-

ных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противоестественно! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семеном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкина.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы не пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого,— сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса»! И немцев от этого не стошнило, нравилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

— А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом:

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший,— возмутился я.— Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?..— Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более, что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел тощий человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не тресиул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отечества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зябкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают

и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке на голове. А рядом с ним, парадно рослым,— невысокий, со скособоченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам: на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа — «Норт-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль вселенский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька,— глубинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими?

Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, гори они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар. Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянутая на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька...— произнес он,— ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось,— сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные кущи Гоголевского бульвара — сведенные челюсти, натянутая кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо,— обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — неодетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы!.. Ваши!..— Возле других коек. Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежке! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, севденным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте.

— Можно я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания... Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка. — Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками.

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?!. Талант продали, гады!!.

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике.

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они-то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неведомо. Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое **«Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».**

Документ этот краток и выразительно откровенен:

> А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — $5^1/_2$ месяцев и в 1956 году — $2^1/_2$ месяца).
>
> 13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.
>
> *Доктор медицинских наук, профессор Стрельчук И. В.*
> *Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.*
> *Доктор — Оксентович К. Л.*
> *Начальник Четвертого управления Минздрава СССР Марков А. М.*
>
> 14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголнк, запойный пьяница, в «очередиом приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в нсторин, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Нашн же офнциальные сообщеиия никогда ие грешили иеосмотрительной откровеиностью. Конечно, не иекие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволнлн широковещательно оскорбнтельный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пнл чай, был угнетеи, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкнн и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель н Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убнтыми. Фадеев называл Борнса Горбатова — умер от инфаркта, ио перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский напнсал об этом разговоре статью, разумеется, она так н не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направнл на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечнлся... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непокорных минут перечеркнуть всю добропорядочную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын, достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавлнвается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Ленииым, прощалнсь со Сталнным. Редчайшне покойнники удостаиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — иа Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хороият писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без

цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Анинск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

> КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...[1]

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

---

[1] Эмигрировал в США в 1972 г.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?..

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика

Документ, вырвавшийся из канцелярии М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.

Резолюция академика
Келдыша: «Ознакомить».

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных должностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Коврплины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича [деда автора.— В. Т.], выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Нара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду,— пишется далее,— насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в свойственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об ос-

новых западноевропейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945—1946 гг., когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ, старший научный сотрудник АН СССР (по совместительству)
И. С. Нарский.

10 октября 1970 г. Москва.

Хотелось бы обратить виимаине на следующие обстоятельства:

Знаменательио, этот докумеит появился спустя 20 (!) лет после кампаиии борьбы с безродиыми космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор ие просто профессор прославлеииого Московского уииверситета, а явио преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать члеиом-корреспондеитом Академии иаук.

Напористое требование ознакомить членов отделеиия философии и права со своей столь непорочной родословиой вызвано, думается, ие только непроходимой глупостью, характериой для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенио звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровиость» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвииеиий в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности ие помогли. Академики ие избрали Нарского в члеикоры. Ему осталось только сетовать иа происки сиоиистов.

Август — ноябрь 1971 г.

Фазиль Искандер

ПИРЫ ВАЛТАСАРА

Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом ЦИКа и определил в знаменитый абхазский ансамбль песен и плясок под руководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способных соперничать с самим Патой Патарая!

Тридцать рублей в месяц как комендант ЦИКа и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант ЦИКа дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени по почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения. Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение или свадьбу или в крайнем случае собственный приезд.

Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что, раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину: мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.

Глава из романа «Сандро из Чегема».

Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.

Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили, как следует.

Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюика», чтобы в таком виде провезти по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.

В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.

После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!

Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.

К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то, чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику...

Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, только не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.

Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже гремел в Москве и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене республиканского театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.

Однажды участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучишь башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.

Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голове дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.

На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале ЦИКа при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.

Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.

Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.

По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.

По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.

Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта ЦИКа или тем более участника ансамбля.

И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Пацулая оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Пацулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.

Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще не раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.

И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий ЦИКом делает ему оскорбительное замечание.

— По-моему, у нас крадут дрова,— сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленных и сложенных во дворе ЦИКа еще в начале лета.

— Садятся,— небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.

— Я что-то не слыхал, чтобы дрова садились,— сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.

— А ты не слыхал, что вокруг Чегема леса сгорели? — вкрадчиво спросил дядя Сандро.

Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.

— При чем тут Чегем и его леса? — спросил управляющий.

— Вот я и вожу в горы ЦИКовские дрова,— ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.

«Эшеры уже проехали,— думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице ЦИКовского особняка,— наверное, сейчас приближаются к Афону». Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. «Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился»,— думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.

Особено было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.

На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.

Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.

Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, сидели тут же в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще наезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.

Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих

органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.

Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая неимоверные цены, несколько дней горделиво простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: «Ничего, сами съедим». Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.

К одному никак не могли привыкнуть чегемцы, это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно, куда смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь или по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.

Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.

«Сегодня,— думал дядя Сандро,— наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев». Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро, и он может обидеться, как родственник». Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро.

— Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие,— сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.

— Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда,— после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.

— Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров,— провел историческую параллель третий чегемец.

— Все же не настолько,— после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.

Скупо переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.

И вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

— Что легко пришло, то легко уходит,— ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу.

— Не хотел тебя беспокоить,— сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку,— тебе телеграмма.

— От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

— От Лакобы,— сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор»,— прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

— «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму.— Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

— На улице ждет,— ответил управляющий,— не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

— Знаю,— кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к оставшимся и сказал с пророческой уверенностью:

— Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

— Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

— Чувствую,— сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

— Именем Нестора не всякому разрешают клясться,— услышал дядя Сандро из-за дверей.

— Таких в Абхазии раз-два и обчелся,— уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело, дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

— Пропуск,— сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой.

Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом — в другой, он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.

— Абхазский ансамбль,— намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита. Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.

Дядя Сандро радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Вынимая каждую вещь, дядя Сандро честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому

злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.

Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в цареубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла в какой-нибудь безумной голове.

Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.

Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.

— Вы Сандро Чегемба? — спросил он.

— Да,— сказал дядя Сандро и вдруг догадался,— но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!

— Афиши меня не интересуют — сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.

Дядя Сандро пришел в отчаяние. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.

— Бик, ЦИК, Лакоба,— словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.

И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикулировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвевающиеся полы черкески.

— Его спросите,— сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаться кровью.

Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.

Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, не положенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя

это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.

Хотя телефон был новенький, может, только сегодня поставленный, слышно было плохо, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.

— Участник ансамбля, известный Сандро Чегемский,— заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.

— Знаю,— просто сказал милиционер,— проходите.

Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.

Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.

— Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

— Почему будет, когда есть,— сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.

— Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им телеграмму Лакобы.

— Управляющий принес,— говорил он, размахивая телеграммой.

— Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая.

Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

— Главное,— говорил он,— когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девушку строить из себя тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить — выпей и отой-

дн к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.

Танцоры, слушая Пацулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог — скок, скок, скок! — делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.

Пата Патарая несколько раз, готовясь к своему знаменитому номеру, разгонялся, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.

Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе его секретный номер, и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»

— Помните, что сцены никакой не будет,— говорил Пацулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев,— танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше...

Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Пацулая.

— За мной, по одному,— тихо сказал Пацулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.

За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой — дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.

Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.

Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидели два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то

уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.

Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и, молча, отчаянным движением руки: давай! давай! давай! — как бы вмел всех в банкетный зал.

В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.

Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая.

Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжат веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.

Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался Всесоюзным Старостой Калининым.

Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем, как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают и потому дальнейшее молчание ансамбля становилось нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.

Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви, сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится.

С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, нехлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.

Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.

— Вон товарищ Сталин!

— Где, где?

— С Калининым говорит!

— Оказывается, Ворошилов тоже маленький!

— А это кто?

— Жена Берии!

— Вожди — и маленького роста.

— Маленькие, они более устойчивые...

— Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...

— Тамада наш Нестор!..

— А, может, Берия?

— Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.

— Сталин его всегда выбирает... Он — его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, и что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее пусть как маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что

он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.

Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.

Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями. Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржомом. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «Изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так, жареные перепелки запеклись в собственном жире. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но не дай бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За

Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.

Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.

Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.

— Любимый вождь и дорогие гости,— начал Пацулая,— наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...

Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.

— ...исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.

Пацулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж так или иначе она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он довершил свой многозначный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленными рукавами белой черкески, и замер на взмахе.

— О-райда, сиуа-райда, эй,— как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.

И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она... Не всем суждено увидеть пламя родного очага... И когда поперек седла мертвый

юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.

Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.

Такова воля судьбы и судьба мужчины.
Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
Виноград зреет, чтобы родить вино.
Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.

Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.

Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.

Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти, и поэтому ее продолжают подогревать на маленьком огне мелодии.

— О-райда, сиуа-райда! — повторяет хор.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! — хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.

Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер!.. Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.

В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину — врезаться, взмыть, прорваться... Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.

— Ах, так?! — словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся.

— Ах, так? Ах, все еще? — И снова.

— Ах, так? Ах, так? Ах, так?

Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.

— О-райде-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!

Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот — ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.

С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.

И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.

Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.

Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Патарая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновение, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глазами от хорошо начищенных, сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

— Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту... Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарая, вскрикнув, как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, зами-

рает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

— Чересчур,— покачал головой Берия.

— А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он коечто приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ног товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного, танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук, и слепота гордо закинутой головы, и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы

давая убедиться, что номер был проделан чнсто, без всякого трюкачества. Ои жестом прнгласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматрнвать. Неожиданно Ворошнлов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калиннна башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

— Кто ты, абрек? — спросил Сталин н взглянул на дядю Сандро свонмн лучистыми глазамн.

— Я Сандро из Чегема,— ответил дядя Саидро н опустил глаза. Взгляд вождя был слншком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойиая теиь мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дядн Сандро.

— Чегем...—задумчнво повторнл вождь и сунул в руку дяде Саидро башлык. Дядя Сандро отошел.

— Какая точность,—услышал он голос Калиннна. Поглаживая бородку, Калнннн ласково кивнул в стороиу дяди Сандро.

— Солнце видно сквозь башлык,— важно заметнл Ворошнлов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест ои возился с ухом, поросеиок выпустил изо рта зажатую в ием редиску, и оиа покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Ои настолько удивнлся, что, оставнв вилку в иедорезаином ухе поросенка, стал нскать закатившуюся между блюдами и бутылками реднску.

Тут только дядя Саидро обратил виимание на то, что сидящне за столом уже порядочно выпилн. Теперь ои прнсмотрелся к ним своим иаметанным глазом и определнл, что выпнто уже по двенадцать-трннадцать фужеров.

Дядя Сандро говаривал, что умеет определнть по внешиости застольцев, сколько онн выпнлн, с точностью до одиого стакана. При этом он пояснял, что чем больше людей за столом и чем больше онн пьют, тем точиее он мог это определнть. Но это еще ие все. Оказывается, точность определення повышается с выпитым виином не беспредельно. После трех лнтров, говаривал дядя Саидро, точиость определения снова падает.

...Платон Пануулая стоял перед сдвоенным кипарнсовым строем своих питомцев. Сейчас оин должны были спеть песню о красных партнзаиах «Кераз». Все шло как иельзя лучше, поэтому Паицулая не спешнл, давая танцорам отдышаться.

— Тебе хорошо,— говорил дяде Сандро земляк по району,— теперь ты обеспечен на всю жизнь..

— Да брось ты, Махаз,— скромничал дядя Сандро.

— Да ты что? — не глядя на него, распалялся Махаз.— Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Такое и немец не придумает!

Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.

Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.

А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз...» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинину, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене, и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил,

приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:

— Пей, пей, пей...

Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущения, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.

Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

— Пей, пей, пей,— услышал дядя Сандо над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог, с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

— Пьешь, как танцуешь,— сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом.— Где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную нужку, вдруг остановилась, и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал

смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел, не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

— Нас в кино снимали,— неожиданно для себя сказал дядя Сандро,— там могли видеть, товарищ Сталин.

— А-а, кино,— протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил.

Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

— Пей, пей, пей,— раздалось рядом.

Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, подумал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он — Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.

Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.

— Может, пригласим их за стол? — спросил он.

— Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость,— ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.

Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попро-

ще, рядом с секретарями райкомов Западиой Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островкн разнородных разговороз начинали жить самостоятельной жизнью.

Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.

— Я подымаю этот бокал,— иачал он тихим внушительным голосом,— за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя...

Он замер, и долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?

— ...моего лучшего друга, Нестора Лакобу,— закончил Сталнн фразу, н рука его сделала утверждающнй жест, несколько укороченный тяжестью фужера.

— «Лучшего» сказал, «лучшего»,— прошелестелн секретари райкомов, мысленно взвешнвая, как эти слова отразятся на тбилнсском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. Прн этом брови на каждом нз ннх продолжали оставаться удивленно приподнятыми.

— ...В республике умеют работать и умеют веселиться...

— Да здравствует товарищ Сталнн! — неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов н вскочил на ноги. Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежностн его оползання, Сталин отвел глаза.

— Некоторые товарищи...— продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он серднтся на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.

Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменнтый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.

Сидевшне рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступилнсь, образовав между ним н собой просвет с идеологнческим оттенком. Все секретарн райкомов смотрелн на него, удивленно приподняв бровн,

как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.

Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.

— ...некоторые грамотеи, там, в Москве... — продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.

Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул — пронесло!

— ...Бухарина...— услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.

— ...Бухарина, Бухарина, Бухарина...— прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.

В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «наш грамотей». Теперь: «этот грамотей».

— ...думают, что руководить по-ленински,— продолжал Сталин,— это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительных мер...

Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивается к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.

— ...но руководить по-ленински — это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо... Небольшой пример.

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.

— ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием,— продолжал Сталин,— раньше он танцевал для узкого круга,

а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

— ...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола, Нестора Лакобу,— закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Аллаверды, Лаврентию...

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.

— Не слишком дерет? — спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.

— Нет,— сказал Сталин, мотнув головой,— думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.

Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя в отличие от многих других в самом деле подтвердилось — аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.

Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.

«Значит, он с ними, а не со мной,— подумал Сталин,— как же я его проморгал»... Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а тому, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

— А что с тобой, конопатым, целоваться,— сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина,—вот

если бы ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. Нет, не изменило чутье, подумал Сталин.

— Ах, ты, мой Всесоюзный...— сказал он, обнимая и целуя Калинина, а в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.

Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:

— Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует...

— Конечно, товарищ Сталин,— сказал Берия и посмотрел на жену.

— Но я не умею, товарищ Сталин,—сказала она, краснея.

Сталин знал, что она не умеет танцевать.

— Вождь просит,— грозно шепнул Берия.

— Зачем вождь, мы все просим,— сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил,— давайте, ребята.

На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.

— Я не ломаюсь, я в самом деле не умею,— говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновенье, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.

Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.

— Молодец,— сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.

— Сарью, просим Сарью! — раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.

— Иди же,— сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.

Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патарая, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.

Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.

— Лаврентий,— тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя.— Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается...

Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь — судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так растравлять Лаврентия, подумал дядя Сандро.

В это время Сарья выскочила из круга и, обняв жену Берии, поцеловала ее в глаза. Все почувствовали в этом ее порыве тайное благородство, желание смягчить ее неудачу, обратить все в шутку. Все радостно захлопали, и женщины, обнявшись, прошли к столу.

— Потом скажешь, что они говорили,— шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий, и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.

Почти одновременно со словами Лакобы раздались три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнийкой трещины.

Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрывала белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв го-

лову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:

— Попал пальцем в небо.

Ворошилов густо покраснел и опустил голову.

— Среди нас,— сказал Сталин,— находится настоящий народный снайпер, попросим его.

Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал, в чем дело.

Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.

— Может, не стоит? — сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.

— Стоит! Стоит! — закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики, мол, глас народа, ничего не поделаешь.

Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.

— Позови,— кивнул Лакоба склонившемуся директору.

— Переодеть? — спросил директор, все еще склоненный.

— Зачем? — сморщился Лакоба.— Проще, проще...

Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.

— Я хочу поднять этот бокал,— начал он своим дребезжащим голосом,— не за вождя, но за скромность вождя.

Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки.

Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он. Глухой не льстит. И деньги выслал с получки... Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.

Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости.

Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил: рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль... Так кто умеет заглядывать в будущее: он или этн грамотей?

— ...Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? — продолжал Нестор Лакоба.

— Не мы с тобой сажали этн мандарины, дорогой Нестор,— ткнул Сталин трубкой в его сторону,— народ сажал...

— Народ сажал,— прошелестело по рядам.

Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «Враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее выняичил и пустил в жизнь.

Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.

Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи может быть один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, есть следствие ее высочайшей мудрости.

Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечения людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости, и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор.

Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности

вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.

Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.

Это был среднего роста, пожилой, полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.

Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.

— Нестор Аполлонович, повар здесь,— сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.

— Хорошо,— сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.

Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцу. Этого он еще не видел.

— Индюшкины яйца? — вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо...

— Куриные, Лаврентий Павлович,— подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.

— Тогда почему такие большие? — спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.

— Сам выбирал,— хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.

— Может, заменить, Лаврентий Павлович? — спросил он.

— Нет, я просто так говорю,— опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.

— Ревнует к Глухому,— шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.

— В этом углу, по-моему, лучше,— сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.

— Совершенно верно,— подтвердил директор.

— Волнуется? — кивнул Лакоба на повара.

— Немножко,— сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.

— Успокой его,— сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.

Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.

Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.

— Если б ты только знала, как я ненавижу это,— шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попá.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу, и если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за сту-

лом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Саидро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Саидро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Саидро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое, и только потом услышал выстрел.

— Браво, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.

— Давай,— кивнул Лакоба. Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.

И опять на этот раз дядя Саидро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх, и только потом раздался выстрел.

— Браво! — И взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.

— Посади его за стол,— бросил Лакоба жене по-абхазски.

Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.

Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие

права и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немало выгоды.

Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.

Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.

Сарья налила повару фужер коньяка, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.

Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.

Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен, или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.

Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.

«Мне надоели твои партизанские радости»,— говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такому оскорблению. Я думаю, скорее всего человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба как истый абхазец этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины.

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

— Мой Вильгельм Телль,— сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову,— а ты кто такой?

— Я — Ворошилов,— сказал Ворошилов довольно твердо.

— Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, думал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.

— Конечно, он лучше стреляет,— сказал Ворошилов примирительно.

— Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

— Ну хватит, Иосиф,— сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

— Хватит, Иосиф,— сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова,— говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

— Скажи, чтоб начали его любимую,— шепнул Нестор жене. Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте, мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический цвет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место?

Лети, черная ласточка, лети...

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины...

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом. Показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили,— радостно говорит ему хозяин.

— Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии.— Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да,— подтверждает хозяин,— тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.

— Интересно, почему не захотел? — удивляется гость из Кахетии.

— Хлопот, говорит, много,— объясняет хозяин,— и крови, говорит, много придется пролить.

— Хо-хо-хо,— процокивает гость из Кахетии,— я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия,— поясняет хозяин,— у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому.— От целой страны отказался...

— Да, отказался,— подтверждает хозяин,— потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай бог ему здоровья! — восклицает всадник.— Но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек, все предвидит,— говорит хозяин.

— Дай бог ему здоровья,— цокает гость из Кахетии.— Дай бог...

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают... Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтоб сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом.

Хоть в старости почет и достаток пришел, наконец... Добрая...

Лети, черная ласточка, лети...

Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым на-

катом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивлению приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.

Лети, черная ласточка, лети...

Они думают, власть — это мед, размышлял Сталин. Нет, власть — это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Да, да, он это знает. И его любили и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами дела.

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я... Но так ее никто не может чувствовать...

Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом на столе, но он ждал: кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.

Вот так, будешь умирать — стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке.

Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как

легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, думал он, не одному мне мучиться.

Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.

— Клим,— сказал он глухим от волнения голосом,— где Царицын, где мы, Клим?

— За что обидел, Иосиф? — поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.

— Прости, Клим, если обидел,— сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаянием,— но они нас с тобой еще хуже обижают...

— Ничего, Иосиф! — воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими.— Ты им еще покажешь, где раки зимуют...

— Думаю, что покажу,— сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.

Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселея и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией — это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.

— Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? — спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время.

Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)

Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в

этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.

— А что он сделал? — спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию.

— Болтает лишнее, выжил из ума,— сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.

— Лаврентий,— сказал Сталин, мрачнея, потому что он не находил сейчас нужного решения.— Я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?

— Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел,— быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.

— Болтунов Ленин тоже ненавидел,— сказал Сталин задумчиво.

— Может, выгнать из партии к чертовой матери? — спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.

— Из партии не можем,— сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали, Ленин принимал...

— А что делать? — спросил Берия, окончательно сбитый с толку.

— У него, по-моему, был брат,— сказал Сталин.— Интересно, где он сейчас?

— Жив, товарищ Сталин,— сказал Берия, покрываясь холодным потом,— работает в Батуме директором лимонадного завода.

Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против этого видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.

— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо,— сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на

его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун,— ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна,— всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи,— объяснил Сталин ход своей мысли,— пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.

Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкомов стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что оскротил?»

— Век живи, век учись,— сказал Берия и развел руками.

— Но только не за счет моего отпуска, Лаврентий,— строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал, мол, у вас на Кавказе... Значит, он уже чувствует себя русским...

Он знаками показал на другой конец стола, чтобы всем разлили.

— Я хочу поднять этот тост,— сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи,— за нашего старшего брата...

Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.

Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.

— Прекрасную Сарью, просим, просим! — кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.

— «Мравалджамие», «Мравалджамие»! — просили на том конце стола и затягивали ее.

— «Многие лета»! — кричали другие и затягивали абхазскую застольную.

— Теперь ты на коне,— кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро,— благодать снизошла на тебя, благодать!

— У меня волос курчавый, как папоротник,— рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы,— яйцо, как в гнездышке, лежит.

— Все же риск,— сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.

— У людей жены,— бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.

— Но, Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.

— Дома поговорим...

— Но, Лаврик...

— Я для тебя больше не Лаврик...

— Но, Лаврик...

— У людей жены...

— Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается,— радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.

— А в голову не попадал?

— Конечно, нет,— радуясь его наивности, говорил повар,— риску тут мало, страха много.

— Все же риск, человек выпивший,— угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.

— Говорит, «у вас на Кавказе»,— качал головой другой секретарь,— а что мы ему сделали?

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя,— утешал его товарищ.

— Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит,— отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя...

— Везунчик! Везунчик! — кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро.— Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!

Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал этих знаков.

— Не притворяйся, что не в кармане! — кричал он.— Не притворяйся, везунчик!

— Что это он все кричит? — даже Лакоба обратил внимание на Махаза.

— Глупости,— сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».

— Это что! — пытался развлечь угрюмистого секретаря.— Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара иачинал. Принц, как Петр, с палкой ходилн. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бнвал, но всегда за дело.

— Все же риск,— угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцу.

— Это что! — пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями.— Сюда прнезжал государь император...

— Зачем выдумываешь? — неохотно отвлекся секретарь.

— Крестом кляиусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде... Государь на катере причалили, а государыия не пожелали причалить, чем обидели принца,— рассказывал повар.

— Придворные нитриги,— угрюмо перебнл его секретарь.

...Рано утром, когда по веленню Лакобы днректор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежио-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столамн — кто, откинувшись на стуле, а кто прямо головой на столе.

Одиому из ннх, спавшему, откииувшнсь на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, державших в оскаленных зубах по редисннке, на столе не оставалось, и шутлнвая аналогия была понятна лишь посвященным.

Участники ансамбля один за другим подходнли к Сталииу. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподияв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.

— Марш,— говорил Сталнн, накидав очередному танцору гостнннцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший

в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи.

— Все равно все на Сталина спишут,— шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески,— все равно скажут — Сталин все скушал...

Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.

* * *

На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.

Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.

Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. По дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.

— Знали бы, с какого стола,— устало улыбались танцоры.

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

— Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрустнув по густому сплетенью, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. Когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился

подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да, да, почти так это и было. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах. И он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как и сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, а следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек. Он гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновение мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и коза, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывая, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернулся, взбрасывая карабин, сползавший с покатого плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение — еще шаг — и скроется за кустом — он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:

— Скажешь — вернусь и убью...

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в

лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Одессы в Батум. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое оставшихся в живых увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимся под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он как нужный человек содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

— Не видел кто из ваших,— спросил всадник у отца,— чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?

— Про дело слыхал,— ответил отец,— а человека не видел.

«Да не по верхней, а по нижней!» — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

— Кто это, па? — спросил мальчик у отца.

— Старшина,— ответил отец и молча вошел в дом.

И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, поднимались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.

— Так вот почему ты перестал сюда коз гонять!— усмехнулся отец.

— Вот и неправда!— вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.

— Что ж ты молчал до сих пор? — спросил отец.

— Ты бы только видел, как он посмотрел,— сознался мальчик,—я все думаю, как бы он не вернулся...

— Теперь его сюда на веревке не затащишь,— сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостиной,—но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.

— Откуда ты знаешь, па? — спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор, как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.

— Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет,— сказал отец и взмахнул хворостинкой: ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

— А ты знаешь, как он быстро шел!—сказал мальчик.

— Но никак не быстрее своих лошадей,— возразил отец и, подумав, добавил: — Да он и убил этого последнего, потому что знал — один переход остался.

— Почему, па? — спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.

— Вернее, потому и оставил его в живых,— продолжал отец размышлять вслух,— чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

— Откуда ты знаешь все это? — спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

— Знаю я их гяурские обычаи,— сказал отец,— им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.

— Я тоже не хочу,— сказал мальчик,— но почему-то все время вспоминаю про того.

— Это пройдет,— сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался — случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении парохода возле Кенгурска.

Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания.

— Как сейчас вижу,— говаривал дядя Сандро,— все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает, не глядя. Очень уж у Того покатое плечо было...

При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским, путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на мысль, что бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.

Василий Гроссман

РАССКАЗЫ И ЭССЕ

ЖИЛИЦА

Старушка Анна Борисовна, получившая жилую площадь по ордеру Дзержинского райсовета, насмешила жильцов квартиры тем, что у нее при въезде не оказалось ни мебели, ни кухонной посуды, ни платьев, ни даже постельного белья. Прожила она в своей комнате недолго. На восьмой день после получения ордера, идя по коридору, она вдруг вскрикнула, упала на пол.

Соседка вызвала по телефону неотложку. Докторша сделала старухе укол, сказала, что все будет в порядке, и уехала. Но Анне Борисовне к ночи стало совсем плохо, и соседи, посовещавшись, позвонили в «скорую помощь». Машина из института Склифосовского приехала быстро, через шесть минут после вызова, но старая женщина к ее приезду уже умерла. Врач посмотрел зрачки у новой покойницы, вздохнул для приличия и уехал.

За те несколько дней, что Анна Борисовна Ломова прожила на московском Юго-Западе в своей комнате, жильцы кое-что узнали о ней. Молодой женщиной она, видимо, участвовала в гражданской войне, была будто бы комиссаром бронепоезда, потом она жила в Персии, в Тегеране, потом работала в Москве на какой-то ответственной работе, чуть ли не в Кремле; в разговоре со школьницей Светланой Колотыркиной о преподавании русской советской литературы она сказала: «Я когда-то дружила с Фурмановым и с Маяковским». А матери Светланы, контролеру ОТК на автомобильном заводе малолитражных машин, она рассказала, что в 1936 году ее арестовали и она провела девятнадцать лет в тюрьмах и лагерях. Совсем недавно Верховный суд ее реабилитировал, признал совершенно невиновной. Ее прописали в Москве и дали площадь.

Рукописи рассказов В. С. Гроссмана сберегла в составе архива писателя скончавшаяся в июне 1988 года его жена Ольга Михайловна Губер.

Видимо, во время лагерных скитаний она растеряла родственников и друзей, не успела в Москве связаться с каким-либо коллективом — никто не пришел в крематорий, когда сжигали ее тело. Сразу же после смерти Ломовой комнату ее занял водитель троллейбуса Жучков, очень нервный человек, с женой и ребенком.

Все жильцы удивительно быстро забыли о том, что несколько дней в их квартире жила реабилитированная старуха.

Как-то в воскресенье утром, когда обитатели квартиры, позавтракав, коллективно играли на кухне в подкидного дурака, почтальонша принесла воскресную почту: газеты «Московская правда», «Советская Россия», «Ленинский путь», журналы «Советская женщина» и «Здоровье», программу радио и телевидения и письмо, адресованное гражданке Ломовой Анне Борисовне.

— Нет у нас такой,— на разные голоса сказали жильцы и жилицы.

А водитель Жучков, тесня к двери почтальоншу, сказал:

— Нет такой и не было.

И тогда Светлана Колотыркина неожиданно сказала ему:

— Как же ее не было, когда вы в ее комнате живете.

И все вдруг вспомнили Анну Борисовну Ломову и удивились, как начисто забыли о ней.

Посоветовавшись, жильцы вскрыли конверт и прочли вслух отпечатанную на пишущей машинке бумагу.

«...В связи со вновь открывшимися обстоятельствами решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 8/5 1960 года Ваш муж, Ардашелия Терентий Георгиевич, умерший в заключении 6/7 1937 года, посмертно реабилитирован, а приговор, вынесенный Военной коллегией Верховного суда от 3/9 1936 года, отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

— Куда теперь эту бумагу?

— А куда ее, никуда. Обратно отослать.

— Я считаю, мы обязаны ее в домоуправление сдать, поскольку эта женщина имела здесь постоянную прописку.

— Вот это правильно. Но сегодня у них в домоуправлении выходной.

— А куда особенно спешить.

— Давайте ее мне. Я зайду насчет неисправности кранов и заодно ее передам.

Потом все некоторое время молчали, а затем мужской голос произнес:

— Чего же это мы сидим. Кому сдавать?

— Кто остался, тому и сдавать.

1960 г. октябрь

МАМА

1

В детдоме с утра волновались. Заведующий поспорил с врачом, кричал на завхоза; было приказано натереть полы, срочно выдать для отделения грудных новые простыни и пеленки. Нянек нарядили в накрахмаленные докторские халаты. Заведующий вызвал к себе в кабинет врача и старшую медицинскую сестру. Потом втроем они пошли в отделение и осматривали детей.

Вскоре после дневного кормления грудных младенцев в детдом приехал на автомобиле полнотелый пожилой человек в военной форме, в сопровождении двух молодых военных. Пожилой рассеянно оглядел встретившее его детдомовское начальство и прошел в кабинет заведующего, сел, отдышался и спросил у докторши разрешения курить. Она закивала, бросилась искать пепельницу.

Он курил, стряхивал пепел в блюдечко и слушал рассказ о жизни младенцев, чьи родители оказались врагами народа и были репрессированы. Рассказ был о почесухах, о крикунах и сонях, о младенцах обжорах и о младенцах, равнодушных к молочной бутылочке, о предпочтении мальчикам и о предпочтении девочкам. А молодые военные, надев халаты, шагали по коридорам детского дома, заглядывали в дежурки, кладовые, и из-под коротких халатов видны были их синие диагональные брюки. У нянек сердца холодели от глаз этих парней и от их настырных вопросов: «Та дверь куда ведет?» «Где ключ от чердака?»

Молодые люди, сняв халаты, зашли в кабинет заведующего, и один из них сказал:

— Товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга, разрешите доложить?

Начальник кивнул...

Потом, накинув на плечи халат, он пошел в сопровождении заведующего и врача в отделение грудных младенцев.

— Вот эта,— сказал заведующий и указал на кроватку, стоявшую в простенке между окнами.

Докторша заговорила с торопливостью, с какой предлагала пепельницу.

— Да, да, я уверена в этой девочке, совершенно нормальный, правильно развивающийся ребенок. Норма, норма, во всех отношениях норма.

Потом сестры и няньки, прильнув к окнам, видели, как полнотелый комиссар государственной безопасности уехал. Молодые военные остались в детдоме, занялись чтением газет.

А в замоскворецком переулке, где находился детдом, ребята в зимних шапках и галошах-ботиках вразумительно говорили прохожим: «Давайте пройдем по мостовой». Прохожие поспешно сходили с тротуара, прилегающего к детскому дому.

В шесть часов вечера, когда настали ноябрьские сумерки, у детского дома остановился автомобиль. Маленький человек в осеннем пальто и женщина прошли к подъезду. Заведующий сам открыл им дверь.

Маленький человек вдохнул кисловатый молочный запах, покашливая, сказал женщине:

— Пожалуй, не стоит тут курить,— и потер озябшие ладони.

Женщина виновато улыбнулась, спрятала папиросу в сумочку. Лицо у нее было милое, с несколько большим носом, усталое и чуть поблекшее.

Заведующий подвел посетителей к кроватке, стоявшей в простенке между окнами, и отошел в сторону. Было тихо, младенцы спали после вечернего кормления. Заведующий жестом приказал няне выйти за дверь.

Маленький человек в москвошвеевском пиджаке и женщина всматривались в лицо спящей девочки. Должно быть, чувствуя их взгляды, девочка улыбнулась, не открывая глаз, потом нахмурила лоб, словно вспомнив что-то печальное.

Ее пятимесячная память не могла удержать на своей поверхности того, как гудели в тумане автомобили, как на платформе лондонского вокзала мама держала ее на руках, а женщина в шляпке грустно говорила: «Кто же нам теперь будет петь на посольских семейных вечерах». Но втайне от нее самой в ее головке затаились и этот вокзал, и лондонский туман, и плеск волны в Ла-Манше, и крик чаек, и лица отца и матери в купе мягкого вагона, склонившиеся над ней при приближении скорого поезда к станции Негорелое... А когда-нибудь ей, седой

старухе, непонятно представятся рыжие осенние осины, тепло материнских рук, тонкие пальцы, розовые, без маникюра ноготки, два серых глаза, широко глядящих на родные поля.

Девочка открыла глаза, поцокала язычком и тут же снова заснула.

Маленький, казавшийся робким человек оглянулся на женщину. Она утерла платочком слезу, сказала:

— Решила... решила, странно, удивительно, знаешь, у нее твои глаза.

Вскоре они вышли из дверей детского дома. Няня несла за ними ребенка в одеяльце. Маленький человек, усаживаясь рядом с шофером, негромко проговорил:

— Домой.

Женщина неумело взяла в руки ребенка, сказала няне:

— Спасибо, товарищ,— и пожаловалась: — Я боюсь не только держать ее, но и смотреть на нее, все кажется не так.

А через минуту ушел большой черный автомобиль, куда-то исчезли военные, читавшие газеты у внутренних дверей, испарились, растворились ребята в зимних шапках и ботиках, караулившие на улице.

В Спасских воротах затрещали звонки, загорелись сигнальные лампочки, и огромная черная машина генерального комиссара государственной безопасности, верного соратника великого Сталина Николая Ивановича Ежова вихрем, не снижая скорости, пронеслась мимо охраны, въехала в Кремль.

А по замоскворецким улочкам прошел слух, что в закрытом детском доме был объявлен карантин,— произошла вспышка чумы не то сибирской язвы.

2

Она жила в просторной и светлой комнате. Если у нее расстраивался желудок или болело горло, в помощь к няне, Марфе Дементьевне, приезжала дежурить сестра из кремлевки, а врач приходил дважды в день.

А когда она простудилась, ее выслушивали дедушка с теплыми добрыми, дрожащими руками и две докторши.

Маму она видела ежедневно, но мама подолгу не оставалась около нее; когда Наде давали утреннюю кашу, мама говорила:

— Кушай, кушай, деточка, а я поеду в редакцию.

По вечерам к маме приезжали подруги. Иногда бы-

вали папины гости. Тогда няня надевала накрахмаленную косынку, из столовой слышались голоса, стук вилок, медленный папин голос: «Ну что ж, придется выпить».

Случалось, кто-нибудь из гостей заходил посмотреть на нее. Иногда она, лежа в кроватке, притворялась спящей, но мама знала, что Надюша не спит, смеющимся голосом говорила: «Тише». А папин гость смотрел на Надюшу, и она ощущала запах вина. Мама говорила: «Спи, доченька, спи»,— целовала ее в лоб, и девочка снова ощущала легкий запах вина.

Марфа Дементьевна была выше ростом всех папиных гостей. Папа рядом с ней казался совсем маленьким. Ее все боялись, и гость, и папа, и мама, особенно папа; он поэтому старался пореже бывать дома.

Надя не боялась няни. Иногда Марфа Дементьевна брала Надю на руки, нараспев говорила:

— Бедная ты моя девочка, несчастная ты моя.

Если бы Надя и знала значение этих слов, она бы все равно не поняла, почему няня считает ее несчастной и бедной,— у нее было много игрушек, она жила в солнечной комнате, мама ее возила кататься, люди в красных красно-синих фуражках выскакивали из будок, распахивали перед их автомобилем дачные ворота.

Но от тихого, ласкового голоса няни у девочки щемило сердце, хотелось плакать сладко, сладко, хотелось спрятаться мышкой в больших няниных руках.

Она знала главных маминых подруг и главных папиных гостей; знала, что, когда приезжали папины гости, никогда не бывало маминых подруг.

Была рыжая, она называлась подруга детства, с ней мама сидела возле Надиной кроватки и говорила: «Безумие, безумие». Был лысый, в очках, с улыбкой, от которой Надя всегда улыбалась, и Надя не знала, кто он — подруга или гость. Похож он был на гостя, но приезжал он к маме и ее подругам. Когда он входил, мама улыбалась его улыбке, говорила: «Бабель к нам приехал».

Как-то Надя коснулась ладошкой его лысого, лобастого черепа. Он был теплый, добрый, как нянина или мамина щека.

Были папины гости — посмеивающийся, с нюхающим носом и гортанным голосом, был дышащий вином, плечистый и громкоголосый, был худенький, черноглазый, приезжавший с портфелем обычно до ужина и уезжавший до ужина, был черный с брюшком, с красивы-

ми влажными губами, он как-то взял Надю на руки и спел ей маленькую песенку.

Раз она видела седеющего, румяного гостя, одетого в военную форму. Он выпил вина и пел. Раз она видела гостя, перед которым робела мама, с маленькими стеклышками на глазах, большелобого, с заикающимся голосом. Он не был ни во френче, ни в кителе, ни в гимнастерке, а носил пиджак и галстук. Он ласково сказал Наде, что и у него есть маленькая дочка.

Марфа Дементьевна путала, кто Бетал Калмыков, кто Берия, кто приезжавший докладывать худенький Маленков... Кагановича, Молотова, Ворошилова она знала по портретам.

Надя никого из гостей не знала по имени. Но она знала слова: «мама, няня, папа».

Но вот как-то пришел новый гость. Надя отличила его не потому, что все волновались перед его приходом, и не потому, что няня перекрестилась, когда сам папа пошел открывать ему дверь, и не потому, что гость шел так бесшумно, как никто из людей не умел ходить, только зеленоглазый черный кот на даче, и не потому, что у него было рябое, умное лицо, темные с проседью усы и мягкие, плавные движения...

Люди, которых знала Надя, имели схожее выражение глаз. Это выражение было общим и для маминых карих глаз, и для серо-зеленых папиных глаз, и для желтых глаз кухарки, и для глаз всех папиных гостей, и для глаз тех, кто открывал ворота на даче, и для глаз старого доктора.

А новые глаза, несколько секунд без любопытства, медленно смотревшие на Надю, были совсем спокойными, в них не было безумия, тревоги, напряжения, одно только медленное спокойствие.

У одной лишь Марфы Дементьевны были спокойные глаза в доме Ежова.

Многое она видела и многое замечала.

Вот уже не шумит в доме Николая Ивановича широкоплечий, веселый Бетал Калмыков. Хозяйка ходит ночами по комнатам, постоит над спящей Надей, пошепчет, зазвенит в темноте лекарственными скляночками, зажжет весь хрустальный свет, снова подойдет к Наде, шепчет, шепчет. То ли она молится, то ли стихи читает. Утром приезжает серый, осунувшийся Николай Иванович. Снимая пальто, он тут же в передней закуривает, раздраженно говорит: «Не буду завтракать и чаю не хочу». Хозяйка спрашивает Николая Ивановича

о чем-то и вдруг испуганио вскрикивает — и уж не приходит больше рыжая подруга детства, и уж не звонит ей хозяйка по телефону.

Однажды Ннколай Иванович подошел к Наде н улыбнулся, а она посмотрела ему в глаза и закрнчала.

— Нездорова? — спроснл он.

— Испугалась,— сказала Марфа Дементьевна.

— Чего?

— Мало ли чего, днтя ведь.

Когда няня с Надюшей возвращались с прогулкн, охраннинк вглядывался в нее, в Надино личико, и Марфа Дементьевна старалась, чтобы девочка не вндела этого взгляда, острого, как окровавленный, грязный коготь коршуна.

Возможно, что во всем свете она одна жалела Ннколая Ивановича, даже жена теперь боялась его. Марфа Дементьевна замечала ее страх, когда слышался шум машнны н Николай Иванович, серолицый и бледный, в сопровождении двух-трех серолицых и бледных людей, проходнл к себе в кабннет.

А Марфа Дементьевна вспоминала главного хозяина, спокойного рябого товарища Сталина, н жалела Николая Ивановнча, глаза его казались ей жалобными, растерянными.

Она словно не знала, что взор Ежова заморозил ужасом всю великую Россию.

День и ночь шли допросы во Внутренней, Лефортовской, в Бутырской тюрьмах, шли день и ночь эшелоны в Коми, на Колыму, в Норильск, в Магадан, в бухту Ногаево. На рассвете крытые грузовики вывозилн тела расстрелянных в тюремных подвалах.

Догадывалась лн Марфа Демеитьевна, что страшная судьба молодого референта из Лондонского посольства и его миловидной жены, так н не докормившей грудью своей маленькой дочери, так и не закончнвшей консерватории по классу пения, была решена подпнсью, что сделал на длинном списке фамилий ее хозяин, питерскнй рабочий Николай Иванович. А он все подписывал, десятками, эти огромные спнски врагов народа, и черный дым пер нз труб московского крематория.

3

Однажды Марфа Дементьевна слышала, как кухарка, закурнвая папироску, шепотом сказала вслед хозяйке:

— Вот и ты отцарствовала.

Видимо, кухарка уже знала о том, чего не знала няня.

В эти последние дни Марфе Дементьевне запомнилась пришедшая в дом тишина. Не звонил телефон. Не приезжали гости. Не вызывал утром хозяин своих заместителей, секретарей, помощников, адъютантов, порученцев. Хозяйка не ездила на работу, лежала в халате на диване, читала, зевая, книгу, задумывалась, усмехалась, ходила в ночных бесшумных туфлях по комнатам.

Одна Надюша была слышна в доме: плакала, смеялась, гремела игрушками.

Однажды утром к хозяйке приехала гостья — старушка. В комнате было тихо, словно хозяйка и гостья сидели молча.

Кухарка подошла к двери и прислушалась.

Потом хозяйка со старушкой зашли к Наде. Старушка была штопанная, перештопанная и уж такая робкая, что, казалось, не только говорить, но и смотреть боялась.

— Марфа Дементьевна, познакомьтесь, моя мама,— сказала хозяйка.

А через три дня хозяйка сказала Марфе Дементьевне, что ложится на операцию в Кремлевскую больницу. Говорила она быстро, громко, каким-то фанерным голосом. Надюшу она, прощаясь, оглядела рассеянно, поцеловала коротким поцелуем. В дверях она посмотрела в сторону кухни, обняла Марфу Дементьевну и шепнула ей на ухо:

— Нянечка, помните, если со мной что случится, вы одна у нее, никого, никого на всем свете у нее нет.

Девочка, точно понимая, что речь идет о ней, сидела на стульчике тихо, смотрела серыми глазами.

В больницу хозяйку муж не провожал, приехали за ней порученец — полнотелый генерал с букетом красных роз — и личный охранник Николая Ивановича.

А Николай Иванович вернулся с работы домой лишь утром, не зашел к Наде, писал, курил в кабинете, вызвал машину и снова уехал.

После этого дня событий, потрясших, а затем разрушивших жизнь дома, стало очень много, и они спутались в памяти Марфы Дементьевны.

Скоропостижно умерла в больнице Надюшина мама, супруга Николая Ивановича Ежова. Она была неплохая женщина, не злая, и девочку жалела, но все же она была странная.

Николай Иванович в этот день приехал домой очень рано.

Он попросил Марфу Дементьевну привести в кабинет к нему Надю. Отец с дочерью поили чаем пластмассового поросенка, укладывали спать куклу и медведя. Потом до утра Ежов ходил по кабинету.

А вскоре не вернулся домой маленький человек с желто-зелеными глазами, Николай Иванович Ежов.

Кухарка сидела на постели покойной хозяйки, потом долго разговаривала по телефону из кабинета хозяина, курила его папиросы.

Приехали гражданские люди и люди в форме, ходили по комнатам в шинелях и пальто, грязными сапогами и галошами ступали по коврам, по светлой дорожке, ведущей к сиротской Надиной кроватке.

Ночью Марфа Дементьевна сидела возле спящей девочки, неотступно смотрела на нее. Она решила увезти Надю в деревню и все представляла себе, как от Ельца они будут добираться на попутной подводе домой, как встретит их брат и как Надя будет вскрикивать, радоваться, когда увидит гусят, теленка, петуха.

— Прокормлю, выучу,— думала Марфа Дементьевна, и материнское чувство наполняло светом ее девичью душу.

Всю ночь шумели военные люди, вытаскивали из шкафов книги, белье, посуду — шел обыск.

И у новых пришельцев глаза были напряженные, сумасшедшие, к каким привыкла Марфа Дементьевна за последнее время.

Лишь Надюша, проснувшись и справив малые дела, умиротворенно позевывала, да Сталин без всякого любопытства, спокойно прищурясь, глядел с портрета на то, что должно было совершиться и совершалось.

А с утра приехал краснолицый и толстый, как кубарь, которого кухарка называла «майор». Он прошел прямо в детскую, где Надя в накрахмаленном фартушке с вышитым красным петухом важно и неторопливо ела овсяную кашу, и приказал:

— Оденьте девочку потеплей, соберите ее вещи.

Марфа Дементьевна, превозмогая волнение, медленно спросила:

— Это же куда, зачем?

— Ребенка поместим в детдом. А вы приготовьтесь, получите причитающуюся вам зарплату, билет и отправитесь к себе на родину, в деревню.

— А где моя мама? — вдруг спросила Надя и перестала есть, отодвинула тарелочку с синей каемочкой.

Но ей никто не ответил, ни Марфа Дементьевна, ни майор.

4

В общежитии работниц государственного радиозавода, в комнатах, в местах общего пользования соблюдалась образцовая чистота, постели девушек были застелены накрахмаленными одеялами, на подушках лежали накидки, а на окнах висели кружевные, в складчину купленные занавески.

У многих кроватей на тумбочках стояли вазочки с красивыми искусственными цветами — розами, тюльпанами и маками.

По вечерам работницы читали журналы и книжки в красном уголке, участвовали в танцевальных и хоровых кружках, во Дворце культуры смотрели кинокартины и самодеятельные спектакли. Некоторые девушки занимались на вечерних курсах кройки и шитья либо на курсах подготовки в вуз, некоторые учились на вечернем отделении электромеханического техникума.

Очередной профотпуск работницы редко проводили в городе — завком давал отличившимся в работе бесплатные путевки в профсоюзные дома отдыха, многие на время отпуска уезжали в деревню к родным.

Говорили, что в домах отдыха некоторые девушки позволяют себе лишнее, гуляют по ночам, теряют в весе, а в мужских комнатах народ пьянствует, не соблюдает мертвый час, режется в карты.

Рассказывали, что отдыхающие ребята с механического завода ночью забрались в ларек и вытащили ящик пива, шесть пол-литров, и все это распили в музыкальной комнате, покрыли матом главврача, прибежавшего на шум. Всех их выписали досрочно из дома отдыха, сообщили о них в заводской партком. А на троих отдыхающих, по чьей инициативе был обворован ларек, милиция завела дело, и они потом отрабатывали два месяца принудиловку по месту работы.

Никогда ничего подобного не происходило в общежитии радиозавода.

Комендант общежития, Ульяна Петровна, отличалась строгостью. Как-то одна девочка привела к себе в комнату знакомого и с согласия остальных жилиц оставила его ночевать.

Ульяна Петровна осрамила эту девчонку, в двадцать четыре часа выселила ее из общежития.

Но Ульяна Петровна была не только суровой, она умела проявлять теплоту. С ней советовались, как с близкой, родной — она была общественницей, прове-

ренным человеком, не раз избиралась депутатом районного Совета. При ней в общежитии не было ни пьянства, ни разврата, ни ночной гармошки.

Работнице-сборщице Наде Ежовой очень нравилось образцовое общежитие после грубых, жестоких нравов детдома.

Годы, проведенные в детских домах, были самыми тяжелыми в ее жизни. Особенно трудно жилось ей во время войны в пензенском детдоме: даже неизбалованные детдомовские ребята неохотно ели суп из тухлой кукурузной муки, который давался на обед и к ужину. Постельное и нательное белье менялось редко,— его не хватало, а часто стирать белье нельзя было из-за нехватки дров и мыла. В бане по решению горсовета детдомовских детей полагалось мыть два раза в месяц, но решение это нарушалось, так как в двух городских банях всегда мылись военные из запасных частей, а у старенькой бани, расположенной за вокзалом, с рассвета стояли молчаливые и злые очереди. Да и радости от этого мытья было немного — в бане гулял холодный ветерок, сырые дрова рождали больше дыма, чем тепла, вода была чуть теплая.

Наде в Пензе все время было холодно — и ночью в спальной комнате, и в классе, где шили рубахи для фронта и велись школьные занятия, и даже на кухне, где она иногда помогала кухарке выбирать червей из кукурузной муки. И так же тяжелы, как холод и голод, были грубость воспитателей, злоба детей, воровство, царившее в спальнях. Стоило на миг задуматься — и исчезали хлебные пайки, карандаши, трусы, косынки. Одна девочка получила посылку, заперла ее в тумбочку и пошла на занятия, а когда вернулась, замочек висел как бы нетронутый, а посылка из тумбочки исчезла.

Некоторые мальчики занимались карманными кражами в продмагах и на автобусных остановках, а один паренек, Женя Панкратов, даже участвовал в вооруженном нападении на инкассатора.

Конечно, после войны жизнь в детдоме стала легче, но когда Надя окончила семилетку и комиссия направила ее на завод, ей показалось, что она попала в рай.

Надя сама теперь удивлялась, как это она вместо того, чтобы радоваться, проплакала всю ночь, узнав, что комиссия ее направила на завод. Расстроилась она из-за учительницы пения. «С твоим голосом ты и в консерваторию, и в театр попадешь»,—говорила ей учительница. Комиссия по распределению сперва действительно соби-

ралась направить Надю в музыкальный техникум, но неожиданно пришло какое-то разъяснение из центра, и после этого Наде дали путевку на завод.

Когда Надя плакала в свою последнюю детдомовскую ночь, она считала себя самой несчастной из девочек-воспитанниц. Ни разу не была она в московском или ленинградском детдоме,— из приемника ее всегда направляли в самые глухие места. Многие девочки получали посылки, письма от родственников. А Надя за всю свою жизнь не получила ни одного письма, ни разу в жизни никто не прислал ей яблок и коржиков.

Должно быть, поэтому она и стала угрюмой, и детдомовские ребята ее прозвали немой.

Живя в образцовом общежитии, она стала понимать, что не такая она уж невезучая.

Работа у нее была хорошая, чистая, сравнительно нетяжелая, а оплачивалась она по высокой ставке; комитет комсомола обещал ее послать на курсы мастеров. У нее было хорошее зимнее пальто, несколько красивых платьев, а одно платье из креп-сатина она сшила по заказу в ателье мод, ордер на пошивку ей дала Ульяна Петровна. Девочки в цеху и в общежитии ее уважали, считали самостоятельной. Вместе с девочками из общежития ходила она в кино и на танцы в клуб. Ей нравился один парень — Миша,— она охотно танцевала с ним. Он был такой же молчаливый, как и она, и когда он провожал ее после танцев, они обычно шли молча до самого общежития. Жил он далеко, за товарной станцией, работал вагонным мастером в депо.

А о том, что было когда-то, она уже почти не помнила, и ей казалось, что сверкающий черный автомобиль, роскошные дачные цветники, прогулки с няней по кремлевскому холму, ласковое и рассеянное лицо мамы, смех и голоса папиных гостей — не жили в памяти сами по себе, а были воспоминанием о каком-то еще более давнем воспоминании — словно многократное эхо, замирающее в тумане.

Нынешний год оказался особенно хорошим для Нади Ежовой. Она поступила в вечерний электромеханический техникум, ее премировали за перевыполнение плана полуторамесячным окладом. Начальник вагонной службы обещал Мише выделить площадь в строящемся доме Министерства путей сообщения, и они решили пожениться. Наде очень хотелось иметь ребенка, и она радовалась, что станет матерью.

Однажды, за несколько дней до отпуска и поездки в дом отдыха Надя увидела сон — какая-то женщина, но не мама, а совсем другая, держит на руках ребенка, не то Надю, то ли не Надю, старается укрыть его от ветра, а кругом шум, плеск, солнце сверкает на волнах и тут же гаснет в быстрых, низких тучах, а вкривь и вкось носятся белые птицы, кричат пронзительными, кошачьими голосами.

Весь день, и в цеху, и на фабрике-кухне, и оформляя путевку в завкоме, Надя вспоминала милое и жалкое лицо женщины, прижимавшей к груди ребенка, и вдруг поняла, почему ей приснился такой сон.

Когда-то в пензенском детдоме руководительница водила ребят на кинокартину, где показывалось какое-то морское путешествие молодой мамаши, и вот эта полузабытая Надей картина взяла да и приснилась ей именно в то время, когда она много думала о предстоящем ей материнстве.

1960 г. октябрь

НА ВЕЧНОМ ПОКОЕ

1

Рядом с Ваганьковским кладбищем подъездные пути Белорусской дороги, из-за стволов кладбищенских кленов видно, как проносятся на Варшаву и Берлин поезда, сверкают стекла вагонов-ресторанов, стремятся синие экспрессы Москва — Минск, то и дело шипят электрички; дрожит земля от тяжелых товарных составов.

Рядом с кладбищем Звенигородское шоссе — бегут легковушки, грузовые такси с дачным скарбом. Рядом с кладбищем Ваганьковский рынок. В небе треск вертолетов, в кладбищенском воздухе разносится четкий голос диспетчера, командующего составлением поездов.

А на кладбище вечный покой, вечный мир.

В воскресные весенние дни трудно сесть на автобусы, идущие в сторону Ваганьковского кладбища; пешие толпы движутся от Пресненской заставы по улице 1905 года мимо новостроек и деревянных развалюшек, мимо радиотехникума и рундуков Ваганьковского рынка. Идут люди с лопатами, лейками, пилами, с ведерками краски, с малярными кистями, с авоськами, полными снеди,— начался период весеннего ремонта, окраски оград, устройства могильных цветников.

А у кладбищенских ворот людские реки сливаются; живой Вавилон мешает новоселам въезжать на похоронных машинах в кладбищенскую ограду. Как много весеннего солнца, свежей зелени, как много оживленных лиц, житейских разговоров и как мало здесь печали. Так, по крайней мере, кажется.

Пахнет краской, стучат молотки, скрипят тачки и тележки, везущие песок, дерн, цемент,— кладбище работает.

Люди в сатиновых нарукавниках трудятся старательно и упоенно — некоторые негромко напевают, некоторые перекликаются с соседями.

Мама красит папину оградку, а маленькая дочка прыгает на одной ножке, старается обскакать могилку, не коснувшись второй ногой земли.

— Ну что за девочка, весь рукав в краске!

А там уж пошабашили: ограда и памятник раскрашены дурацким золотом, на скамеечке скатерка, люди закусывают и, видимо, не только закусывают: голоса уж очень оживленные, незамысловатые лица налились краской, вдруг раздается дружный хохот. Оглянулись ли, спохватившись, на могилу? Нет, не оглянулись. Покойник не обидится: доволен малярной работой.

Хорошо потрудиться на свежем воздухе, посадить цветы, выдернуть побеги ненужных растений, проросших могильную землю.

Куда пойти в воскресенье? В зоопарк, в Сокольники? На кладбище приятней,— неторопливо поработаешь, подышишь свежим воздухом.

Жизнь могуча, и она вторглась в кладбищенскую ограду, и кладбище подчинилось, стало частью жизни.

Житейских волнений, страстей здесь немногим меньше, чем на службе, в коммунальной квартире или на расположенном рядом рынке.

— Конечно, наше Ваганьковское не Новодевичье, но здесь тоже не последние люди лежат — художник Суриков, составитель словаря Даль, профессор Тимирязев, Есенин... Есть и генералы, и старые большевики, Бауман, шутите, у нас похоронен, ведь целый район столицы носит его имя... герой гражданской войны легендарный начдив Киквидзе тоже у нас. А при царизме здесь не только купцов, случалось, и архиереев хоронили.

Трудно получить место на Ваганьковском кладбище, не легче, чем, приехав из провинции, прописаться на постоянно в Москве.

И доводы, которые приводят мужчине с темно-красным лицом, в кубанке и сапогах, в кожанке на молнии родственники покойников, такие же, какие выслушивают ежедневно работники паспортного отдела московской милиции.

— Товарищ заведующий, ведь тут его старуха мать, старший брат, ну как же, ну куда же ему в Востряково.

И заведующий отвечает так же, как отвечают в столичном паспортном отделе:

— Не могу. Имею специальное указание Московского Совета, понимаете — лимит исчерпан, не всем же на Ваганьковском, кому-то надо и в Востряково ехать.

Особенно строго было на Ваганьковском перед Всемирным фестивалем молодежи в 1957 году. Прошел слух, что верующие участники фестиваля побывают на Ваганьковском,— работники кладбища с ног сбились, наводили порядок, готовились к молодежному фестивалю.

Досталось особенно крепко в эти дни нищим — поющим, согнутым, шепчущим, трясущимся, инвалидам Великой Отечественой войны, слепцам, глупеньким... Их прямо с Ваганькова милиция вывозила машинами. Имелось спецуказание.

В кладбищенской конторе в эти дни посетителям говорили:

— Отбудем фестиваль, тогда приходите.

Но миновал фестиваль, и жизнь принарядившегося кладбища вошла в обычную колею.

И снова у заведующего и его ближайших помощников просят:

— Местечко бы...

Но что поделаешь — места на Ваганьковском мало, а покойники «все прибуют да прибуют». И никто не хочет в Востряково.

Люди убеждают, грозят, плачут.

Одни приносят справки, ходатайства от учреждений, от общественных организаций — покойник незаменимый специалист, прекрасный общественник, персональный пенсионер республиканского значения, имеет военные заслуги, дореволюционный партстаж.

Другие норовят блатовать, мухлюют, и контора их разоблачает:

— Вы указали, что хотите ее захоронить рядом с мужем, а оказывается, это ее самый первый муж, она два раза после него замужем была. Все же надо совесть иметь.

Третьи ищут, кого бы задобрить взяткой, богатой выпивкой. Одни хотят суиуть начальству, другне стремятся подмазать простых людей с лопатамн.

Четвертые норовят захоронить человека с нахрапа, нахальио, вот так же въезжают без ордера в комнату, а потом долго, иудио добиваются жировки.

Имеется указание — заброшеииые могилы лнквидировать н иа их месте производить иовые захоронения. Вот вокруг такого дела миого страстей, ннчуть ие меньше, чем вокруг жилой площадн, на которой никак ие угасиет одииокая старушечья жнзнь.

Но, накоиец, разрешеиие иа заброшеииую могилу получеио,— и бывает так, что гроб становится иа гроб, а под вторым оказывается третий. Вот и лежат: потерявший имя купец, беспощадиый к буржуазин романтик-коммунар с красиым полуистлевшим баитом, тоже всеми забытый, кадровичка — зав. секретной частью. Кто-то будет четвертым?

Почему же любят миогие люди ходить иа кладбище?

Конечно, дело тут не только в кладбнщенской зелени н не в том, что прнятно сажать цветы, строгать и краснть.

Это причины боковые — поверхиость,— а главиая причина, как н большиинство главиых причии, скрыта, она в глубине лежит.

...Измученные горем, бессонными ночамн, часто невыиосимыми угрызениями, люди приезжают иа кладбнще, хлопочут о месте для захоронеиия.

Хлопоты этн тяжелы, униизтельны. Минутами возиикает нехорошее чувство к умершему,— ему-то все равно, а я, мы так страдалн, ие спалн иочами, когда он умнрал. Сколько раз бегали ночью в аптеку за подушками с кнслородом, а вызовы неотложки, лекарства, фрукты. И не вндно коица, человек умер, а мучения продолжаются.

А иа кладбище умиые люди говорят:

— Не расстраивайтесь, все устроится, какие нн есть бюрократы, все равио похоронят, еще не было такого случая, чтобы не похоронили.

И, правда, похоронили.

И вот в воспалеиные горестные сердца, вместе со стуком землн о гробовую крышку, входит светленьким лучиком чувство покоя и облегчения. Схоронили...

Малеиькое, тоиеиькое чувство облегчення и есть тот зародыш, из которого развиваются новые отношения — стиошения между жнвымн и мертвымн. Вот нз этого то-

ненького лучика и рождаются оживленные толпы, идущие в ворота кладбища, радостный труд по украшению, озеленению могил.

Как же развивается этот зародыш?

Чтобы проследить за его развитием, понять, как раздирающая вечная разлука с близким человеком обращается в милые кладбищенские радости, надо на время уйти с кладбища в город.

Отношения близких людей редко бывают гласны, явны, как бы одноэтажны, линейны.

Это здания с толстыми стенами, с глубокими подвалами, с темными жаркими спаленками, с надстройками и пристроечками.

Что только не происходит в этих комнатухах, подвалах, коридорчиках и чердаках. Чего только не видели, не слышали бестелесные стены скрытых в сердцах строений. И свет, и беспощадные упреки, и вечную жажду, и тошное пресыщение, и правду, и бешеное желание избавиться, и многолетнюю мелочную волынку, и счет на копейки, и страшную тайную ненависть, и драки, кровь, кротость.

Иногда, вдруг, все содрогаются, услышав о сыне и невестке, убивших мать, чтобы расширить свое жизненное пространство. Две дочери с целью грабежа повалили мать на кушетку, стали заливать ей в рот крутой кипяток. Рабочий выиграл по займу двадцать пять тысяч рублей, побежал сообщить жене о великой радости, а когда оба вбежали в дом, увидели — их трехлетняя девчонка сожгла, обратила в пепел выигравшую облигацию; отец, с потемневшим от бешеного отчаяния умом, схватил топор, отрубил ребенку кисти рук. Это страшные и редкие уродства, но ведь и уродства рождены жизнью.

А иногда кажется, что тихие омуты жизни еще страшнее.

Десятилетиями живут в одной комнате муж и жена, и десятилетиями он уходит, то днем, то вечером, то в выходной, то на ночь — у него вторая семья. Жена молчит, и муж молчит, но так тяжел ее молчаливый укор, ее жалкая улыбка, ее попытки обманывать детей, знакомых, ее покорная забота о нем. Иногда ужас охватывает его, но что он может сделать со своим сердцем, а там, где его любовь, — тоже жалкая, виноватая и беспомощная улыбка, укор, счет на копейки.

У свекрови с невесткой хорошие отношения, спокойные, ровные. Спокойствие основано на том, что старуха

отдала молодым свою комнату, перебралась в проходную, потом отдала свою кровать, спит на раскладушке, вытащила свои вещи из шкафа и положила их в фанерный ящик в коридоре, а шкаф отдала невестке; невестка не любит цветов, от них тяжелый воздух, и старуха рассталась со своими многолетними агавами и фикусами; невестке сказали, что от кошки у Светочки могут быть глисты, и пришлось старухе расстаться со старым котом, таким старым, что Светочкин папа сам еще был маленьким Андрюшей, когда в доме появился этот кот. Бабушка его завернула в чистую косынку и отвезла на пункт. Старуху особо мучительно терзало, что кот, полный доверия к ней, спокойно дремал у нее на руках во время своего последнего путешествия. Старуха молчит, и сын молчит. Она видит, что он боится остаться с ней наедине, он видит ее беззащитность, а она понимает жалкое бессилие своего сына и, примиренно кивая дрожащей белой головой, часами слушает его торопливо угодливое, обращенное к жене: «Милочка, Милочка, Милочка...»

А вот старик всю жизнь тянул семью, работал сверхурочно, брал за отпуск денежную компенсацию, поддежуривал в праздники и в выходные дни за двойную оплату, даже под Новый год, отказывался погулять с товарищами, выпить кружку пива. «Тебе, видно, нужно больше всех»,— говорили ему товарищи. «Семья»,— виновато отвечал он. И, действительно, семья была большая, но все были сыты, обуты, кончили институты, вышли в люди. Теперь старика разбил паралич. Куда только не писали сыновья и дочери, ничего не помогло, не взяли в больницу парализованного хроника. Вот дети кормят его с ложки, убирают постель, выносят подкладное судно. Он неподвижен, лишился речи, но слух и зрение сохранил, он видит лица и слышит разговоры своих детей. Внук спросил у своего отца — старикова сына: «Почему у дедушки все время текут слезки из глаз?» «Глаза у него больные». Старик беззвучно молит о смерти, а смерть не идет.

В семье у рабочего единственный сынок — слабоумный. Ему шестнадцать лет, а он еще не умеет сам одеться, с трудом, невнятно произносит самые простые слова и улыбается весь день кроткой, тихой улыбкой. Как страшно родителям, а вдруг их безумное дитя переживет их. Куда он денется, их никому не нужный Сашенька? Но тут же они ужасаются от мысли, что от них навек уйдет это слабое, жалкое создание, которое они

любят особой, горькой и нежной любовью. И в то же время они хотят его смерти — боятся оставить его на этом свете одного. И в то же время они ужасаются этого желания.

А тут врачи сказали: рак желудка, метастазы. Боже мой, боже, как страшно она умирала, день и ночь она выла, металась, проклинала свою старшую сестру, не отходившую от ее постели.

Все это боль жизни, гроза. А ведь в жизни не только гроза.

Но иногда кажется, что обычная будничная морока жизни, идущая в труде, любви, дружбе, так же тяжела, как и гроза жизни.

Семья живет в спокойном довольстве, но сколько в жизни безысходно сложного, запутанного. Отца оскорбляет практицизм детей — самодовольные успехи сына, его связи и знакомства с нужными и знатными людьми, его безразличие к книге, природе, его рассуждения о житейских выгодах и невыгодах; сколько унижающего в разумном, рассчитанном замужестве дочери, в добропорядочном мире советской аристократии, в который она вошла; как по-животному проста, как банальна оказалась дочь в своей новой семье, в своих квартирных, дачных, автомобильных делишках; а он-то называл ее в детстве Аленушкой, угадывал в ней неистовую совесть Софьи Перовской. И вот жена восхищена успехами сына, дочери. «Ты жизнь мне отравлял своим вздором, а теперь я вижу — наши дети живут, как все нормальные, настоящие люди». И он все видит, все понимает, и его жизнь зашла в тупик, и жить не хочется.

Какая славная пара, оба работают в науке, водят машину, занимаются альпинизмом, дружно, интересно живут.

Она доктор наук, он кандидат, в приглашении на кремлевский прием сказано: «с супругом». Они смеялись, и друзья смеялись. Президент Академии поздравил ее телеграммой с днем рождения, всюду, где они вместе, люди проявляют интерес к ней, к нему интерес через нее. В конце концов ее самоуверенность стала его раздражать, она, видимо, убеждена, что он счастлив, живя с ней. Он почувствовал себя оскорбленным, но, конечно, не поэтому он затеял роман с милой девушкой, аспиранткой. Он действительно увлекся! Жена ничего не замечала, была уверена в его преданности. Но, боже мой, что с ней творилось, когда она прочла записку, забытую им. Как она плакала, хотела отравиться люмина-

лом. И он плакал, просил прощения, а она тут стала говорить: «Поняла, поняла, я дура, я не стою твоего мизинца, ты важнее для меня всего в жизни». Ну, конечно, она и теперь считала, что он не мог полюбить другую, что он мстил ей за свое унижение. Ее, видимо, больше всего мучила мысль, как это он, ничем не замечательный, мог изменить такой женщине, как такая, как она, и так его любила! Вначале он растерялся, каялся, а потом в ее страдании оказалось что-то дурное, оскорбительное для него. Не видно хорошего впереди, впереди та же безнадежная путаница.

У нее второй муж, первый убит на войне. Растет дочь от первого мужа. Отчим к девочке враждебен. При ней он молчит. Идут годы, девочка стала взрослой, вышла замуж, у нее ребенок. Отчим запрещает жене видеться с дочерью, внуком, подозревает, что внука любят потому, что он похож на убитого деда, уезжая, он не говорит, когда вернется, чтобы застать жену врасплох — вдруг она позвала к себе ночевать дочку с внуком. Он ревнует, мучится, мучит других. А сил все меньше, головы седые, и все так безысходно сложно.

Но снова можно сказать: не всегда же сложны, противоречивы отношения. Да, конечно. Но, боже мой, какая безжалостная скука иногда гложет душу в спокойной и ясной семейной простоте.

Вот хозяин, муж, отец. Он подходит к дому, и вот зашарпанная лестница, отбитая ступенька, полутьма коридора, пыльный запах старья и запах жареной на подсолнечном масле трески, обмылочек на умывальнике, влажное, не успевающее просохнуть полотенчико на гвоздике. Они обедают, программа обеда неизменна, да все неизменно — и клеенка на столе, и тарелка со стертой голубоватой каемкой, и вилка со сходящимися зубцами. Они никогда не ссорятся с женой, не лгут друг другу, согласно и одинаково смотрят на жизнь. Но, боже, боже, как им скучно. Они часами молчат, говорить не хочется, да и о чем говорить. Им скучно думать друг о друге, когда они разлучены, а когда они выходят гулять, цветы на бульваре и облака на закате — все становится невыносимо скучным оттого, что они идут рядом. И ночью скучно, проснувшись, слышать рядом сонное бормотание, посапывание.

«Что ты ел перед сном, ты ночью очень испортил воздух».

«Да ничего такого не ел».

«Вот и я говорю, что ничего особенного».

А может быть, вторжение вечной смерти все же легче, чем вечная скука?

И вот могильный холм, женщина сажает кустики незабудок на могиле мужа. Теперь-то он не уйдет к разлучнице. Все так спокойно. Ее волнует — не лучше ли посадить анютины глазки? Она простила, и это прощение возвышает ее.

Рядом молодые супруги любовно красят оградку. Они переговариваются со вдовой, она уже знает и про то, что покойная старушка любила кошек и фикусы и ничего не жалела для сына и его милой жены. Покой, простота, синее небо, над могилой чистым голоском чирикает молодой воробей, его горлышко еще не глотало морозного январского воздуха. И нет больше безумных, горестных старушечьих глаз.

И нет плачущих глаз застывшего в параличе старика.

И так спокоен холмик над умершим сумасшедшим мальчиком, кончилось мучительное смятение его родителей, их страх. Анютины глазки, ромашки, незабудки.

«Как она мучилась, бедная»,— говорит о своей сестре пожилая женщина.

Она оглядывает могилу, солнце проходит через молодую листву деревьев, светло ложится на землю. Так тихо, и легки, и спокойны отношения с умершими.

«А немного попозже я посажу настурции, они хорошо принимаются».

И вот уже не стоит стена между любящими супругами, их любви не мешает ревность, страх, неприязнь к ребенку от первого мужа, внуку, которого отчаянно любит бабушка. «Спи спокойно, незабвенный друг».

Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно,— стало легко.

Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним.

Муж, со скукой и томлением возвращавшийся со службы домой, теперь полюбил общество жены, его радость — ходить в выходной день на кладбище. Как хороша природа, сколько милых нетрудных хлопот, сколько приятных людей, постоянных посетителей соседних могил. Он рассказывает о жене, он думает о ней. Вспоминать ее, думать о ней не скучно. Их отношения обновились.

Кем сказано, что нет ничего прекрасней жизни, кто это уверил людей, что смерть ужасна?

Вот идут с лопатами, пилами, с молотками, с малярными кистями толпы строителей лучшей, новой жизни. Их глаза устремлены вперед. Как тяжел, труден город, как светло кладбище.

Был ли исход, можно ли было уничтожить пропасть, что легла между отцом и его ничтожными преуспевающими детьми? И вот уже нет этой пропасти. «Спи спокойно, наш дорогой учитель, отец, друг...»

Дети, работая на могиле, разговаривают о своих делах, поездках, знакомых. Он, отец, рядом, и так хорошо, спокойно с ним, и он уже не посмотрит тоскливо, жалобно, стыдясь, как, бывало, смотрел.

Живые толпы входят в ворота кладбища, город толкает их в спину. И когда люди, полные отчаяния, изнеможения, видят спокойную зелень могил, в которых спят их мужья, матери, отцы, жены, дети, в сердца входит надежда. Люди строят новые, лучшие отношения со своими близкими, строят новую, лучшую жизнь, чем та, что истерзала их сердца.

2

На многих памятниках выгравированы сведения о покойном, об его ученом либо воинском звании, должности, о партийном стаже.

До 1917 года писалось о том, что усопший был купцом первой или второй гильдии, действительным статским советником.

Есть и иная категория надписей, эти надписи говорят о тех чувствах, что испытывают к усопшему близкие люди. Эти надписи иногда крайне пространны,— в стихах и в прозе. Надписи эти иногда невероятно смешны, глупы, пошлы и чудовищно безграмотны, но это обстоятельство не имеет отношения к сути дела.

Суть в том, что надписи, обращенные к должности покойника, к его званию, и надписи, говорящие о любви к нему близких, служат лишь цели информации посторонних людей, надписи эти не имеют отношения к тому, что живет в глубинах сердец.

Эти надписи — житейские декларации, такие же, какие делаются при поступлении на службу, при сватовстве, при оформлении награды.

В этих надписях никогда не говорится о простых профессиях: «Здесь покоится парикмахер, плотник, полотер, кондуктор...»

Если указывается занятие покойника, то это обычно профессор, артист, писатель, летчик-истребитель, медицинский доктор, художник.

Если говорится о звании, то обычно указывается высокое звание — полковник, адмирал, советник юстиции первого ранга. Младших лаборантов и лейтенантов на памятниках обычно не аттестуют.

Государственное и общественное следуют за человеком на кладбище. Человеческое и здесь робеет.

Надписи второго рода — о любви, вечном горе, горючих слезах, независимо от того, трогательны они либо, наоборот, вульгарны, в прекрасных либо, наоборот, в безграмотных и смешных стихах составлены они, служат тем же внешним суетным целям, тщеславно информируют.

В самом деле — надпись обращена не к мертвому, ясно, что он не может ее прочесть. В самом деле — для себя такие надписи не делаются, человек и без надписей знает, что творится в его сердце.

Надпись сделана, чтобы ее читали. Информация обращена к прохожим.

А над кладбищем разносится причитание, плач,— жена плачет о муже. Почему так громко кричит она? Ведь покойник не слышит. Ведь душевная тоска не нуждается в том, чтобы о ней выкрикивали с той же силой, с какой певец поет со сцены театра. Вдова знает, почему она кричит,— ее должны слышать прохожие, она декларирует и информирует.

Те, кто регулярно ходят на кладбище, надевают траурную одежду и с постными лицами сидят на скамеечках у могил,— тоже декларируют и информируют.

Они не похожи на тех, что приходят на кладбища строить новую жизнь, наново переделывать свои отношения на более счастливые и разумные.

Декларирующие считают главным в жизни доказать свое превосходство, превосходство своих чувств, своей сердечной глубины.

Да разно, разно ходят люди на кладбище.

Работник Наркомвнудела, помешавшийся в страшный 1937 год, ходит среди могил, кричит, грозится кулаком, могилы молчат, и это приводит в отчаяние безумного следователя — нет способа заставить говорить покойников, а дела-то не закончены.

Разно, разно ходят на кладбища люди.

На кладбище назначают свидания влюбленные. На кладбище гуляют, ищут прохлады.

3

Кладбище живет напряженной, полной страстей жизнью.

Каменотесы, маляры, слесари, могильщики, уборщицы могил, водители грузовых машин, доставляющих дерн и песок, работники, обслуживающие склады, где выдаются напрокат лопаты, лейки, продавцы цветов и рассады — это те, кто определяют материальную жизнь кладбища.

Почти каждая из этих профессий имеет свои аналоги в мире частного подполья. Это как бы бытие в двух пространствах современной физики.

В частном подполье свои неписаные прейскуранты, трудовые нормы; частник берет дороже государства, но у него качественней материалы, богаче ассортимент.

Кладбище часть государства, и оно управляется той же иерархией, что и государство.

Управление кладбища централизовано, власть сконцентрирована в руках заведующего, и система централизации, как обычно это бывает, давит и на начальство,— оно не разрабатывает директив, а выполняет директивы.

Церковь отделена от государства.

У церкви свои кадры — высшие и низшие, хор, продажа свечей и просвир. К богу обращаются не только при захоронении стариков; случается, и партийцы перебираются на кладбище со священником. Молодой человек с профессией самой современной, то ли он атомщик, то ли ракетчик, то ли в телевизионном ателье работал,— и вот умер, и в похоронах его, случается, участвует церковь.

Среди священства тоже раздвоение — рядом с официальным патриаршим священством десятки частников, отделенных и от церкви, и от государства. Ходят они в гражданской одежде, но по длинным волосам, по мятым добрым лицам, по красным славным носам можно определить в них священников-частников.

Официальная церковь очень не любит их, они кощунственно неряшливы в обрядах, да и, кроме того, оплату берут любую, большей частью равную или кратную стоимости ста граммов.

Однажды милиция, к удовольствию ваганьковского протоиерея, устроила облаву на частных священнослужителей. Издали казалось очень смешным, когда под

милицейские свистки длинноволосые мчались среди могил, ползли по-пластунски, сигали через ограду.

Но вблизи эти старые люди, их слезящиеся глаза, тяжелое мученическое дыхание, выражение страха и стыда на лицах не были смешными.

4

У кладбища одна жизнь со страной, народом, государством.

Летом 1941 года особенно сильным немецким бомбежкам подвергались подъездные пути Белорусской железной дороги. Тяжелые бомбы падали на ваганьковскую землю, непосредственно близкую к рельсовым путям. Бомбы крушили деревья, разбрасывали веером комья земли, сокрушенный гранит, расщепленные кресты. Иногда в воздух взлетали, исторгнутые силой взрыва, гробы, тела покойников.

В голодные годы гражданской войны на кладбище собирали щавель, липовый лист. На кладбище ломали ветку на кормежку коз.

И преступления, совершенные на кладбище, прочно связаны со временем, обстоятельствами народной жизни.

В первое время после революции рассказывали о кладбищенском стороже, торговавшем свининой,— он откармливал свиней человеческим мясом, раскапывая ночью могилы. Агенты розыска были потрясены видом этих свиней,— огромные, дикие, злобные.

Рассказывали об артели, которая во время нэпа снабжала частные лавочки острой, прочесноченной домашней колбасой, оказалось, что колбасу эту делали из трупного мяса.

В годы, когда жить стало лучше, жить стало веселее, гробокопатели стали интересоваться драгоценностями, золотыми зубами, костюмами покойников.

После Великой Отечественной войны возрос приток иностранных вещей, и гробокопатели начали охоту на заграничные костюмы, обувь.

Полковник, служивший в оккупационных войсках в Германии, привез своей маленькой дочери говорящую куклу. Дочь полковника вскоре умерла, и, так как кукла ей полюбилась, родители положили в гробик ребенка эту куклу. А спустя некоторое время мать увидела женщину, продававшую эту куклу. Мать упала в обморок.

Но случаи эти чрезвычайные, особые.

Ныне кладбищенская уголовщина измельчала и связана главным образом с разграблением цветочных клумб, похищением рамок для портретов, вазочек, металлических оград.

5

Перефразируя Клаузевица можно сказать, что кладбище есть продолжение жизни. Могилы выражают характеры людей и характер времени.

Конечно, есть немало безликих могил. Но ведь немало есть бесцветных, безликих людей.

Бездна легла между дореволюционными памятниками тайных советников, купцов и нынешними захоронениями.

Но поучительна не одна эта бездна. Поразительно сходство народных могил прошлого с народными могилами века ракет, атомных реакторов.

Какая сила устойчивости! Деревянный крест, холмик земли, бумажный веночек... А если оглядеть тысячи сельских могил — там-то еще ясней, предметней видно все это.

«Все течет, все изменяется»,— сказал грек.

Не видно этого по холмику с серым крестом. Если и меняется, то очень уж незаметно.

И здесь вывод идет дальше,— не только в устойчивости похоронной традиции дело, дело в устойчивости, неизменности духа жизни, стержня жизни.

Какое упорство! Ведь все сказочно изменилось, стало банальностью перечислять бесчисленные изменения, рожденные новым порядком, электрической, химической, атомной энергией.

А этот серый крестик, так похожий на серый крест, поставленный сто пятьдесят лет тому назад, оказался символом тщеты великих революций, научных и технических переворотов, не способных изменить глубин жизни Но чем неизменней жизненная глубина, тем резче перемены на поверхности океана.

И видно: бури приходят и уходят, морская глубина остается.

Вот следы революционной бури — странные, необычные памятники среди высокой кладбищенской травы Черная глыба, на ней наковальня. Чугунная мачта, увенчанная серпом и молотом. Тяжелый грубый слиток

металла. Неотесанный, шершавый гранитный земной шар под пятиконечной звездой, звезда легла на океаны и континенты. Вот это ново!

Полустертые надписи революции прочесть трудней, чем надписи, сделанные на полированных гранитах купцов, князей, заводчиков.

Но каким раскаленным пафосом веет от каждого полустертого слова, написанного революцией. Какая вера, какое пламя, какая страстная сила!

И как малочисленны памятники верующих в мировую коммуну. Долго приходится искать их среди могучего леса крестов и гранитов, среди чугунных оград и мраморных плит, среди бурьяна и травы.

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Когда-то Сталин сказал о советской культуре: социалистическая по содержанию, национальная по форме. Оказалось обратное.

Ваганьково, Немецкое, Армянское, отражая жизненную глубину, плохо отразили жизненную поверхность, советскую жизнь между Октябрем и 1934 годом, годом убийства Кирова. В этот период национальное не перешло еще полностью из формы советской жизни в содержание советской жизни, социалистическое не ушло окончательно в форму. Это был период, когда в партии доминировала революционная интеллигенция, рабочие с подпольным стажем.

Этот период отражен на кладбище при московском крематории. Сколько смешанных браков! Какое чудное национальное равенство! Какое множество немецких, итальянских, французских, английских фамилий. На некоторых памятниках надписи на иностранных языках. А сколько латышей, евреев, армян, какие боевые лозунги на памятниках!

Кажется, здесь, на этом кладбище, окруженном красной стеной, горит пламя молодого большевизма, еще не огосударствленного, еще несущего в себе молодой пафос, дух Интернационала, сладкий бред Коммуны, хмельные песни революции.

6

Самое прекрасное, что есть в мире, это живое сердце человека. Его способность любить, верить, прощать, жертвовать всем ради любви прекрасна. Но живые сердца спят вечным сном в кладбищенской земле.

Душу умершего человека, его любовь и горе нельзя увидеть, нельзя подсмотреть в надгробиях, в надписях на памятниках, в цветах на могильном холме. Ее тайну бессильны передать камень, музыка, поминальный плач, молитва.

Перед святостью этой безмолвной тайны презренны все барабаны и медные трубы государства, мудрость истории, камень монументов, вопль слов и поминальных молитв. Вот тут-то она смерть.

1957—1960 гг.

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

1

Победоносные войска Советской Армии, разбив и уничтожив армию фашистской Германии, вывезли в Москву картины Дрезденской галереи. В Москве картины хранились взаперти около десяти лет.

Весной 1955 года Советское правительство решило вернуть картины в Дрезден. Перед тем, как отправить картины обратно в Германию, было решено открыть девяностодневный доступ к ним.

И вот холодным утром, 30 мая 1955 года, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к Сикстинской Мадонне.

При первом взгляде на картину сразу и прежде всего становится очевидно — она бессмертна.

Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом — бессмертие,— смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений человека с бессмертием. И, полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум — одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, по-

ка живы люди. Но, может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле,— волки, крысы и медведи, ласточки — будут приходить, и прилетать, и смотреть на Мадонну...

На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений — пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летосчисления до наших дней.

На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.

За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад... За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.

Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.

Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули... Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.

Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.

Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа — потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души коечто недоступно сознанию человека.

Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса — материализации энергии, а здесь

духовная сила, материнство кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.

Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна, она присуща массам людей — желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым с курчавыми волосами и толстыми губами, она всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят в ней человеческое — она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь,— в подвалах, на чердаках, в дворцах, в ямах.

Мне кажется, что эта Мадонна — самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.

Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень Мадонны.

Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.

Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед, и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.

Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм и пыльную, каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди...

А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство — оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло, и сердце забилось от его необычности и новизны.

И в этом еще одна особенность картины.

Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.

Почему нет страха в лице матери, и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?

Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя.

И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками.

Как объяснить это, как понять?

Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого — не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности в том, что они отделятся один от другого.

Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой шахтной сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.

Человеческое в человеке встречает свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общее в этой судьбе то, что она постоянно тяжела...

Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.

Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.

Мадонна с младенцем на руках — человеческое в человеке,— в этом ее бессмертие.

Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущим сегодня всего, что было и отжило, и всего, что будет.

2

После уж, когда я шел по улице, пораженный и смущенный мощью внезапного впечатления, я не старался разобраться в смешении своих чувств, мыслей.

Я не сравнивал это смятение чувств ни с теми днями слез и счастья, которые я, пятнадцатилетним мальчиком, переживал, читая «Войну и мир», ни с тем, что я чувствовал, слушая в особо угрюмые, трудные дни моей жизни музыку Бетховена.

И я понял — не с книгой, не с музыкой сближало меня зрелище молодой матери с ребенком на руках... Треблинка...

«Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов... Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном... Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливается в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный... Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, туфли, колесики ручных часов, перочинные ножики, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, кружевное белье, полотенце с украинской вышивкой, горшочки, бидоны, детские чашечки из пластмассы, детские, писанные карандашами письма, книжечки стихов...

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью, волнистые, густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные, тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще...

А стручки люпина звенят и звенят, стучат горошины. Точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколов.

И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...

Воспоминание о Треблинке поднялось в душе, и я сперва не понял этого...

Это она шла своими легкими босыми ножками по колеблющейся треблинской земле от места разгрузки эшелона к газовой камере. Я узнал ее по выражению лица и глаз. Я увидел ее сына и узнал его по недетскому, чудному выражению. Такими были матери и дети, когда на фоне темной зелени сосен видели они белые стены треблинской газовни, такими были их души.

Сколько раз всматривался я сквозь мглу в сошедших с эшелона, но всегда неясно видны были они — то человеческие лица казались искажены безмерным ужасом, и все глохло в страшном крике, то физическое и душевное изнеможение, отчаяние застилало лица тупым, угрюмым безразличием, то беспечная улыбка безумия застилала лица людей, сошедших с эшелона и идущих в газовню.

И вот я увидел истину этих лиц, их нарисовал Рафаэль четыре века назад — так человек идет навстречу своей судьбе.

Сикстинская капелла... Треблинская газовня...

В наше время родила молодая мать своего ребенка. Страшно носить под сердцем сына и слышать рев народа, приветствующего Адольфа Гитлера. Мать всматривается в лицо новорожденного и слышит звон и хруст разбиваемых стекол, вопли автомобильных сирен, волчий хор затягивает на берлинских улицах марш Хорста Весселя. Вот глухой стук маобитского топора.

Мать кормит ребенка грудью, а тысячи тысяч складывают стены, тянут колючую проволоку, возводят бараки... А в тихих кабинетах проектируются газовые камеры, автомобили-душегубки, кремационные печи...

Пришло волчье время, время фашизма. В это время люди живут волчьей жизнью, волки живут жизнью людей.

В это время молодая мать родила и растила своего ребенка. И живописец Адольф Гитлер стоял перед ней в здании Дрезденской галереи — он решал ее судьбу. Но владыка Европы не мог встретить ее глаз, он не мог встретить взор ее сына,— ведь они были людьми.

Их человеческая сила восторжествовала над его насилием — Мадонна пошла своими легкими босыми ножками в газовню, понесла сына по колеблющейся треблинской земле.

Германский фашизм был сокрушен,— война унесла десятки миллионов людей, огромные города были превращены в развалины.

Весной 1945 года Мадонна увидела северное небо. Она пришла к нам не гостьей, не путешествующей иностранкой, а с солдатами и шоферами по разбитым дорогам войны, она часть нашей жизни, наша современница.

Ей все знакомо — и наш снег, и холодная осенняя грязь, и мятый солдатский котелок с мутной баландой, и вялая луковка с черной хлебной коркой.

Вместе с нами шла она, ехала полтора месяца в

скрипящем эшелоне, выбирала вшей из мягких немытых волос своего сына.

Она современница поры всеобщей коллективизации.

Вот идет она, босая, со своим маленьким сыном на погрузку в эшелон. Какой далекий путь перед ней, из Обояни, из-под Курска, из воронежских черноземных земель — в тайгу, в зауральские лесные болота, в песок Казахстана.

А где отец твой,— в какой авиационной воронке, на какой командировке на таежных лесозаготовках, в каком дизентерийном бараке погиб он?

Ваничка, Ваня, почему так печально лицо твое?

Судьба закрестила за тобой и твоей матерью окна родной опустевшей избы. Какой далекий путь перед вами? Дойдете ли вы? Или, измученные, погибнете где-нибудь в дороге, на станции узкоколейки, в лесу, на болотистом берегу зауральской речушки?

Да, ведь это она. Я видел ее в тридцатом году на станции Конотоп, она подошла к вагону скорого поезда, смуглая от страданий, и подняла свои дивные глаза, сказала без голоса, одними губами: «Хлеба»...

Я видела ее сына, уже тридцатилетним, в сношенных солдатских ботинках, тех, что не снимают за полной негодностью с ног покойников, в ватнике, порванном на молочно-белом плече, он шагал тропинкой по болоту, туча гнуса висела над ним, но он не мог отогнать миллиардный живой, мерцающий над ним нимб мошкары, его руки придерживали на плече тяжелое, сырое бревно. Вот он поднял склоненную голову, и я увидел его лицо, ровную, от уха до уха, курчавую светлую бородку, полуоткрытые губы, увидел его глаза и сразу узнал их — это они, его глаза, смотрят с картины Рафаэля.

Мы встречали ее в 1937 году, это она стояла в своей комнате, в последний раз держа на руках сына, прощаясь, всматривалась в его лицо, а потом спускалась по пустынной лестнице немого многоэтажного дома... На двери ее комнаты положена сургучная печать, внизу ждет ее казенная автомашина... Какая странная настороженная тишина в этот серый, пепельный рассветный час, как немы высокие дома.

А из рассветной полутьмы выплывает ее новое настоящее — эшелон, пересылка, часовые на деревянных лагерных вышках, проволока, ночная работа в мастерских, кипяточек, нары, нары, нары...

Сталин медленной, мягкой походкой, в шевровых сапожках на низком каблуке, подошел к картине, долго,

долго всматривался в лица матери и сына, поглаживая свои седые усы.

Узнал ли он ее, он встречал ее в годы своей восточносибирской, новоудинской, туруханской и курейской ссылки, он встречал ее на этапах, на пересылке... Думал ли он о ней в пору своего величия?

Но мы, люди, узнали ее, узнали ее сына, она — это мы, их судьба — это мы, они человеческое в человеке. И если грядущее занесет Мадонну в Китай, в Судан, всюду люди узнают ее так же, как сегодня узнали ее мы.

Чудная, спокойная сила этой картины и в том, что она говорит о радости быть живым существом на земле.

Ведь мир — вся огромность Вселенной — это покорное рабство неживой материи, и только жизнь есть чудо свободы.

И эта картина говорит, как драгоценна, как прекрасна должна быть жизнь и что нет в мире силы, которая могла бы заставить жизнь превратиться в нечто такое, что при внешнем сходстве с жизнью уже не было бы жизнью.

Сила жизни, сила человеческого в человеке очень велика, и самое могучее, самое совершенное насилие не может поработить эту силу, оно может только убить ее. Вот почему так спокойны лица матери и ее сына — они непобедимы. В железную эпоху гибель жизни не есть ее поражение.

Мы стоим перед ней, молодые и седые люди, живущие в России. Стоим в тревожное время... Не зажили раны, еще чернеют пожарища, еще не устоялись курганы над братскими могилами миллионов солдат, наших сыновей и братьев. Еще стоят опаленные, мертвые тополя и черешни над сожженными заживо деревнями, растет тоскливый бурьян над сгоревшими в партизанских селах телами дедов, матерей, хлопцев, девчат. Еще заваливается, шевелится земля над рвами, где лежат тела убитых еврейских детей и их матерей. Еще стоит вдовий плач по ночам в несметном числе русских изб, белорусских и украинских хат. Все пережила Мадонна с нами, потому что она — это мы, потому что сын ее — это мы.

И страшно, и стыдно, и больно — почему так ужасна была жизнь, нет ли в этом моей и твоей вины? Почему мы живы? Ужасный, тяжелый вопрос,— задать его живым могут лишь мертвые. Но мертвые молчат, не задают вопросов.

А послевоенная тишина нарушается время от времени раскатами взрывов, и радиоактивный туман стелется в небе.

Вот вздрогнула земля, на которой все мы живем,— на смену оружию атомного распада идет термоядерное оружие.

Скоро мы проводим Сикстинскую Мадонну.

С нами прошла она нашу жизнь. Судите нас — всех людей вместе с Мадонной и ее сыном. Мы скоро уйдем из жизни, уж головы наши белы. А она, молодая мать, неся своего сына на руках, пойдет навстречу своей судьбе и с новым поколением людей увидит в небе могучий, слепящий свет — первый взрыв сверхмощной водородной бомбы, оповещающей о начале новой, глобальной войны.

Что можем сказать мы перед судом прошедшего и грядущего, люди эпохи фашизма? Нет нам оправдания.

Мы скажем, не было времени тяжелей нашего, но мы не дали погибнуть человеческому в человеке.

Глядя вслед Сикстинской Мадонне, мы сохраняем веру, что жизнь и свобода едины, что нет ничего выше человеческого в человеке.

Ему жить вечно, победить.

1955 г. май

Юрий Трифонов

НЕДОЛГОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В КАМЕРЕ ПЫТОК

Ранней весной 1964 года, когда я еще болел неизжитой любовью к спорту, вел таблицы чемпионатов, знал на память лучших игроков «Флорентины» и «Манчестер Юнайтед», когда мне казалось, что о спорте можно писать так же всерьез, как, скажем, о гробнице Лоренцо Медичи во Флоренции, когда я только что выпустил легендарный фильм о хоккее и не испытывал никакого стыда, я приехал с группой спортивных журналистов в Тироль, жил в горной деревне неподалеку от Инсбрука и по утрам ездил автобусом на соревнования. В Инсбруке происходила Олимпиада. Кто там выигрывал, кто проигрывал, я не помню. Вся эта ерунда забылась. Не помню ни одной фамилии тогдашних спортсменов, но вот что помню: ослепительный снег на склонах, режущую голубизну, свежесть воздуха, запах кофе, хозяина, который прищуривался и сухими губами выдавливал: «Morgen». Бывало лень ехать в город, я оставался в отеле и смотрел соревнования по телевизору. В пустом холле на столе лежали толстые в якобы старинных, кожаных переплетах книги: Gästebücher. То, что у нас называется: книги отзывов. От нечего делать я листал их и наслаждался немецким простодушием. Книги велись с двадцать девятого года, когда возникла гостиница в деревне Штубенталь. Все надписи были похожи: благодарность хозяину, хвала горам, снегу, вину, девушкам, подбору пластинок для музыкального автомата. Я дошел до аншлюса: ничего не изменилось, те же восторги по поводу снега, воздуха, девушек. Вот и война: судя по надписям, здесь отдыхали раненые немецкие офицеры, но и от них нельзя было ничего узнать, кроме восхищения природой, девушками, итальянским вином, испанскими апельсинами. Однажды мелькнула патриотическая надпись: «Alles wagen, England schlagen!», т. е. «решится на все, побить Англию». Маленькими буквами

карандашом кто-то приписал сверху: «England hat ihnen stark geschlagen!», т. е. «Но Англия побила вас крепко». И еще более позднее зеленым фломастером: «O, sie gute arme Idioten!» Но неизвестно, к кому это относилось: к побитым немцам или к тем, кто радовался победе. И это было все, что касалось войны. Дальше продолжалось то же самое: лыжи, солнце, счастье, Erbbmiss. Хозяину мы были не по душе. Ему заплатили деньги, он нас терпел. В разговоры не вступал. Единственное, что мы слышали от него, было сквозь стиснутые зубы: «Morgen!»

Но все равно мне нравились снежные горы, долина, громадный мост через пропасть, запах кофе по утрам, нравилось то, чем я так безумно и бессмысленно увлекался, чем были полны газеты, о чем я писал ночами, а в полдень кричал по телефону в Москву, и лишь одно портило настроение: присутствие в нашей группе Н. Он вынырнул из моего давнего прошлого. Разумеется, я знал, что он существует, и натыкался на его фамилию в газетах, я встречал его изредка то здесь, то там, мы оба делали вид, что мало знакомы или же, если сталкивались нос к носу, едва кивали и проходили мимо, хотя когда-то были дружны, нам нравилась одна девушка, но она ни при чем, девушка была совершенно непричастна ко всей истории, которая случилась четырнадцать лет назад, но дело вот в чем: все годы мы жили, не касаясь друг друга. Он работал на радио, я сидел дома. Мне казалось, я его исчерпал навсегда. И вдруг он возник в Инсбруке. От спорта Н. всегда был далек. Какого дьявола он оказался в нашей стае? В первую минуту, когда увиделись в Москве на сборе группы, я заметил, как в его лице что-то дрогнуло, как подавленный мгновенно импульс обрадоваться или, может быть, дружелюбно кивнуть, но в моем лице этой слабости он прочитать не смог. Я встретил его холодным взором и чуть заметным наклоном головы, что не означало ничего, кроме ледяной памяти. Такой род отношений, я полагал, у нас установится дальше, и двенадцать дней я как-нибудь дотерплю. Когда, бывало, мои друзья уезжали в город без меня, а я оставался в гостинице, это происходило отчасти и оттого, что не хотелось видеть румянощекого, подвысохшего, стариковатого Н. Когда-то, я помню, он ходил в кителе, в сапогах, курил самодельную трубку и выглядел сановитым юношей, степенным, глубоко на чем-то сосредоточенным. Потом я узнал, на чем. Но тогда мне казалось, что в его неспешности, тихом невнятном голосе, сумрачном взгляде таится значитель-

ность. Я зачитывался тогда Блоком, и мне казалось это о нем: «Простим угрюмство, ведь не это сокрытый движитель его...» Дальнейшее, правда, не подходило: «Он весь дитя любви и света, он весь свободы торжество». Движитель Н. имел отношение к иному: только к нему самому, к Н. Но когда приехали в Тироль, поселились в гостинице, началось странное: он стал вести себя так, будто ничего никогда не было! Он здоровался по утрам радостными улыбками издалека, приветственно поднимал руку и усердно кивал, причем в кивках было не только старинное приятельство, но и душевная почтительность, какая высказывается людям, искренне уважаемым. Я старался не обращать внимания. Потом это стало раздражать. Однажды столкнулись в ложе прессы, на стадионе, лицом к лицу, и он на ходу взял мою руку повыше локтя, довольно фамильярно, сжал ее и сказал: «Здорово!» Я отдернул руку, пробормотав: «Что такое?» Но бормотание прозвучало скорее испуганно, чем враждебно. Он подмигнул мне и прошел, ничего не сказав. В другой раз, в присутствии двух журналистов, итальянца и немца, он завел со мной разговор о хоккее, предварительно представив меня как знатока, автора отличного фильма «Хоккеисты» — так и сказал «отличного», и его голос прозвучал честно и просто, без малейшего оттенка зависти или иронии,— и мне волей-неволей пришлось откликнуться и с ним беседовать. Но я скомкал разговор и ушел. Потом немец меня нашел и просил дать интервью о ходе турнира, заметив: «Господин Н. читает все ваши материалы с восторгом. Он сказал, что они поистине «Spitze!». Я не знал, как к этому относиться. Я не понимал его, не понимал себя. Неужели, думал я, человек напрочь забыл, *как он себя вел четырнадцать лет назад*? Но это невозможно. Так не бывает. Он не забыл, вероятно, но относится к своему прошлому хладнокровно, как к чему-то естественному, пустяковому, достойному забвения. Если бы он держался иначе: не здоровался, смотрел бы волком, проходил мимо не глядя, с надменным лицом — меня бы это не задевало. Я бы принял, как должное. Человек, который сделал кому-то зло, всегда смотрит на свою жертву волком или проходит мимо с надменным лицом. Это в порядке вещей. Но тут делали вид, будто *никакого зла не было!*

И чем больше я думал, тем сильнее закипал гневом и только ждал случая, чтобы излить гнев на Н. Затеялась какая-то суета вокруг присуждения награды «золо-

тое перо» фирмы «Ролекс» лучшему журиалнсту от каждой национальиой группы, и Н. назвал мою фамилию. Это был вздор, я ие профессноиальиый журиалист и «золотого пера» ие заслужил. Выдвииули кого-то другого, Н. стал меия отстаивать: было до того невыносимо, что я вышел из зала. Наше летучее собранне пронсходило в ресторане. Я был вие себя от ярости. Я ждал его в холле. Как только ои появился, я подошел к иему и сказал: «Какого черта ты ко мие липиешь? Ведь я тебя не трогаю!» Вероятио, у меня было очеиь злобиое выражение лица, потому что секуиду ои молчал, глядя иа меня изумлеиио, а затем растеряиио пожал плечами: «Я липиу? Да ты рехиулся! Ты с ума сошел, братец». «Я тебя прошу: перестань меня провоцировать». «Ты болеи,— сказал ои.— Тебе иадо лечнться».

Была звездная ночь. Я ходнл по асфальтовой дороге перед гостниицей, дышал зиойкнм воздухом гориой иочной долииы, вымершей и беззвучной, и думал: действительио ли я болеи? Изредка меия окатывали светом фар мчащиеся машины. Я дошел до поворота на мост и смотрел в створ чериеющих склонов, где далеко в глубнне, куда уносилась иевидимая сейчас дорога, горстью слабых огней светился Инсбрук: он тлел внизу, как незатоптаииый маленький лесной костер. Я болен, думал я, как всякий, у кого не отшибло память. Я слишком хорошо помню: майский вечер иакануне собрания, он пришел без звоика, якобы за тем, чтобы передать книги, потому что уезжал в Бердянск. Ои каждое лето уезжал в Бердянск к родственникам. Но я чувствовал, что его прнход вызван другим. В первую же минуту его действия были иеестествеииы: ои не положнл книги на стол, не сказал «Спасибо», или «Возвращаю», или «Вот твои книги», а издалека молча кииул их на кровать. В этом жесте были иервиость, бесцеремонность н решимость. Он отшвырнул от себя ие кииги, а что-то, затрудиявшее жизнь. Как только мы остались вдвоем, ои сказал, прыснув смешком: «Хочешь анекдот? Завтра я буду выступать против тебя!» «Против чего?»— спросил я глупо, ни черта не поияв. «Против тебя. Тебя, тебя!» — он улыбался и тыкал в меня пальцем. Мне показалось, что он пьян. Что-то подобное, предполагал я, может случиться, но зачем приходить и предупреждать? Я сказал, что подлянку делают без предупреждеиия. Ои что-то бормотал об осознаиной иеобходимости. А я бормотал, что теперь будет иеинтересио идти на собраине. Мы оба бормотали бессмысленное. Вдруг я закричал: «Зачем ты сюда при-

шел?» Он сказал, что пришел не по своей воле. Так велела сделать Надя. Она потребовала — или не будешь выступать вовсе нли пойдешь к нему и честно предупредншь. «Ты же знаешь, какая она. Прямо устроила мне истерику». Я про Надю забыл. Надя была девушкой, которая нравилась раиьше иам обоим. Оиа пережила ленинградскую блокаду, была бледная, хрупкая, анемичная, с белопшеиичными косами, задумчивым взглядом, тихой речью, писала стихи и мие, любителю Блока, сама представлялась блоковской незнакомкой. Все ее родные погнбли в блокаду. Надя жила в общежитии. Было время, когда я страстно о ней мечтал. Летом сорок седьмого, когда мы перешли на третий курс, мы втроем — Надя, я н Н.— поехалн на практнку в Армеиию писать очерки о Севаиской ГЭС. Это была комаидировка по линии комсомола. Мы поехали в июле. Сиачала все было весело, остро, зазывно, окутано дурманом иеизвестности н любви: девушка была рядом, и за нее следовало бороться. Мы дурачились, пели песни, ночами ие спали, бесконечно чнтали стнхн. Добирались до Ереваиа с четырьмя пересадками. В Сочи впервые в жизни нскупались в море. Я помню, как мы с Н. отплыли далеко, Надя осталась у берега, и Н. спросил: «Будем бросать жребий иа Надю?» Меня это ошеломнло, я чуть ие захлебнулся соленой водой н выпалил: «Нет!» Он сказал: «Ну смотри. Тогда пеняй на себя». Эта угроза показалась мне нелепой. Я потому н выпалил «нет», что в глубнне души считал, что еслн выбирать между намн, Надя выберет меня. Я тоже писал стихи. А Н. сочинял очерки для Совинформбюро. Наше путешествие становилось все утомительней. От Сочи до Самтредиа ехали местным поездом в духоте, в давке, вокруг кричали на чужом языке, какне-то люди посягали на Надю, мы с Н. ее защищали и дело едва лн не дошло до драки. От тесноты и жары все разделнсь до маек. Мы посадили Надю в угол н загородили ее спинамн. Самтредна показался нам землей обетоваиной — тут было тихо, спокойно, продавалн груши и кукурузные лепешки. Но потом мы Самтредна возненавидели: мы не могли оттуда уехать. Как только открывалась бнлетная касса, к ней устремлялась кричащая толпа, н пока мы, помогая себе локтями, добиралнсь до целн, кассирша говорнла: «Б н л э т о в н э т!» н окошко захлопывалось. Мы пошлн к дежурному коменданту. Он нас уннжал. Н. ввязался с иим в распрю и угрожал написать про него в газету, размахивая нашими комаидировочнымн мандатами, солндными на внд, но

ничтожными по сути, подписанными завучем института. «Ваши бумажки для меня н о л!» — говорил комендант и, не читая, сметывал их на пол. Затем он сказал: «Живыми вы отсюда не уедете!» Ночевать нам пришлось в Самтредиа. На вокзале ночевать боялись: это было владение коменданта, там он мог нас преследовать. Н. предложил спать на площади у подножия памятника Ленину, который всю ночь был освещен. «Здесь нас тронуть не посмеют»,—говорил Н. Мы боялись, что нападут и похитят Надю. Н. все время тихо напевал: «Вихри враждебные веют над нами...» Он стал меня раздражать. Надя спокойно улеглась на моем плаще, укрылась его фуфайкой и заснула, а мы ее сторожили и всю ночь ворчали и спорили. Помню, ругались из-за Ахматовой. На нас никто не напал. На другой день к вечеру сели в поезд и поехали в Тбилиси. Тут наши споры ожесточились: катастрофически таяли деньги, надвигалась жара, и я считал, что надо, не задерживаясь, ехать дальше, а он вздумал остаться на несколько дней в Тбилиси. У него там был фронтовой друг. Я решительно возражал. Вдруг он сказал, что если я так упорствую, я могу ехать вперед, а они догонят меня на Севане. Что-то во мне всколыхнулось и рухнуло. Как будто был прорыт ход, заложена мина, и вот она взорвалась. Я спросил у Нади: «Ты действительно хочешь остаться с ним в Тбилиси?» «Мне все равно,— сказала она.— Я никуда не спешу». Она отличалась необыкновенной честностью. Но почему-то ее честность взрывалась, как бомба, и наносила людям контузии. Фронтовой друг не отыскался, мы поехали дальше вместе. В Ереване свирепствовала сорокаградусная жара — надо было додуматься ехать в Армению в июле! Жара превратила нас в полутрупы: мы валялись без сил в комнате, которую предложила одна старуха на вокзале. На третьи сутки Н. посоветовал мне подыскать комнату. «Где-нибудь поблизости,— сказал он.— Недалеко от нас». И я ушел от них тем же вечером. Так вдруг все кончилось. То было первое разочарование: в дружбе, в женщинах и, главное, в себе. Быть таким самоуверенным и слепым! Но я страдал недолго. Мне был двадцать один год. Потом отношения с Н. восстановились, хотя прежней дружбы быть не могло. Мы сделались далеки, но не враждебны друг другу. Вполглаза я наблюдал: они были с Надей, потом расстались, к концу института соединились опять и, кажется, прочно. Но меня это не трогало. Я был занят другим. Я писал книгу. Другие женщины с белопшеничными косами возникали и пропа-

дали. Вдруг я женился. Летела в молодом нетерпении жизнь. Моя слабая книга получила известность, глаза мои застилал туман, и тут на меня обрушилась гора. За четыре года Н. ни разу не приходил ко мне и вдруг пришел. Меня это не испугало: он был только частицей горы. Но вот что загадочно и чего не могу понять: зачем было приходить и предупреждать? Впрочем, не могу понять теперь, а тогда — поразительиое дело, ио тогда, услышав о том, что ему велела прийти Надя, я почему-то поиял и согласился. Дело в том, что грозило исключение. Я окончил иистиут, ио продолжал иаходиться в комсомольской организации института. Слабая книга внезапно получила премию. Поэтому было сладко меня исключать. И было за что: я скрыл в аикете, что отец враг народа, во что иикогда не верил. То, что Н. говорил, придя ко мие ночью, было бредом. И то, чего требовала от него Надя, иамекая на честность и открытое забрало, тоже было бредом. Все было бредом: май, премия, исключение, аплодисмеиты, озлоблеиие. И была, может быть, бредовая просьба отпущеиия грехов. Им хотелось, чтоб я им сказал «Валяйте!», и, пожалуй, они услышали «Валяйте!», ибо я, как в бреду, бормотал невнятицу, зевал и пожимал руку иа прощаиие. Бызают такие сновидеиия: все иелепое, что происходит во время сиа, кажется иевероятно логичным и само собой разумеющимся, ио, когда проснешься, не можешь, хоть убей, догадаться: почему же абракадабра представлялась тебе такой понятной? Ну вот, а все выступавшие говорили лишь об анкете, нужно было что-то добавочное, иужиа была коикретиость, которая подтверждала бы, что я гнилой виутри, что случай с аикетой только проявления общей гнилости, как лихорадка иа губе проявление слома всего организма простудой. Н. выступал затруднительно и как бы с болью. Ему было тяжело. Ведь он был со мной дружен. Он еле вязал слова. Он говорил, что у иего мучительно двойственное отиошение ко мне: с одной стороиы, то, но с другой — безусловно это. В таких вещах важны подробиости: вот, например, что я говорил когда-то об Ахматовой. Это было давио, ио тем хуже для меня. Зиачит, уже тогда я недопонимал. Однажды я хвалил такого-то. В другой раз возмущался тем-то. Был случай, я издевался над ним, когда он хотел петь революциониые песии. Но, однако, я человек не потеряниый! Поэтому он против исключения, за строгий выговор с предупреждеиием. Собрание после долгих споров так и решило. Но райком исключил, для

чего мелкие свидетельства Н. пригодились. Потом горком восстановил со строгим, или как говорили тогда полюбовно: со строгачом.

Все это уже в Тироле казалось мне давностью, а теперь ушло в такую библейскую тьму, что вдруг думаешь: а было ли все это со мной? Может, причудилось? Может, кто-нибудь нарассказал небылиц, а в моем уме все переворотилось и опрокинулось на меня? Кто-то сказал: писатель в России должен жить долго. И правда, можно застать многие нечаянности и чудеса. Время затмевает прошлое все густеющей пеленой, сквозь нее не проглянешь, хоть глаз выколи. Потому что пелена — в нас. А нечаянности уходят туда же, за пелену. Чехов мог бы дожить до войны, сидел бы стариком в эвакуации в Чистополе, читал бы газеты, слушал радио, питался бы кое-как, по карточкам, писал бы слабеющей рукой что-нибудь важное и нужное для той минуты, отозвался бы на освобождение Таганрога, но каким бы видел свое прошлое, оставшееся за сумраком дней? Своего дядю Ваню? Свой вырубленный сад? Ольгу, которая мечтала: «Если бы знать! Если бы знать!» Как только мы узнаем, это узнанное исчезает во мгле. Ведь Антон Павлович мог бы до Чистополя узнать многое, о чем бедная Ольга и помыслить не смела. Ну вот узнал — и что же? Самого главного узнать не мог—чем кончится война. А мы знаем и это...

Разгуливая по ночному шоссе перед гостиницей «Штубенталь», я вдруг решил: надо поговорить с Н. начистоту. Почему н а д о—было неясно. Но я загорелся этой мыслью. Теперь, когда все отболело, когда мы оба выплыли из тех дней и нас откатило волнами в разные стороны, было легко спросить: зачем ты это сделал? Я стал ждать удобного часа. Пока шли соревнования, мы редко встречались: я смотрел хоккей, он фигурное катание. Но вот все кончилось, хозяин гостиницы впервые улыбался, прощаясь с нами, мы поехали автобусом в Вену, по дороге останавливались, смотрели то, се. В воздухе была теплынь. Мы побронзовели, будто побывали на юге. В автобусе он опять поглядывал дружелюбно, кивал приветливо: как ни в чем не бывало. Иногда спрашивал что-нибудь на ходу, пустое: «Ты не знаешь, где будет следующая остановка?» или «Не заметил случайно, где тут туалет?» Я отвечал сухо. Я думал: «Подожди, я тебя спрошу иначе. Перестанешь улыбаться!» На второй день после обеда в Зальцбурге поехали на экскурсию: поблизости в замке помещалась средневековая камера пыток. Я подумал: тут самое место!

Все были навеселе после обеда, разбрелись с хохотом и шутками по громадному замку, слонялись по ходам и залам подземелья, где в полумраке висели, торчали и дыбились орудия пыток, и, по счастью, в одном из залов мы оказались вдвоем. И я спросил: «Послушай, давно хотел полюбопытствовать, зачем ты меня тогда топил?» Он не понял: «Когда?» «Ну, в те годы, черт знает когда. Исключали меня. Помнишь?» Мы стояли перед громадной бадьей, в которую сажали преступника, и с помощью ворота опускали бадью в колодец, где была тухлая вода со змеями и жабами. Там его топили и вытаскивали труп или же держали полузатопленным, мучили, выпытывали секреты. Об этом сообщалось на красиво написанной готическими буквами табличке. Все происходило в шестнадцатом веке. Мы смотрели в глубь колодца. Сейчас он был сух, но без дна. Наши голоса гулом исчезали внизу. Я знал, что он скажет: «Старик, клянусь тебе: я поступал искренне! Мы были дураками. Я верил, что тебя надо покарать, что твой отец враг, что пощада — это проявление слабости. Если хочешь, надо жалеть не тебя, а нас, искренних дураков». Я отвечу: «Но разница в том, что вам, дуракам, ничего не грозило, а мне грозило: без работы, без денег, а может, без дома, без родных. Время текло суровое. Но вас, дураков, это мало заботило. Что с вас взять? Вы поступали искренне. Нет ничего благородней и замечательней искренности!» «Ты подвергаешь это сомнению?» «Если искренне забывать о совести, о боли других — тогда ну ее к черту! Вы не задумывались над тем, во что ваша искренность превращается. Вам было плевать, что происходит с людьми, кто натыкался на вашу искренность, сияющую сатанинским светом! А знаешь, что в день того проклятого собрания моя мать...» Внезапно ярость наплывает багряным облаком. «Ваша искренность — это злодейство!» И, охватив тщедушного Н. под колени, легко поднимаю его над колодцем, перебрасываю через барьер, он бултыхается в бадью, нечеловеческий крик, ворот начинает вертеться, быстрей и быстрей, бадья ухнула вниз, крик заглох, а ворот вертится, вертится неостановимо, и я бегу по каменной лестнице наверх. В автобусе никто не замечает, что Н. нет. Спохватываются через два часа. Поворачивают назад. Все вдруг протрезвели. Бегают по замку, ищут, вопят, зовут, а я сижу на крыльце и курю. Постепенно яснеет страшная правда. «Неужто?» — спрашивают друг друга молча, ужасаясь глазами. И кто-то говорит: «А между прочим, было что-

то неладное». «Где?» «В Инсбруке». «А что?» «Стоял на улице и читал объявления...»

Н. смотрел на меня с испугом и, покачав головой, прошептал: «Старик, ты все забыл. Я не топил тебя, а спасал». «Спасал?» «Конечно: я же повернул ход собрания. Тебя хотели исключить, а после моего выступления дали строгача. Ты меня благодарил. Неужели не помнишь?» «Я помню другое: ты говорил что-то об Ахматовой, о том, что я двойственный...» Он уставился на меня, как на сумасшедшего, выпучив глаза, а потом схватил за плечи, затряс: «Да нет же! Я тебя спас! Вытащил из-под огня! Мне потом досталось: зачем, сказали, полез его защищать? Ведь он подонок. Я из-за тебя поссорился. Как странно, что ты обо всем забыл...»

Да, я забыл, не помнил, перепутал, все ушло во мглу. Он протянул неуверенно руку, и я неуверенно пожал ее. Мы поднялись из подземелья на волю. Сверкал в голубом небе белоснежный костяк горы. Альпийская весна кипела. Из автобуса доносилась музыка: шофер заводил Моцарта. Он любил дремать под музыку.

Я подумал о толстых книгах в отеле «Штубенталь»: в самом деле, нет ничего в этом мире, кроме снега, солнца, музыки, девушек и мглы, которая наступает со временем.

Ведь после пребывания в камере пыток прошло пятнадцать лет, и оно тоже — во мгле. Н. умер от болезни сердца восемь лет назад. Что стало с Надей, не знаю. А я давно не хожу на стадион и смотрю хоккей по телевидению.

Анатолий Ким

ОСТАНОВКА В АВГУСТЕ

В августе 196... года по степной грунтовой дороге шла военная машина с закрытым серым кузовом. В кабине были шофер-солдат и темноволосый маленький офицер, внутри цельнометаллического кузова лежал, разметавшись на матраце, солдат Ивин. На выбоинах дороги машину встряхивало, и лежащий беспомощно взлетал вместе с матрацем, а затем падал спиною на дно железного кузова.

Офицер в кабине спал, держа на коленях фуражку, привалясь к спинке сиденья и мотая головою на обессиленной сном шее. Офицеру снилась малознакомая женщина, которую он встретил однажды в Пятигорске, находясь там проездом. Во сне эта женщина почему-то предстала перед ним в зимнем солдатском белье, и он, стоя перед нею, в недоумении развел руками. Но тут его словно толкнули сзади, он стал падать на женщину, а та выставила навстречу свой острый локоток — и он проснулся.

Он встряхнул головою, крепко потер обеими руками щеки, откинул с лица назад длинные волосы, поднял упавшую с колен фуражку. Машина стояла, степь уже не кружилась за боковым стеклом. Чуть косо торчал к небу телеграфный столб, фарфоровые ролики на нем неимоверно белели под солнцем. Шофер вылезал из кабины, сгорбив спину под грязной, покоробленной от пота гимнастеркой.

— Что за остановка, Еськин? — тонким и еще не послушным со сна голосом произнес офицер.

— Надо же отдохнуть, товарищ старший лейтенант,— обиженно промолвил в ответ шофер, пиная передний скат.

— Ну, ну... А я думал, колесо лопнуло.— Офицер открыл дверцу со своей стороны и спрыгнул на землю.

Перед ними была река и мост чуть справа, у моста

участок дороги был вымощен булыжником и сверкал на солнце, как панцирь чешуйчатого чудовища, зарывшегося в землю. Машина стояла сбоку дороги, на невысоком обрыве берега с плоским верхом, где заскорузлой щетиной торчала высохшая травка. Валялся раздавленный ящик из-под фруктов, утыканный по углам ржавыми гвоздями. Нестерпимо ярко и сухо горели осколки бутылок, во множестве разбросанные в этом месте.

А над ними в вышине плавал кругами темный одинокий ястреб, медленно передвигаясь по голубоватому серебру полуденного степного неба. Где-то кричали женщины. Звенели сильно и радостно кузнечики. Далеко ворчал трактор.

Воздух от нагретой земли поднимался сплошным теплым потоком и, встречаясь с холодной неподвижной высью неба, перемешивал с нею свое тепло, отчего начинал закручиваться и течь в сторону огромными валами. Так рождался верховой широкий ветер — над бурыми плавными холмами, над голубыми курганами — не заметный с земли мощный поток. И держась на его упругих струях, развернув крылья, как пловец руки, над степью повис ястреб.

Качаясь почти на одном месте, веером распустив рулевые перья и чуть пошевеливая концами крыльев, ястреб внимательно осматривал полынные кустики под собою, трещины в земле, черные отверстия сусличьих норок, две до блеска выглаженные колесами колеи дороги, вдоль которой он сейчас неспешно летел. Он видел, как у норок серыми столбиками замерли суслики и, вывернув головы, хитро смотрели на него снизу вверх, уверенные в своей неуязвимости. И, встречаясь с кем-нибудь из них нечаянным взглядом, замечая в блестящей пуговке зверушечьего глаза мгновенно набухающий страх, ястреб презрительно и равнодушно отводил свои глаза. Он знал, что глупость сусликам не менее свойственна, чем мелочная хитрость, и рано или поздно кто-нибудь из них настолько уверует в себя, что станет дерзок и нахален,— и тогда погибнет.

Слева от дороги, порою совсем близко от нее тянулась заболоченная пойма с зелеными зарослями камыша, и там в оконце синей воды стояли рядом две темные цапли, одинаково вывернув головы на своих гибких шеях. Они спокойно смотрели на стервятника, враждебно, без страха. Это были крупные, сильные птицы, с острыми пиками клювов. Переглянувшись с ними, ястреб два раза сильно взмахнул крыльями и скользнул вперед, дальше.

Машина все еще находилась у моста, возле нее стоял человек, опустив руки вдоль тела, и смотрел в небо на парящую птицу. Ястреб сумрачно вгляделся в человечьи глаза и заметил в них то странное и непонятное, что особенно не переносил он в людях: стоящий человек улыбался. Ястреб круто развернулся и полетел прочь, снова вдоль дороги, чувствуя на себе сзади неприятный чужой взгляд.

«Мне приснилось, кажется, что-то хорошее. И этот ястреб будто из сна, продолжение его»,— думал Ивин, глядя вслед улетающей птице.

Ивин много суток просидел в тесной каморке гауптвахты, дожидаясь, когда решат его участь, так что за это время вполне успел проникнуться тем постоянным и тоскливым устремлением узника, которое он единственно ощущает как свободу. Подразделение, обеспечивающее охрану заключенных в небольшой колонии для особо опасных уголовников, находилось в глухой степи, выбраться оттуда было непросто, и пришлось Ивину много времени протомиться зря, без суда и следствия. За те дни и ночи, что провел он в темном чулане, отгороженном в конце казарменного коридора, Ивин приучился видеть мрачные тягостные сны, после которых явь кажется еще тягостнее, однако на этот раз во сне он увидел что-то широкое, яркое, несомненно связанное с желанной, чудесной свободой.

А приснилось Ивину (вернее, пригрезилось в полузабытьи, пока его подбрасывало и колотило о железное дно кузова), что едет он с двумя спутниками по степи, все они верхами на длинногривых лоснящихся огромных лошадях, и ветер подымает и лохматит эти гривы и гонит по травяной степи бегущие легкие волны. А над ними, беспечными и радостными всадниками, в недоступной вышине кругами ходят огромные орлы...

— Ну что, Ивин, жив? Не вытрясло душу? — услышал он знакомый тонкий уверенный голос. Ивин обернулся: лейтенант подходил, обойдя машину сзади.

— Все в порядке, товарищ старший лейтенант,— ответил с улыбкой Ивин.— Душа на месте. Матрац выручил.

— Ну, ну! Наслаждайся пока. Вот в полк приедем, там не будет у тебя матраца. Так что цени комфорт, Ивин! «Гляди-ка, черт длинный, он еще и улыбается! —

подумал лейтенант.— Будто на танцы его везу, а не в трибунал. Свихнулся, что ли? Вот бы хорошо! Комиссовали бы — и с плеч долой...»

Лейтенант пытливо и с затаенной жалостью вглядывался в лицо Ивина. Он любил этого высокого, с широким плоским телом, некрасивого солдата — второй год службы, призван из Москвы, всего на год моложе его самого. Бывший студент, книгочей и умница. Лейтенант многое прощал Ивину, смотрел сквозь пальцы на такие дела, за которые любому другому свернул бы голову: разрешал долгие философские «толковища» с заключенными, до чего Ивин был охоч. Послушать, как дискутирует его спокойный, умный солдат с каким-нибудь доморощенным мудрецом из колонии, было для лейтенанта большим удовольствием. Особенно он любил, когда Ивин повергал в прах противника, с добродушной усмешкой приводя мудреные цитаты из каких-нибудь великих авторитетов. И вот именно он, этот чертов Ивин, подкинул для роты самое тяжкое ЧП.

«А впрочем, ну его, пусть себе улыбается...» — лейтенант отвернулся от Ивина. Он подошел к шоферу, который, стоя на коленях возле колеса, пристраивался что-то там подкрутить.

— Что, Еськин, припухаем? — весело обратился лейтенант к солдату.

Бросив на землю ключ и стянув с головы и бросив рядом пилотку, тот начал пушить растопыренной пятерней свои пыльные кудри.

— Искупаться не мешало бы, товарищ старшлетенант,— обиженно затянул он, наклоняясь и сбивая пыль с висков.— Вон, канячья мука на башке.

— А это, пожалуй, идея, Еськин! — согласился лейтенант.— Ивин! — обернулся он.— А ты как, не против?

— Я?! — Ивин стоял перед ним, высокий, в гимнастерке без ремня, ибо считался арестованным, пожимал плечами и широко разводил руки, ладонями на зрителя. Некрасивое, изрытое лицо его было покрыто капельками пота.

— Тогда за мной! — скомандовал лейтенант.

Но, направившись было к реке, он вдруг остановился, пропустил мимо солдат, а сам бегом вернулся к машине. Он отцепил с пояса кобуру с «макаровым» и сунул в кабину машины, захлопнул дверцу и запер ключом. Быстро проделав это, он пошел вслед за солдатами.

Ивин шагал широко, с плавиой размашкою, гимиастерка без пояса моталась иа ием; рядом иеуклюже загребал сапогами пыль коротконогий крепыш Еськии. Лейтеиаит смотрел на Ивиия — и все в ием иравилось ему, даже то, как идет, как иебрежио, широким движением вытирает со лба пот рукавом гимнастерки, как, наклоия к Еськину свое грубое лицо, о чем-то говорит тому с доброй улыбкой, а потом, выпрямившись и далеко откииув корпус иазад, с шутливой важиостью кладет ему руку иа плечо...

Нет, не скажешь, что свихиулся, грустно думал лейтеиаит. Но тогда как оценнть его поступок? А объясиительиую записку? И лейтеиаит вспомнил слова самой нелепой объясиительной, какую только приходилось ему видеть за все время службы:

«В последиий момеит я ие мог совершить иужиых действий и открыть по совершающему побег заключеииому огоиь иа поражение. Это оказалось выше моих сил. И я должеи как честный человек зараиее предупредить командование, что и в дальиейшем не смогу совершать подобиых действий. Я отказываюсь иести ответствеииость за дело, в котором лично для меия является иевозможным его основиой момеит, связаниый с необходимостью распорядиться чужой жизиью...»

«Ах ты, интеллигент иесчастный! Отказываюсь...» — мыслеиио повторил лейтенаит, сердито уставясь на обросший затылок солдата.— Тебе покажут такое «отказываюсь», что позабудешь, как маму родиую зовут».

Кто, спрашивается, тянул его за язык? Молчал бы, как рыба, так иет же, сам полез в бутылку. И это перед кем? Перед майором Овсяиииковым. Что за дичь! Да стоит только взгляиуть на этого майора, иа эти его косматые седые брови, бешеио сжатые челюсти — душа в пятки уходит.

Бедиый Аиатолий Федорович! Лейтенаит усмехнулся, вспомнив поглупевшее лнцо, глаза, испугаиио округлнвшийся рот — весь ошарашеииый, предурацкий вид своего заместителя, когда Ивин в каицелярии сделал это страиное призиаиие перед майором Овсяиииковым, прнлетевшим из штаба для расследования ЧП...

Ивии стянул с себя гимнастерку и огляиулся иа лейтенанта — тот спускался по крутому берегу, легко перебирая легкими мальчншескнми ногами, затянутыми в пыльные сапогн. Полупрозрачиое пуховое облако светилось высоко над ним в небе. Глядя в темиобровое лицо своего командира, Ивин подумал: «Как страино мы ве-

дем себя. Понимает ли это лейтенант?» Оглянулся на Еськина — для того ничего странного, похоже, не было на свете. Присев на траву, он с ожесточением рвал с ноги сапог, глядя на него, как на врага.

«Трое мы подошли к реке,— подумал Ивин (лейтенант бросил на землю фуражку, снял ремень с портупеей, свернул его кольцом и положил на дно фуражки. Затем расстегнул ворот полевой гимнастерки и стал стягивать ее через голову),— мы и есть те три всадника, которых я видел во сне... Долго ехали по степи, солнце жгло, полынь хлестала по ногам, жаворонки звенели в небе, плавно кружились орлы. И вот река, сошли с коней, напоили их, а сами решили искупаться...»

Допустим, что все это наяву: и солнце, и кони, и долгая поездка верхами, рассуждал далее Ивин. Но откуда едут всадники, куда? Кто они такие под этим серебристо-голубым небом? И почему они все время втроем, почему не разъедутся по сторонам, каждый сам по себе? Что за незримая цепь? Нет, что это крепче железной цепи связывает всех троих? Ведь на самом же деле нет никакой железной цепи — один воздух, степной воздух кругом, горячий и упругий. И все же ни шагу друг от друга, их влечет в одном направлении одна и та же невидимая сила, всех вместе, и он, Ивин, среди них, и везут его туда, куда ему меньше всего хочется, и эти двое, что сопровождают его, вовсе не враги ему...

Лейтенант разбежался первым и нырнул, ловко подбросив тело в воздух и войдя в воду без лишнего всплеска. Бросился вслед за ним и Ивин, течением обоих стало уносить в сторону. Еськин, разматывавший портянку, вскоре перестал различать их в сплошном зеркальном блеске воды у поворота реки. Щурясь на солнце и бездумно улыбаясь, Еськин сидел на пыльной траве среди разбросанных сапог и прислушивался к голосам уплывающих. «Ивин! — звонко кричал лейтенант.— А ну наперегонки до обрыва!» «Даю фору,— отзывался голос Ивина,— на сорок метров». «Ну и наглец ты, Ивин!» — доносился голос лейтенанта, и чувствовалось, что дышит он глубоко, полной грудью.

Все еще с блуждающей улыбкой на безбровом красном лице, крутя головою в ответ на какие-то свои мысли, Еськин взял за концы черные сопревшие портянки и понес их к реке мыть. Слегка прополоскав портянки в воде, он немного потер их песком, затем выжал и растянул на траве, чтобы они высохли под солнцем и побелели. Закончив стирку, он выпрямился и

посмотрел вдаль, на поворот рекн, однако лейтенанта и Ивнна там не увндел, слышны были лишь громкие н веселые их крики.

А те в это время стояли наверху обрыва, в песчаной выемке, и, упираясь коленямн в травяную сухую бахрому, из-под которой сыпались струйкн песка, кричали вслед двум убегающим женщннам. То были цыганки. Лейтенант свистел, засунув в рот пальцы. Две нестарые цыганки улепетывали вдоль камышей, одна из них была совершенно нагая, прижимала к себе ворох одежды; стыдливо согнутое тело ее казалось очень белым на фоне темной зелени камышей. Голая снльно отстала от первой, которая была уже на дороге, поставнла сумку у ног н что-то визглнво крнчала подруге, размахивая вскинутой рукою. Добравшись до первой, вторая бросила себе под ноги одежду, выбрала нз кучи и надела сначала длинную юбку, затем розовую кофту. Одевшнсь, она тряхнула волосамн, повернулась назад н что-то закричала, показывая сжатый кулак. Первая закатывалась, согнувшнсь пополам, держась за жнвот.

— Чего, чего-о?! — крнкнул лейтенант, подбоченясь.

— Чири моего-о! — тотчас же, словно эхо, донеслось от цыганок. И та, что недавно бежала голой, вдруг повернулась к ним спиной н пошлепала по своему заду.

— Это видали! Ты ндн лучше сюда! Сюда — призывно кричал лейтенант.

Розовая цыганка в ярости бегала взад-вперед по дороге, круто нагибаясь н поднимая свон разбросанные вещн.

— Вот же чертовкн,— рассмеялся лейтенант,— и как это мы их упустили?!

— Надо было с берега подойти,— сожалел Ивнн,— как раз бы и накрыли.

— Так еслн бы знать, что онн тут! — сокрушался лейтенант.— А ты вндел, Ивин, как та, вторая, купалась? — спросил он н, не дождавшись ответа, тонко рассмеялся, запрокидывая голову.

А вторая купалась прямо в одежде, ходила по воде, собрав в кулак подол юбки. И когда лейтенант с Ивиным выплыли нз-за поворота, не сразу заметнла их. Видимо, она была поставлена сторожнть, пока другая, голая, ползая недалеко от берега, колотила по воде ногами. Заметив плывущнх, они завизжалн н полезли на высокнй берег, словно ящерицы... А теперь цыганкн уходнли по дороге, шагая медленно н как-то скорбно,

одна позади другой; глядя на маленькие, согнутые их фигурки, Ивин почувствовал, что веселого в том, что только что произошло, было мало. Можно, конечно, громко смеяться, хлопая руками по коленям, сгибаться пополам от смеха,— но вдруг словно невидимый нож сверкнет над головою, и замрет сердце, и уже нет беззаботного веселья... Чему, чему же радоваться и этим цыганкам, если позади у иих бесконечный бродяжий путь, а впереди какие-то ночевки под телегой и приготовление еды где-нибудь за вокзалом, на костре из щепок. И у него, Ивина, что за веселье? Ведь еще сегодня утром он лежал, раскинув руки, на полу в чулане гауптвахты и тупо смотрел в потолок, где мелькали какие-то бесшумные длинные тени...

А лейтенант смеялся.

Оин стояли спиною к реке, на обрыве. Далеко под их ногами переливалась, вспыхивала белым огнем, перемещалась куда-то река, унося самое себя вдаль, к камышам, закругляясь на повороте в полосу неимоверной синевы. За камышовымн зарослями река терялась, н лишь в отдаленни, среди тусклых полыниых бугров, сверкала еще одна полоска синевы. Большая цапля летела над камышами, как бы в ленивой задумчивости осторожно пробуя горячий воздух концамн широко раскиеутых крыльев.

— Это еще ничего,— сказал лейтенант, поворачиваясь к реке и садясь на плоскнй верх обрыва. Из-под сухой дернины заструился песок.— Что там цыганки! Раз я, а я тогда был еще курсантом, купался с тремя девушками ночью, под луной, и все были в чем мать роднла. Дело было на Волге-матушке!

— Представляю себе, товарищ старший лейтенант,— отозвался Ивин.— А вы помннте, как Зина-свинарка от удава сбежала?

— От удава? — обериулся лейтеиаит.— Нет, не знаю...

— Ну, такая историяl — И наперекор подступавшей глухой тревоге Ивин решил рассказывать веселую историю о том, как ярким днем свинарка Зииа пронеслась галопом через весь хутор, прикрываясь лишь скрещениыми на груди руками.

Дело происходило в самое летнее пекло, свиньям был уже роздан корм, до следующей кормежкн оставалось немного свободного времеии, и, воспользовавшись этим, Зиия решила искупаться на канале...

Ивни соображал, как бы посмешнее рассказать эту

действительно смешную историю, он уселся рядом с маленьким лейтенантом на травяной карниз обрыва и свесил длинные ноги. Но тут, посмотрев вокруг, он как бы очнулся и с какою-то неумолимой отчетливостью увидел вдали железный мост, над которым струился горячий воздух, и тень от моста на воде, и машину с тускло сверкающим закрытым кузовом, и возле машины стоял Еськин в больших солдатских трусах, смотрел в их сторону, приставив ко лбу сразу обе ладони. И как будто обрушилось что-то внутри Ивина, на сердце тяжело легла тоска всех его последних дней. Понятно стало, что бесконечно фальшиво и нелепо то настроение, в которое он впал, и невозможно стало рассказывать какой-то глупый хуторской анекдот.

Когда-то он мог смеяться над смешным, наслаждаться купанием в реке, курить, ощущать во рту вкус пищи и делать все, что полагается, а теперь все это потеряло для него свою изначальную естественность, и даже обыкновенное курение казалось ненужным и бессмысленным...

— Так что же Зина? — напомнил лейтенант. Он поглаживал свою неширокую выпуклую грудь, заросшую черными негустыми волосами.

— Зина вычитала в газете, что из ростовского зоопарка сбежал удав,— с трудом начал рассказывать Ивин и вздохнул.— Так вот... В тот день на канале Зина снимает платье, снимает лифчик и лезет в воду. И вдруг, товарищ старший лейтенант, под самым носом у нее высовывается из воды удав.

Упираясь обеими руками в колючий травяной край обрыва, Ивин сидел, уныло опустив голову, болтая ногами. Струйки песка, выбегавшие из-под них, шевелились уже где-то далеко внизу, добравшись почти до воды. И перед Ивиным возник (и так же будет возникать вновь и вновь, может быть, всю остальную жизнь) бегущий человек и обернутое назад лицо его, искаженное жалким, б л е д н ы м страхом. Именно это слово было точнее всего, точнее, чем «жалкий», «трепетный»...

— И вот Зина, значит,— продолжал Ивин,— собралась хлопнуться в обморок, она девушка нежная, хотя и весит девяносто килограммов. Только сообразила: кто же выручит, если удав начнет глотать ее? Одним словом, выпрыгнула она из воды, взяла в каждую руку по груди и рванула мимо своей одежды по направлению к хутору.

— А удав?

— Удав нн слова, товарнщ старший лейтенант. Только вертнт башкой туда и сюда. А Знна, значит, по задам, по огородам — и к себе во двор. Хватает с веревкн свое парадное платье, надевает его задом наперед и бежнт к нам, в казарму. А я как раз был дневальным. Смотрю: Зина летнт, волосы мокрые, глаза на лоб. «Ой, мальчикн, возьмнте автомат и застрелите мие удава на канале». А тут подскочнл Тедешвнлн: «Ты че-во, Зына! Пьяная?» «Не балуйтеся, ребята! — крнчит Зина.— Ой, да, ей-богу, правда!» И тут, товарнщ старшнй лейтенант, кто-то вспомнил, что тоже читал объявление в газете иасчет удава.

Ивин умолк. Нет, уж еслн весело тебе, то и смеешься, а еслн больно, крнчишь. Это, наверное очень сладко, когда можно раскрыть рот пошнре и, не стыдясь уже ннчего, заорать что есть мочн от болн.

Маленький лейтенант, ожидавший продолжения исторнн, обернулся к Ивану н внимательно посмотрел на него, собрав лоб аккуратиымн морщннамн. Он давно уловнл в голосе солдата тягостную нотку принуждення н следнл про себя, как она с каждым словом усилнвается, сообщая рассказу какую-то вовсе не веселую н неловкую напряженнось.

— Пришли мы к дежурному,— рассказывал далее Ивии.— Васильев в тот раз был. Попроснлн пистолет. Нет, не дал. Пошлн мы в зону. На вахте как раз Давлетов был...

Ивнн говорил, как бы заставляя себя двнгаться во сне, когда ногн и рукн еле шевелятся. И, как это бывает в таком же сне, ему вскоре стало легче.

И уже с какою-то странной грустью продолжал Ивнн рассказ, н ярко возникалн перед инм беззвучные двнжущнеся картнны, словно в немом кино. И представлялся ему растолстевшнй сверхсрочннк Давлетов, которого солдаты тащнлн бегом под рукн, толкали в спину, нбо он не пожелал отдать заряженный пистолет и решнл сам стрелять в чудовнще. И вот ои кряхтел, давился удушьем, шнроко разннутым ртом ловнл воздух... Вндел Ивин белую снтцевую толпу хуторянок на высоком глнняном берегу канала — прибежав вместе с Зннoй, онн суетилнсь, металнсь на фоне чистого голубого неба, указывалн рукамн все в одну сторону. Совершенно отчетлнво представлял Ивнн лоснящееся брнтое лицо Давлетова, испуганное и толстощекое, с открытым ртом, и то, как стрелял он из пнстолета, прижмурнвая однн глаз и кло-

ня голову к плечу, и то, как подскакивали фонтанчики брызг в том месте, куда шлепались пули...

— Сапог, товарищ старший лейтенант! — торжественно завершил рассказ Ивин.— Оказался обыкновенный старый сапог.

Этот сапог всплыл со дна, когда дородная Зина сиганула с берега в канал. Издали сапог и на самом деле был похож на огромную змеиную голову, и к тому еще отвалилась подметка и задралась вместе с гвоздями, так что натурально вышла разинутая зубастая змеиная пасть. А возле противоположного берега торчала из воды черная полузатонувшая палка, и то было похоже на кончик змеиного хвоста. Тело же чудища, скрытое под водой, дорисовало воображение зрителей.

— И что, этот Давлетов, идиот, так ни разу и не попал? — холодно произнес лейтенант.— Мазал на глазах у всего хутора, болван?

— Кто его знает, товарищ старший лейтенант, может быть, разок и попал.

— Не слыхал я! Нужно было ухо ему прочистить за бесцельную стрельбу,— пожалел лейтенант.— И не доложили мне!

— А чего докладывать, похвалиться нечем,— пожал плечами Ивин.— Спектакль бесплатный устроили. Я сам стрелял, забрал у Давлетова пистолет и подскочил к самой воде, как герой.

— Вот вас обоих и стоило наказать!

— Да и так опозорились, товарищ старший лейтенант. Хорошо еще, что бабы забыли про нас, стали обсуждать, как Зина прыгнула через забор Романовны и тут за нею собака погналась.

— Ах ты, черт! — оживился лейтенант.— Цапнула, наверное, за окорок.

— Нет, Зина ее пинком перепасовала через сарай.

— Ну, Ивин, скажу тебе, дешево отделалась Зина!

Лейтенант засмеялся, по своему обыкновению запрокидывая голову. Ивин улыбнулся, глядя на него сбоку. Вдали, за головою лейтенанта, медленно летел вдоль степного ровного горизонта самолет-кукурузник. Еле слышно доносился клекот его мотора.

— Постой, Ивин,— заинтересовался лейтенант,— а когда же это было?

— Сейчас скажу...— Ивин задумался, уставясь себе в колени. Потом кивнул: все было д о э т о г о... Значит...— В начале июля, товарищ старший лейтенант.

— Тогда ясно, почему я не знаю.— Лейтенант сдвинул пяткой большой ком глины и стал следить, как, подскакивая и разваливаясь на куски, глина катится по крутизне вниз. Большой кусок подпрыгнул на бугорке и, словно с трамплина, звучно шлепнулся в воду.— Я был тогда в городе.

И он вспомнил, по какому случаю в июле самовольно, без вызова явился в полк: он подал рапорт об увольнении в запас. Ему отказали, командир полка был груб с ним. Выйдя из части, он плакал злыми слезами, брел каким-то узким, потонувшим в зелени переулком... А потом до поздней ночи гулял по городу, ломился в закрытый уже ресторан.

Лейтенант любил город. Вид нарядной толпы, музыка в парке вечером, нечаянные знакомства с женщинами, огни театральных подъездов, шум больших магазинов — все это было по душе ему, было родной стихией, без которой он не мыслил себе жизни. Он стал военным потому, что почти все в его роду были военными, не захотелось и ему изменять традиции. Но никогда он не ожидал, что его, с отличием закончившего училище молодого офицера, засунут на многие годы куда-то в степной хутор, оторвут от города.

Молодость его обречена была пройти в глухой степи, среди пыли, зноя и страшной степной скуки. Он ощущал бесконечное унижение, когда осенними холодными вечерами, пробираясь от казармы к своему дому, вынужден был вязнуть в чмокающей глине, раскачиваться на грязной дороге, словно пьяный, и выдирать из трясины ноги; а дома, прежде чем войти в свою холостяцкую квартиру, щеточкой счищать с сапог грязь, согнувшись в три погибели на крыльце, потом битый час мыть эти сапоги в бочке с водой, протирать тряпкой и ставить сушить, чтобы назавтра утром вскочить чуть свет и первым делом опять же заняться проклятыми сапогами,— ведь не появишься перед солдатами в нечищеной обуви.

Затерянный в глубине степи пыльный хутор одним своим видом вызывал в нем раздражение, он презирал все эти кривые заборы, чахлые сады, облупленные хатки с глухими окошечками, мазаные сараи с торчащей на крыше соломой. Нет, он всего этого не понимал и понимать не хотел, ему бы раз и навсегда избавиться от всех этих индюков, гусей, облезлых собак, от бесконечной этой глины, которой, кажется, была перемазана сама основа хуторской жизни. Но избавиться от этого нелюби-

мого мира ему не удавалось. Подразделение, которым он командовал, всегда было и будет связано с угрюмым частоколом и четырьмя вышками колонии, а он останется, наверное, вечным командиром этих солдат.

И лейтенант представлял штабных офицеров полка, идущих на службу в чистых мундирах, с достоинством козыряющих друг другу на плацу. Искоса бросит подобный штабник взгляд на какую-нибудь покрытую пылью машину из периферии, стоящую возле штаба, на которую старшина с потрепанным солдатиком грузят тюки с обмундированием, ящики с патронами и добытый по случаю новый бак для питьевой воды. А где-нибудь по штабу бегает из кабинета в кабинет загорелый, пропотевший насквозь офицерик в полевой форме, подписывает бумаги, заискивает перед чистенькими писарями. Столкнется с ним в дверях штабник, надует свои гладко выбритые щеки — и вдруг узнает: «Ба! Кого я вижу! Ну как дела? Как служба?»

— Товарищ старший лейтенант, вон Еськин что-то машет,— сообщил Ивин, поднимаясь на ноги.

— Ну-ка крикни ему, чтобы сюда шел,— попросил лейтенант. «Куда нам спешить? — сердито рассуждал он про себя.— Приедем все равно к вечеру, никого уже в штабе не будет, разбегутся к своим мамочкам. И тогда ждать до утра. Нет уж, мы лучше вечером поедем, не в такую жару. Все равно ночевать».

Явился на зов Еськин. Он был одет в штаны, но босиком.

— Слушай приказ, рядовой Еськин,— сказал ему лейтенант.— Сейчас заводи мотор, разворачивайся и лети назад до первого населенного пункта. Там купишь поесть. Деньги возьми, кошелек в гимнастерке, в левом кармане.

— А когда же ехать, товарищ старшлетенант? — заупрямился Еськин.— Опять ночью? А кто же спать будет за меня?

— Разговорчики! Выполнять приказ, ясно? — с шутливой угрозой выкрикнул лейтенант (однако Еськин знал, что он шутя-шутя и трое суток залепит).— Возьмешь хлеба, колбасы и побольше помидорчиков.

— Есть! Разрешите выполнять? — повеселел Еськин, очень любивший колбасу.

— Дуй, Еськин.

— А будет что покрепче — взять? — и повернувший-

ся было Еськнн застрял на месте, раскорячив толстые иогн, обернув иазад красиое безбровое лицо.

— Я тебе покажу «что покрепче»! — весело пригрознл лейтенант.

А Еськнн, довольиый своей шуткой, рассмеялся, лягиул босой ногой траву н пошел, глубоко засуиув одну руку в карман штаиов, а другую сжав в кулак и бодро ею размахивая.

— Смотрн оружне не потеряй! — крнкнул вслед лейтенант.— Запнрай машнну!

С мускулнстымн аккуратнымн ногамн, узкобедрый и легкий, лейтенант теперь, без формы, в одних лншь зеленых купальных трусах, казался иекрупиым подростком. А когда ои бегал у себя в частн по футбольному полю и после нгры сндел средн потных грязных солдат, на крик обсуждая прошедшую встречу, то выглядел моложе своих подчииенных, многне нз которых иоснлн виушнтельного внда усы (кавказцы, напрнмер). До смешного тщеславный в нгре, он сам себя назначил капитаном футбольиой команды н творил в ией суд и расправу.

И сейчас иа берегу реки, голый, с мокрымн волосамн, он казался Ивниу просто краснвым малым, который иаслаждается солнцем, отвесно бьющнм сверху, и иикакого «старшего лейтенанта». Ивину захотелось даже схватить его за руку н стащнть к воде.

Тем временем Еськнн завел машниу, бойко развернулся, въехал на камнн — чешуйчатый панцирь мощеного участка дорогн — н покатил прочь от моста. Он ехал вдоль камышей, леинво клоинвших пушнстые кистн махалок. Вокруг мчавшейся машнны степь знакомо, плавно разворачивала свон далн, н Еськнн выжнмал полную скорость, поддавая газку н, как и всегда, радуясь быстрой езде.

А ястребу, затерявшемуся черной точкой в голубом небе, степь казалась иеподвижиым плоскнм дном мира, на самую вершнну которого ои сейчас взобрался, и иа этом округлом громадном дие кое-где медленно передвнгались мелкне земные предметы. Ои вндел ползущую машину, навстречу ей по светлой змейке дорогн ползла другая машнна, а далеко в стороне от иих еле заметно перемещалась третья страниая машниа, словио окутанная белым облаком,— то орошал поле искусственным дождем усердиый механнческнй поливальщнк.

Когда машнна, тащнвшая за собой огромиый хвост пыли, отъехала от моста, ястреб решнл перелететь за снною широкую черту рекн, потому что охота на этом бе-

регу была испорчена. Но тут, вздумав, видимо, воспользоваться пыльным облаком, от норки к дороге и стремглав через нее понесся суслик, устремляясь к воде. И ястреб, тесно прижав к бокам крылья и прямо установив хвост, стрелою пошел вниз. Суслик, так и не добежав до воды, метнулся назад, вновь к дороге и через нее по направлению к норке, однако было уже поздно. И чувствуя, что пропал, погиб, суслик отчаянно запищал, опрокинулся на спину и замер с оскаленной пастью. Мгновение спустя все было кончено для него, он вздрагивал всем тельцем, еще живой, и кусал грубую лапу птицы, сдавившую его со страшной силой.

Тяжело, сильно маша крыльями, задевая концами их землю, отчего взметывалась по обеим его сторонам степная пыль, ястреб низко полетел сначала вдоль дороги, затем свернул в сторону, к воде, и вскоре опустился на большой плоский камень у берега. Вяло разбросав крылья, зажав в когтях добычу, он сидел, не глядя на нее, и раздумывал, не грозит ли ему опасность с той стороны, где недавно находилась машина. И решив, что людям не до него, он спокойно принялся разрывать и глотать пищу.

Сожрав добычу, ястреб спрыгнул с камня и зашагал к воде, высоко подняв над плечами крылья. Ступив неглубоко в воду и стараясь не замочить своих лохматых штанов, он осторожно напился и затем прыжками, чуть боком выбрался на берег и поскакал обратно к камню. Брезгливо отвернувшись от разнятых костей зверька, он долго просидел на камне, полуприкрыв неподвижные хмурые глаза... И вдруг, словно бы вспомнив что-то очень важное, встрепенулся, вскинул плоскую голову с каменным кривым клювом, оглянулся и, сорвавшись с места, низко полетел над землею. И вот уже, отлетев далеко от моста, начал круто забирать вверх и вскоре лег на восходящий воздушный поток. Установив косо к горизонту широко расправленные крылья, он стал наворачивать спирали, поднимаясь все выше и выше в небо.

Ивин и лейтенант шли берегом к мосту, мокрые головы у обоих просохли, и солнце припекало их, обжигало давно перегревшиеся голые плечи. Лейтенант залюбовался далеким белым облаком, очертаниями напоминавшим огромную рыбу, и вдруг увидел, что на ослепительно белом боку облака закружилась темная точка — блуждающий в поднебесье ястреб. Лейтенант обернулся

к Ивину, желая сказать ему что-нибудь веселое или просто дружелюбное, но, взглянув на лицо солдата, вздохнул только и ничего не сказал. И снова подумал о невеселом деле, с которым ехал в полк. Лейтенант знал, что ожидает Ивина, знал и то, какие неприятности ждут его самого.

Ивин же, шагая позади лейтенанта, томился от зноя и нехотя думал о том, что все люди равны... равны, конечно, но почему этот мальчик имеет такую власть над ним? Ивин уныло смотрел на треугольную спину лейтенанта, на которой вспухали и исчезали мускулы, и пытался постичь, почему этого стройного мальчишку он должен называть «товарищ старший лейтенант». Но мысли Ивина текли лениво, в голове стоял какой-то невнятный гул, мгновеньями томительно хотелось совсем исчезнуть, раствориться в ярой бездумной солнечной стихии, и он покорно брел вслед за лейтенантом, которому вдруг захотелось пройти вверх по реке и опять проплыть по течению до глиняных обрывов.

— Ладно, давай начистоту,— сказал лейтенант, когда они снова вылезли из воды, взобрались на высокий берег и улеглись рядышком на чахлой траве, из которой стали выпрыгивать крохотные резвые кузнечики.— Ты ведь знаешь, куда я тебя везу.

— Догадываюсь,— ответил Ивин. Кузнечики выскакивали из травы и тут же исчезали с глаз, будто мгновенно растворялись в воздухе. Какое-то шипение слышал Ивин вблизи себя, но никак не мог понять: что, откуда?

— Чего там догадываться, везу тебя в трибунал.— Лейтенант прихлопнул сложенной ковшиком ладонью траву, пытаясь поймать кузнечика.

Ивин молчал, он смотрел на странную плывущую массу далекого кургана в степи — голубой курган тонул в мареве. Можно было различить, как воздух, словно прозрачное расплавленное вещество, волнисто струится вдоль горизонта.

— Только одного не пойму, черт бы тебя побрал, зачем писать такую объяснительную? — продолжал лейтенант.— Это же документ, Ивин. Ну, можно понять, что струсил, такое бывает. Ну, растерялся, назовем это так. Тебе хотелось оправдаться, и ты пишешь эту липу. Верно?

— Не совсем, товарищ старший лейтенант.

— Хорошо, согласен.— Лейтенант прилег на бок, обернувшись лицом к Ивину. Кожа на гладком животе

лейтенанта от травы затлела багровыми вдавленными узорами.— Пусть не так. А как тогда? Ну? Объясни мне... Ты мужик умный, ты должен понимать, что хрен редьки не слаще. Неужели тебе не ясно, что то, что ты нацарапал, никуда не годится? Что это только лишний раз подтверждает твою трусость. Или не понимаешь?

Ивин не отвечал. Шипение раздавалось совсем рядом, у самого лица. И тут, скосив глаза, Ивин заметил обрывок сухой былинки — о него ударялся набегающий порою ветер, о него и о другие такие же сухие былинки, рождая это легкое и нежное шипение, тихое дыхание степи.

— А дальше что ты насочинял? «Я не могу, я не буду!..» Форменная истерика! Что это, Ивин? Для чего? Можешь ты мне растолковать? Или у тебя имеются другие причины? — Лейтенант пытливо уставился в лицо солдата. «Может быть, ты и в самом деле баптист, как о тебе говорят некоторые?» — хотелось сказать ему.

— Зачем вам нужно знать? — тихо произнес Ивин.— Ну, виноват я, ну судите теперь.

— Как это «зачем»? Вот тебе и раз! — растерялся от обиды лейтенант.— Нет, ты все же объясни мне, сделай одолжение.

Что еще мог он сказать Ивину? Что тот всегда нравился ему, вызывал невольное уважение? Что он брал в библиотеке колонии те же книги, что читал Ивин? Или же о том, что всегда — с самого детства — хотелось ему такого вот друга: вдумчивого, умного, начитанного...

И всплыло из памяти вялое, бледное лицо мальчика, вечно страдавшего каким-то злостным насморком,— это к нему в гости, в его большую, беспорядочно заваленную вещами и книгами квартиру ходил с волнением будущий лейтенант, это им, малокровным другом, восхищался он беспредельно, всегда поражаясь тому, как много тот знал и помнил, и читал. Но однажды, идя после школы, они из-за чего-то поссорились, и он поколотил своего друга-вундеркинда. Тот не плакал, правда, но так жалко извивался на земле, придавленный его коленями, и с таким испуганным видом, каждый раз закрывая глаза, принимал тумаки, что он с презрением выпустил его из-под себя. На этом дружба их кончилась...

— Объяснять мне почти что нечего, товарищ старший лейтенант,— сказал Ивин, и голубые глаза его спокойно, мягко вобрали взгляд лейтенанта.— Все, что написано в объяснительной записке,— правда.

— Ну хорошо, черт с тобой, пусть будет правда, са-

мая святая правда,— не веря согласился лейтенант.— Но скажи мне, Ивин, голубчик, почему ты не придумал другой правды?

Лейтенант допускал, что такой человек, как Ивин, мог растеряться в решительную минуту и даже больше — именно такой и должен растеряться, упустить нужный момент... И он заранее готов был простить ему это, как теперь, с запоздалой виноватой грустью, прощал слабость и страх того давнего друга-вундеркинда, избить которого оказалось так постыдно легко.

Но почему Ивин, умница Ивин, так упрямо лез на рожон? Ведь сомнительные признания его никому не нужны. Всем да и ему самому будет лучше, если окажется, что случай обыкновенный: уснул на посту, зазевался или, скажем, держал автомат незаряженным. Все могло еще сойти более или менее благополучно, и лично он, командир, мог бы этому посодействовать и вполне возможно, что отделался бы Ивин дисциплинарным наказанием. Солдатом Ивин был всегда хорошим, послужной список его до этого случая оставался в лучшем виде: сплошные благодарности и поощрения...

— А зачем мне выдумывать другую правду. И эта хороша,— спокойно ответил Ивин.

— Ну ясно, тебе просто за решетку захотелось,— насмешливо произнес лейтенант.

— Не очень-то, признаться. Только судить-то меня за что? — И тут Ивин улыбнулся.

— Вот как? — Лейтенант привстал на одно колено, потом снова медленно опустился на траву.— Ты дал бежать заключенному бандиту — раз. Ты потом признался, что не мог открыть по нему огонь. Два. А дальше ты заявляешь, что так же будешь поступать и впредь. Три! И что же? Тебя за это должны по головке погладить? Ну и наглец же ты, голубчик Ивин.

«Смешно! — внезапно догадался Ивин.— Меня жалеют! Сам лейтенант меня жалеет! Он хочет мне добра. Но дело в том, голубчик старший лейтенант, что если я скрою настоящую причину, то потеряет смысл все совершенное, а я и на самом деле буду выглядеть просто мелким трусом...»

— Вот представьте себе, товарищ старший лейтенант.— Ивин спокойно растянулся на траве, положил подбородок на сжатый кулак.— Вы стоите на вышке. Вдруг видите: через запретку кто-то бежит. Вы кричите: «Стой, стрелять буду!» Он лезет напролом. Тогда вы навскидку автомат — целитесь... И вдруг чувствуете,

что не можете. Не можете стрелять... Попытайтесь понять такое, товарищ старший лейтенант.

И тут Ивин быстро привскочил и сел напротив лейтенанта, лицом к лицу с ним.

— Ну и что? — ответил лейтенант.— Что тут понимать? Все ясно.

Говоря это, лейтенант с удивлением замечал, как торжествующая радость вспыхнула и все ярче разгоралась в глазах Ивина, даже покраснело грубое большое лицо его, и Ивин словно с детской чистотою смутился, стесняясь этой радости.

— Тут и понимать нечего,— повторил лейтенант, однако не очень уверенно.

— Нет, вы не понимаете,— тихо сказал Ивин, потупляя голову, проводя пальцем какие-то линии на земле.— Ведь я мог убить человека. Я бы это сделал, оставалось только нажать на спуск... А я не нажал.— И он поднял глаза, и они были широко открыты.

— Как бы вам яснее... точнее, уж и не знаю...— будто про себя, прислушиваясь к чему-то, говорил Ивин, глядя прямо в глаза лейтенанту (и тот, не отрываясь, смотрел в глаза солдату и видел перед собою словно два сияющих прозрачных сосуда загадочной мысли и большого непонятного чужого чувства).— Значит, во мне что-то есть, что-то оказалось такое... а я и не знал раньше.

Сердце Ивина ровно и сильно застучало. Вот-вот! Это именно то, о чем надо говорить!

— Я не смог убить человека! И это самое главное, что есть во мне. Самое главное. Не могу я... Как будто впервые узнал самого себя,— закончил со сдержанным торжеством Ивин.

И он снова, позабыв на минуту обо всем остальном, пережил то мгновение, когда стоял на вышке, привалясь плечом к столбику навеса, и медленно, очень медленно опускал автомат. Через виноградную плантацию, пригибаясь и прячась за зелеными лозами, бежал к спасительной стене лесопосадки человек в темной одежде, без шапки, с круглой остриженной головой. Он был хорошо виден: в просветах между лозами мелькала его согнутая спина. И вслед ему, только на него одного смотрел Ивин в то затянувшееся до бесконечности мгновение...

Потом, когда тот нырнул в темную зелень акаций, перед тем в последний раз обернув назад бледное пятно лица, Ивин защелкнул предохранитель, поднял ствол кверху и сделал предупредительный выстрел в воздух.

Выстрел прогремел оглушительно, в ушах отдался резким звоном, и наступила удивительная тишина. И в этой тишине, на ярком свету дня, когда уже бежал к нему предупрежденный выстрелом конвой, в эту минуту словно сама душа Ивина произнесла внятным голосом: «Этого я не могу... Значит, не могу».

И после этого Ивину стало спокойно.

С этим чувством глубинного спокойствия жил Ивин все последующие нелегкие дни, не спеша высказать себя перед посторонними, вновь и вновь проверяя это чувство в себе, как бы желая убедиться в его истинности и силе. С этим чувством он пошел на гауптвахту, отвечал на допросах, писал объяснительную записку.

Лейтенант после слов Ивина долго молчал, охваченный предощущением какой-то большой и, казалось, бесспорной правоты другого человека. Долгую, наполненную душным зноем минуту он созерцал, не понимая, мелькнувший чужой мир со всеми разумными и красивыми связями его частей. Подобное он ощущал, ныряя глубоко под воду и там раскрывая глаза: сверху сквозь серебристый потолок льется дневной свет, надвигается красивый и странный подводный мир, но там нельзя дышать и хочется скорей, скорей назад, к привычной голубизне воздуха...

Лейтенант усилием воли согнал с себя наваждение. (Какой бред! Да нормальный ли этот Ивин в самом деле?!). Он вскочил на ноги и прошелся перед сидящим на земле Ивиным, готовясь обрушить на его потупленную голову яростные, ниспровергающие аргументы. И вместе с лейтенантом металась по земле его тень, словно тощий безмолвный бесенок, передразнивающий человека... А вокруг них широкая степь сохла под нещадным солнцем и все никак не могла высохнуть, потому что в эту горячую землю вцепилась жизнь. И если она уступала себя мертвящему солнечному огню, то помаленьку, разумно: через живой рост травы и сладкое созревание ее, испаряясь сквозь тончайшие трубочки стеблей и сквозь невидимые оконца-отдушины в зеленых листьях. И когда солнцу удавалось, наконец, засушить какую-нибудь былинку, оказывалось, что она уже созрела и в ее мертвом черепе-погремушке сидят, притаившись, крохотные семена, бесчисленные десантники будущей жизни.

А по дороге бежали гудящие мотором, грохочущие разболтанным кузовом замученные рабочие грузовики,

и пыльный вихрь, бегущий следом за ними, пах яблоками, сливами, коровьим навозом, потому что в эту пору везли к городам созревшие фрукты и готовый к убою скот. И, глядя на эти проезжающие машины, лейтенант с особым удовлетворением и уверенностью в себе ощущал с в о ю правоту.

— А ведь ты, Ивин, толстовец!— воскликнул он наконец.— Или на самом деле баптист, как говорят о тебе. Ну, не ожидал я от тебя, голубчик.

Ивин усмехнулся и не ответил. Он сидел, обхватив колено согнутой ноги, другую вытянув перед собою, и печально, задумчиво рассматривал на этой ноге пальцы, которыми шевелил. Лейтенант стоял перед ним, положив на пояс руку, сверху вниз глядя на него. Лейтенанта раздражало это шевеление пальцами на ноге, раздражала и непонятная усмешка Ивина. Он с досадой отвел взгляд в сторону и тут увидел, как на другом берегу реки, в стороне от железного моста остановился мотоциклист. «Что он? Умыться, попить?» — стал гадать про себя лейтенант, и в то же время он быстро соображал, как бы неотразимее выстроить свои доводы и поставить на место этого самоуверенного студента. «Главное, не лезть в бутылку,— осторожно мелькнуло в голове,— а то ведь он начитан, собьет...»

— Мы вот сидим и философствуем, а кто-то пашет, кто-то должен работать, чтобы мы могли сидеть сейчас и философствовать,—начал лейтенант, глядя на Ивина сверху вниз.—Мы солдаты. Скажи, кому мы служим? Нам дали оружие, чтобы мы защищали тех, кто кормит нас,—так давай защищать! Ты же, Ивин, солдат, понимаешь?..

— Товарищ старший лейтенант, все это мне известно,— тихо ответил Ивин.— Я понимаю и не спорю.

— Понимаешь? Нет, не понимаешь! — крикнул лейтенант. Он начинал сердиться на себя, потому что, несмотря на всю очевидность его правоты, слова звучали почему-то слишком бесчувственно.— Ты вот распелся: ах, я пожалел человека. А ты знаешь, что за человек Мишка-фиксатый, которого ты пожалел? Что он сидит уже по третьей судимости? Ты знаешь, что первый срок он получил за м о к р о е дело? Вот кого ты выпустил на волю, Ивин. Убийцу.

Мотоциклист между тем разулся, закатал штаны до колен и вошел в воду. Это был загорелый поджарый мужик в клетчатой синей распашонке-ковбойке, кепка на

голове козырьком назад, иа лбу очки... Он достал нз кармана штаиов что-то красиое, круглое, иебрежно ополоснул в воде и подиес ко рту. Яблоко. Откусив от него раза два-три, забросил далеко в реку, прнгнулся и стал плескать себе иа лнцо. Покачиваясь иа воде, красное пятнышко яблока двииулось винз по течеиию. Лейтенаит угрюмо следнл, как оио плывет. Он думал: иет, не то, не так надо, хотя я прав на все сто процентов. Мнр разделен на два непрнмнрнмых начала, и, если война, если враг пойдет на иас, иеужели ты и врага пожалеешь? — вот как иадо... Хотя иет, опять похоже иа полнтбеседу.

Лейтенант понимал, что между инми сейчас скорее спор сердца, нежелн спор разума, н что Ивин подчииен не рассудочному убеждению, а какому-то большому ослепляющему ложному чувству. И доказать это было непросто. Однако лейтенант ощущал в себе, хотя н иикак ие мог определить н выразнть, и свое чувство, свою правоту сердца. Хмуро смотрел он на мотоциклиста, на жилнстые икры и тонкие щнколотки его — тот вышел теперь, стряхнвая с рук воду, иа берег и утирал лнцо подолом рубахи, под которой мелькало незагорелое белое тело. Этот малый так напомннал всех тех хуторскнх мужнчков, которые собирались на крыльце магазииа, сидели рядышком, надвииув кепкн иа глаза, и молча провожалн его взглядом, когда ои проходил мимо к казарме илн обратно... Лейтеиаиту почему-то казалось, что смотрят онн насмешливо, готовы задирать его, и он тогда напрягался весь н готов был задирать их сам...

— Я ведь не его пожалел,— услышал ои голос Ивнна.— Я пожалел скорее себя.

— Как это? Ну-ка повтори,— живо обериулся он к Ивнну.

— Если снитать, что тут жалость примешалась, то пожалел я, товарищ старший лейтеиант, выходит, себя, а не Мишку-фиксатого... Мне двадцать два года, я даже никогда еще ни с кем ие дрался как следует. У меня в Москве мама в бнблнотеке работает, я у нее один... Всю жизнь, я помню, сндел у нее где-нибудь сзадн и в кннгах копался. А тут бы я человека прнстрелил. Илн хотя бы ранил. Как бы я мог потом... всю остальную жизиь?

— Слушай, Ивии, голубчик, а где ты учнлся? — почти весело спросил лейтенант.

— В нсторико-архивиом. Вы же знаете...

— Так, ясно,— перебнл лейтеиаит Ивииа.— Я забыл. Я подумал, что в иистнтуте благородиых девиц.

Черт возьми, здорово это у тебя получается. Ну просто здорово. Ты выдал себя.— И он уже не с наигранным, а с настоящим презрением смотрел на Ивина.

Лейтенант понял и определил для себя то свое *чувство*, которое было его подлинной правотой и которым он мог ответить на чувство Ивина. И как бы в подтверждение этого мотоциклист за рекою быстро, с одного рывка завел свою машину и лихо укатил.

— Ты вполне грамотный человек, Ивин, и разъяснять тебе, что к чему, действительно не стоит,— спокойно продолжал лейтенант.— Но ты человек гуманный и стрелять в другого ты не можешь. Вы все делайте, что хотите, а я не могу, меня совесть потом замучит. Так, Ивин?

— Нет, не совсем...— Ивин медленно покачал головою.

— Нет так! Так, голубчик,— настаивал лейтенант.— И вот что я тебе скажу. Да, *нам* придется все это делать. Самое плохое, что только бывает в жизни. Никуда не денешься. Хотя нам тоже хотелось бы посидеть где-нибудь в библиотеке, в тишине. Только учти, Ивин...— Тут лейтенант присел на корточки и, прищурившись, жестко уставился в глаза Ивину.— Учти, что Мишка-фиксатый гуляет по твоей милости на свободе. Этот зверь, которого ты выпустил на волю, способен на многое, Ивин. И вот представь себе, что Мишка добрался до Москвы и однажды темной ночью проник в квартиру, где спит твоя мама...

— Будьте добры, не примешивайте... к своим упражнениям мою мать,— тихо произнес Ивин; он выпрямился, большое лицо его тяжело, пятнами налилось кровью.

— Боже мой! — тонко, гневно воскликнул лейтенант.—Только посмотрите на него! Ему, видите ли, страшно при одном только упоминании о его маме! А ты представь себе, маменькин сынок, что если не твою маму он тронет, так чью-нибудь другую. Тебя, наверное, это устраивает?! Чью-нибудь сестру, жену, ребенка!..

— Это запрещенный прием...

— А мне наплевать, какой Ты думаешь только о себе. Ты зла боишься, себя жалеешь, Ивин. Что ж, пусть поблагодарят тебя те, которых ты должен был защищать. И напрасно ты думаешь, что из-за того, что ты желаешь спасти свою душу, тебя надо пожалеть. Напрасно надеешься, голубчик, что отвечать не придется.

Багровый, с прозрачно-голубыми глазами, в которых

застыло тихое страдание, Ивин сидел, уставясь куда-то вдаль, за реку, и трогал пальцем глубокую рытвину на своей щеке. Лейтенант отсел, отвернулся. Как же раньше не распознал он этого закоченелого эгоиста, думал лейтенант, возбужденный собственной речью.

И вдруг он услышал:

— А я и не надеюсь ни на что, товарищ старший лейтенант. То, что я вам говорил насчет того, что не виновен, это просто так, я пошутил...

Ивин поднялся, подошел сзади к лейтенанту, который стоял на краю обрыва и смотрел под собою на реку. Ивин протянул к нему руку, как бы желая положить ее на плечо маленькому лейтенанту, но рука повисла в воздухе, затем тихо опустилась в сторону. И, потупившись, Ивин улыбнулся своим мыслям грустной улыбкой. «А ведь ему было жалко меня... Теперь эта жалость исчезла. Он меня списал, зачеркнул крест-накрест... А, впрочем, ну его к черту».

Гудело, наливалось, тяжелело горячим свинцом в голове, и хотелось Ивину спрятаться, уйти от этого давящего сверху солнца. Спрятаться, как когда-то, где-то, в духовитый травяной шалаш и беспечно задремать на мягкой подстилке, но этот шалаш со смуглой полутьмою под травяным сводом остался далеко в детстве, брошенный им и забытый после,— ветром раскидало сухое сено, ветки и подстилку из листвы. (А что же сейчас там? И где это было? Неужели на земле, в мире, где бывает покой и радость?) Плавал над головою в небе ястреб, не устав еще охотиться. Внизу на реке сильно всплеснуло: то играла, наверное, какая-нибудь крупная рыба... Ивин обернулся к мосту и увидел мчавшуюся в их сторону машину.

— Вон, товарищ старший лейтенант,— сказал он.— Еськин возвращается.

И они оба направились по высокому берегу к мосту — впереди маленький стройный лейтенант, за ним Ивин.

Вот и враги, думал Ивин. А представились ему лица солдат, товарищей по конвойной службе. Мелькнуло розовое лицо сержанта Пеллыха, командира подразделения. «Ишак чесоточный»,— процедил тот сквозь зубы, когда вечером пришел выпускать его на ужин (Пеллых в тот вечер был дежурным; он стоял в дверях чулана — подтянутый, чистенький, в обуженном мундире, на кото-

ром блестели многочисленные значки. «Из-за тебя,— сказал он,— теперь никто в отпуск не поедет. Выходи, халява...» Васильев, Музычка, Балиев, Задорожко, Марьин — все их лица, такие привычные, обращались теперь к нему с одним общим отчужденным выражением. Они сидели в курилке, вокруг железного полбочонка, вкопанного в землю, сытые и благодушные после ужина «конвойнички», дымили дешевыми сигаретами, когда вывели Ивина и он к ним подошел. Невразумительно, кое-как ему отвечали, когда он обращался к кому-нибудь, но никто не подсел к нему. И тогда, в тот вечер, Ивин впервые понял, что в глазах товарищей он на самом деле совершил преступление, за которое теперь обязан понести наказание...

Еськин появился из машины, держа в руке кошелек лейтенанта.

— Товарищ старшлетенант, рядовой Еськин ваше приказание выполнил...— закричал он еще издали, прикладывая к пилотке короткие, дурашливо растопыренные пальцы.

— Вольно! — весело отозвался лейтенант, с довольным видом приближаясь к Еськину.

И, остановившись напротив него, неожиданно ухватил и дернул на себя гимнастерку солдата, при этом защемив пальцами изрядный кусок кожи на его животе. Еськин крякнул и, непочтительно отбив командирскую руку, отступил назад. Гимнастерка выскочила из-под ремня.

— Обрезал насколько! В распашонке ходишь? — стал приступать к нему лейтенант.

Еськин отскочил за радиатор машины.

— Не-ет, товарищ старшлетенант, не подходи, руки прочь от Вьетнама,— прокричал Еськин, хитро скосив глазки на лейтенанта и собираясь удирать вокруг машины, если что... Лейтенант хотел облокотиться о крыло машины — и вдруг ловко перескочил через него, Еськин еле успел отскочить.

— Ну, Еськин! — весело погрозил вслед ему лейтенант.— Вернемся, велю старшине подол к гимнастерке пристрочить, до колен будешь носить, ясно?

— Дело не выйдет! — уверял Еськин, все еще настороже, издали следя за лейтенантом.— Последний год службы, старикам положено!.. Это куда девать? — Он поднял над головою кулак, в котором был зажат кошелек.— Проверьте, сколько истратил, а то скажете, украл.

— Ладно болтать, положи в карман, где были,— небрежно повелел лейтенант и отошел в тень, отбрасываемую машиной.— И притащи-ка сюда, что на зуб положить!

Ивин знал, что лейтенант всегда выказывал открытое и полное доверие солдатам и делал это не без тайного любования собою. Вот и сейчас, прежде чем отойти в тень, покосился на Ивина. Однако доверие это было по-молодому искренне,— об этом Ивин тоже знал. В самолюбовании лейтенанта, в его порою капризной властности и актерстве проявлялось много еще мальчишеского и безоглядного, и это было близко солдатам.

Еськин раскинул в тени, у колеса, плащ-палатку и разложил на ней свою добычу. Помидоры легли внушительной кучей, нашлась и соль — Еськин прихватил ее в столовой вместе со стеклянной солонкой,— хорошая рассыпчатая соль; смуглый кирпич свежего мягкого хлеба был торопливо нарезан большими кусками, колбаса оказалась сухая, с шелестящей сухой кожицей, сдирать которую было трудно. Посреди плащ-палатки на газетном листе, где лежали колбаса и помидоры, красовались еще белые, очищенные головки крупного лука с темными перьями и несколько зеленых огурцов.

Еськин откусил хлеб, затем лук, на румяной щеке его вспухла шишка, подпрыгнула вверх.

— Хороший лук, прямо с грядки,— вздохнув удовлетворенно, говорил он и торопливо прожевывал, издали приглядываясь к колбасе. Ему еще в магазине хотелось попробовать ее, но, зная свою слабость к колбасе, Еськин из стыдливой гордости не отломил даже кончика от соблазнительной загогулины, торчавшей из бумаги...

— Стащил, наверное? — сделал лейтенант предположение насчет лука и впился губами в небольшой помидор, отчего через секунду тот стал плоским, кожица на его блестящем боку сморщилась; высосав жидкое содержимое из помидора, лейтенант посыпал солью алую влажную ранку в его боку и целиком отправил в рот.

— А чего тащить, заходи и дергай сколько хочешь,— ответил, не обидевшись, Еськин, осторожно беря самый маленький кусок колбасы.— Там целое поле лука, а рядом того... как этого... перцы болгарские.

— Вы как хотите, а я, товарищи, нажимаю на томаты. Ох люблю их! — говорил лейтенант, выбирая из груды помидоров плод покрупнее и помясистее.

— Хорошее дело,— соглашался Еськин.— А я так люблю колбасу, хо-хо! — не выдержав, раскрыл он свою тайну.

— Ешь, ешь,— с довольным видом угощал лейтенант.— А ты что, Ивин, отстаешь?

— Я и так, товарищ старший лейтенант...— откусив душистого хлеба с луком, благодарно кивнул командиру Ивин.— Спасибо.

— Еськин! Ты чего это колбасу со шкуркой? — удивленно уставился лейтенант на Еськина.— Смотри, отравишься.

— Ничего! Здоровше буду,— заверил тот.

— Да куда тебе «здоровше»! — Лейтенант ткнул огурцом в бок Еськину. Живот у того мгновенно втянулся словно отпрыгнув внутрь тела. Он отъехал на заду подальше от лейтенанта.

Плотный, краснолицый, с толстыми руками и ногами, покрытыми густой светлой шерстью, с такою же светлой шевелюрой, сидящий Еськин казался гораздо массивнее, чем высокий и широкоплечий Ивин. Шеи у Еськина почти не было, и его тяжелая кудлатая голова поворачивалась вместе с телом.

— Очень я щекотки боюсь,— пояснял он, раздирая руками огромный уродливый помидор: красный сок с семенами брызнул на руку и потек вниз, к локтю. Еськин быстро слизнул сок, приподняв руку, вытер пальцы о ляжку и потянулся к солонке.

Все трое сидели раздетые, в одних трусах, и выглядели беспечными и очень юными.

— Вот могу с кем угодно выйти бороться,— уверял Еськин,— а щекотки боюсь. Ох и боюсь! А бороться — с кем угодно. Тедешвили всегда хвастает, а я и с ним боролся. Поборол его, вот у Ивина спросите, если не верите.

— Точно, было такое дело,— подтвердил Ивин.

— Ну? Самого Тедешвили? — поразился лейтенант.

— А чего ж,— ответил Еськин, с довольным видом обнюхивая мякиш хлеба,— подумаешь, Тедешвили. Он все подножкой своей, а меня подножкой не возьмешь, я у него под мышкой прилипаю. Хороший хлеб, мягкий! Прямо горячий был, как брал в магазине.

— А Тедешвили, если бы вы видели, чуть в драку не полез,— подбавил Еськину славы улыбающийся Ивин.— Все не мог поверить, просил еще раз повторить.

— Ну и что?

— А то,— подхватил Еськин.— Хочешь еще раз — получай еще раз. Пожалуйста! Хоть сто раз подходи.

Не-ет! — убежденно говорил он, поднимая перед собою обломок колбасы.— Меня никто не поборет. Больно я притулистый, а сила в руках большая...

— Ну и хвастун же ты, Еськин! — Лейтенант изумленно уставился на него, покачал головою, затем огляделся вокруг себя, ища, обо что бы вытереть руки.— Думаешь, что теперь ты чемпион мира? — Он оторвал уголок от газеты, утер им губы, затем тщательно вытер пальцы.— Ну, никакой скромности. Как тебе это нравится, Ивин?

— Вполне возможно, что он прав,— улыбнулся Ивин.— Спасибо за угощение.

Он взял помидор, приподнялся и лег в сторону, голова его вновь оказалась на солнце, и ему захотелось подремать на траве. Он был сыт, но помидоров оставалось еще много, и они так свежо, так приманчиво выглядели, что он не выдержал, потянулся к их груде и взял еще одну штуку. Приятно было держать в руке гладкий, податливый теплый помидор, он, казалось, тихо дышит и ощущает, как живой, прикосновение к тонкой алой своей кожице.

Еськин принялся божиться, что, когда служил еще в другом месте, поборол какого-то самбиста-перворазрядника, лейтенант отказывался этому верить. Позади лейтенанта замер грубый тяжелый резиновый скат с полустертыми рубцами протекторов, грязь серыми сосульками свисала с внутренней стороны автомобильного крыла. В просвет между колесами видны были коричневый железный мост и участок дороги перед ним, вымощенный глянцевитым гладким булыжником. Синий кусок неба и пуховое небольшое облако сияли над мостом, и какой-то незримый сеятель бросал на этот светлый пустырь то горстку воробьев, то одинокого голубя, то черные быстрые стрелы ласточек.

Ивин мысленно измерил длину тени, в которой находились его ноги, соразмеряя расстояние с величиною муравьиного шага, и пытался вообразить, сколько же времени понадобилось бы, чтобы пройти всю тень и выйти на свет, крошечному муравью, который растерянно бегал сейчас по грязному резиновому скату. Думая о подобном пустяке, он уже не прислушивался к тому, о чем говорили рядом, доедал помидор и внимал только звучанию голосов беседующих. Он погружался в то особенное состояние, когда кажется, что жизнь возможна без всякого счастья или несчастья,— эти понятия в такие минуты кажутся несуществующими, и, хоть голову руби, сей-

час хочется лишь растянуться на земле и спать, сладко спать...

— Ивин, ты чего? Задремал? — разбудил его голос лейтенанта.— Пойдем еще искупаемся.

— Нет, товарищ старший лейтенант, я, пожалуй, к себе заберусь, посплю немного,— отказался Ивин и поднялся с травы.

Ему стало жаль, что его вывели из блаженного состояния теплого полусна. Жаль было, что нарушили тот дремный покой, в котором он пребывал, растянувшись на теплой земле. И теперь так будет всегда, мелькнуло у него в голове, свободы, покоя не видать... И он испытал мгновенную горечь.

— Ну как хочешь. Вперед, Еськин,— скомандовал лейтенант и шлепнул того по голому плечу.

Они ушли.

Ивин открыл заднюю дверцу машины и влез, согнувшись, в тамбур. Лейтенант, доверяя арестованному солдату, не считал нужным запирать его, и Ивин мог пользоваться относительной свободой во время пути. Так, если надоедало лежать на матраце, он открывал заднюю дверь и сидел, свесив ноги на подножку, глядя, как уплывает лента дороги назад, вдаль.

Сразу вправо от входа стояла короткая скамья для конвоя; слева была малая камера с зарешеченным окошечком на двери, в этой будке мог поместиться лишь один человек в сидячем положении. В глубине машины находилась большая общая камера, рассчитанная человек на двенадцать. От тамбура ее отделяла толстая решетка, дверь тоже была из стальных прутьев. Ивин открыл дверь, пробрался внутрь клетки и лег на разостланный матрац головою к выходу. Протянув руку к боковой скамье для сидения, достал книгу и раскрыл ее.

Перед Ивиным явился портрет молодого поэта с волнистыми, как руно, волосами, с обыкновенными глазами, носом, бровями, ушами, но в совокупности всего этого — с обликом необыкновенным. Да, необычность его нельзя было разъять и понять по частям, но все в нем было подлинно человеческим.

В ночь молчаливую чудесен
Мне предстоит твой светлый лик.
Очарованья старых песен
Объемлют душу в этот миг,—

пронзили Ивина строки, одна вслед за другой.

Нет, ие может человек без подобиой непостижнмой ясности, чистоты и счастья! Нет, все равио она существует — и н а я п р а в д а, посланная «в ночь молчаливую» и ие требующая инкаких доказательств. Человек должен узнать такое счастье хотя бы и иа погнбель себе. Если его ие было ннкогда у человека, то ои несчастливец такой, о, такой бедняк, что, когда весь уйдет в землю, в надземном мире, где он раньше обретался, навечио остается его прозрачный, бестелесиый отпечаток в воздухе... И будет стоять призраком иад тем местом, где пал, стоять под всеми дождями, которые пройдут, стоять посреди шумиой площади, еслн воздвигут там город,— н, простнрая вперед руки, спрашивать у мелькающих мимо поколений, зачем он жил на свете и умер...

Однако в той правде, которую возвещал поэт стихами, таилась своя жестокость. Эта правда иапрочь отрицала весь тот мнр, в котором привыклн иаходиться Ивни, его спутннкн. Отрнцала эту машину с железными решеткамн, с селедочной вонью, с застарелой грязью человеческого горя на деревяниых скамьях. Отрицала лейтеиаита, Еськина, целую толпу зиакомых Ивниу солдат, его сослуживцев и товарищей, отрнцала автоматы, пистолеты, армейский борщ, заскорузлые воиючие портянкн, конвойные полушубкн, коивойиых собак, воров, жуликов, убнйц, которых заточили в зону, казарменные шутки, строевые занятия, легкомыслеииую Машу-полковую, подругу всех солдат, и миогое другое, может быть, даже пыльиые дорогн, по которым оии тряслись уже много часов, даже этот ржавый железный мост через реку и ястреба в небе. Отрицанне было необходимо т о й правде, нбо на этом отрицаинн она и стронлась. Но Ивнн теперь поинмал, как много и сразу охватывает собою подобное отрнцаиие. Поиимал презрительиую о б и д у лейтенаита иа иего. Ивину вспомиилось, как сырой холодной осенью сбежал заключенный из строительной зоны, на поимку его были посланы опергруппы, расставлеиы посты иа дорогах,— сколько мучений пришлось испытать им, топча мерзлую землю иоября, и какие несчастные, суровые, измученные лица были у солдат, в сущиостн, совершенио еще мальчншек из Киргизии, Грузни, Владнмнрщнны, Москвы...

И все же Ивнн знал, что ои, повторись случай, ие мог бы сделать по-другому.

Ивину казалось сейчас, что он никогда ни одному человеку не сумеет объяснить, почему никого не суднт и

себя тоже,— судить будут те, которые станут жить без злобы, преступлений, убийств, войн, которым будут чужды все эти дела. Но придут ли такие?

Своей дорогой голубою
Проходишь медленнее ты,
И отдыхают над тобою
Две неподвижные звезды.

Эти новые четыре строки перечеркнули все сомнения Ивина: над его лицом, запрокинутым к железному потолку камеры, сиял поэт, в облике которого была та спасительная желанная ясность...

Он лежал на спине, глядя в темный ржавый потолок железной машины, и, дожидаясь своих спутников, почему-то вспоминал недавний случай из своей конвойной службы. Была строительная зона, коровник в тридцати километрах от колонии, утром повезли туда заключенных на двух машинах, а к вечернему съему прибыл из совхоза всего один грузовик — второй где-то сломался в дороге. Пришлось ехать на одной машине всем. Борта грузовика расперло, автоматы были охапкой переданы в кабину, начальнику конвоя, и солдаты с заключенными громоздились в кузове стоя, крепко держась друг за друга. Ехать было страшновато, но весело — воры, насильники, убийцы и молодая стража их покачивались единой, слитной толпой, дружно ухали, гоготали и весело матерились, когда в густой, розовой полумгле степного вечера машина медленно катила по грунтовой дороге и завалилась колесом в колдобину... Доехали все целы-невредимы, но начальнику конвоя сержанту Пеллыху была выволочка от командира, вспоминал Ивин.

Лейтенант и Еськин отплыли почти к самым камышам. Еськин плавал нерасчетливо, торопливо, загребая широкими саженками, выскакивая из воды чуть ли не по пояс, так что он вскоре выдохся и пристал к берегу. И тут заметил в глиняном отвале, о который плескалась вода, черные небольшие норки, сунул в одну из них руку и сразу же нашарил рака. Он криками сообщил об этом лейтенанту, и тот присоединился к нему, они перешарили множество норок, однако раков больше не нашли. Солнце жгло плечи, спины, Еськину вскоре надоело столь бесполезное занятие, и он с разбега бросился в глубину, подняв при этом изрядные волны. Лейтенант

еще минуту-другую искал один, то и дело оглядываясь на резвившегося в воде Еськина, затем тоже помчался к глубине через мелководье, оставляя за собою опадающие фонтаны брызг и пенистую дорожку.

Голубоватый, с белесыми крапинками большой рак, которого Еськин выбросил далеко на берег, был забыт, а сам Еськин, выкатив глаза и хватая ртом то воздух, то мутноватую теплую воду, пытался в это время поскорее выбраться на мелководье, ибо сзади настигал его лейтенант и старательно топил, толкая беспощадной рукою в светлую его макушку. Еськин орал, матерился, с преувеличенным ужасом молил о пощаде, но ему и в самом деле было страшно утонуть, потому что до берега было далеко, а силы его уже кончались. Однако, лишь ступив ногою на мелкое дно, он тут же позабыл о своем страхе и принялся яростно заливать водою подплывавшего следом лейтенанта. Тот нырнул, надолго исчез под водою, и Еськин, громко и глуповато посмеиваясь в одиночестве, торопливо двинулся к берегу, оглядываясь, поводя из стороны в сторону вскинутыми руками. Голова лейтенанта показалась из воды — маленькая, облепленная мокрыми темными волосами, он выплюнул воду, вскочил на ноги и погнался за Еськиным, и вскоре они, найдя кусок чистого, присыпанного белым песком берега, лежали рядом плечо к плечу, и время закружилось плавно на одном месте, как повисший в белесом небе ястреб, среди томительных прозрачных миражей зыбкого марева, под широкое дыхание степного раскаленного ветра — их вечное и, казалось, неподвижное время, охваченное и пронизанное переливчатыми трелями кузнечиков, не видимых в жухлой траве. А для подыхавшего в этой траве рака время встало как бы высокой, непроницаемой и липкой пеленою, и он напрасно бился, резко, судорожно сгибая и разгибая свой скорпионий хвост.

Вскоре лейтенант с Еськиным отошли еще дальше от моста — выбрались на отмель, где стояли в воде зеленые кущи камыша. Отсюда машина виделась совсем маленькой, со спичечную коробочку. Еськин озабоченно обратился к командиру:

— Товарищ старшлетенант, а Ивин... того, глядите... Как бы не убег у нас.

— Брось ты,— не внял его тревоге лейтенант, внимательно глядя себе под ноги: они ходили по широкому зеркальному разливу реки, разыскивая гулявшую среди камыша рыбу. Они видели уже двух лещей, но издали. Поиграв перед ними, рыба ушла в глубину.

— Ну сам подумай, Еськин, куда ему убегать? — рассуждал лейтенант.— И зачем? Он же не дурак окончательный.

— А все-таки! — настаивал Еськин.— Ну а все-таки! — Он близко прошел мимо лейтенанта, тоже глядя под собою в прозрачную воду, не доходившую ему до колен.— Вдруг как на самом деле баптист, товарищ старшлетенант?

— Ерунда.— Лейтенант даже не оглянулся на Еськина.

— Вот вы смеетесь, не верите, а я думаю, что правда это,— убежденно признался Еськин.— Он выпустил Мишку-фиксатого, потому что они заранее были договоренные.

— А я повторяю, что ерунда! — крикнул лейтенант, выпрямляясь. Он остановился и внимательно, строго смотрел своими темными глазами на Еськина.

— А что если сами заключенные толковали про это? — возразил Еськин, тоже останавливаясь и поднимая голову.

— Поменьше надо слушать, о чем болтают зека, понятно? — чеканно прозвучал над водной гладью голос лейтенанта.— И не трепаться об этом самому, если не хочешь попасть в смешное положение! — Подумай хорошенько, чьим словам ты веришь?

— Я не верю, товарищ старшлетенант, я так...— принялся оправдываться Еськин.— Раз говорят, то значит что-то есть, не зря ведь шумок идет...

— Больше всего меня удивляет, тебе-то что за дело до всего этого? — вкрадчиво вопросил лейтенант, прищурившись.— Ты-то о чем хлопочешь? Или тебе хочется, чтобы ему еще и приписали связь с заключенными?

— Нужно мне больно! — сердито пробормотал Еськин.— Какое мне дело, пусть его хоть совсем не судят. Что он мне, жить мешает, что ли?

— Зачем же тогда наговариваешь?

— А я не наговариваю... Я так... Ну чего он стрелять не стал? — выкрикнул, высказал самое главное Еськин.— Вы же сами знаете... Ивин, он всегда с ними толковища заводил, церемонился с ними.

— Врешь ты все, Еськин! А зачем врешь, спрашивается? — едко недоумевал лейтенант.— Ивин всегда был хороший солдат, а если растерялся, так с кем этого не бывает. Неизвестно еще, что бы ты сделал на его месте.

— Я? — Еськнн перестал ворошить пяткой траву под водою, что он делал до этого с большнм усердием.— Да я бы... Да у меня бы, будьте спокойны! Где стоял бы, там н лег! — И Еськнн повернулся к лейтенанту широкой выпуклой грудью, бросив рукн на бедра.

— Знаю я такнх хвастунов,— оборвал лейтенант.— Трепать языком вы мастера. И чтобы мне не болтать о том, чего не знаешь, ясно тебе? — предупреднл многозначнтельно он.— Особенно в полку.

Лейтенант н раньше слышал разговоры о сговоре между Ивнным н бежавшнм заключенным. Кое-кто нз приезжавшей во главе с майором Овсяннниковым комиссин тоже высказывал такое предположенне. И еслн бы оно подтвердилось, то хуже было бы не только Ивину. «Связь с заключенным» — серьезное обвиненне, а тут еще могло выясниться, что сам командир содействовал нежелательным контактам... Он н поехал в полк, повез Ивина сам, чтобы по дороге осторожно выяснить, содержится лн в подобном предположенин нстина... Но после разговора с Ивиным лейтенант совершенно успокоился. Что-то было в глазах солдата такое, чему он окончательно доверился. Что именно было в этих глазах, лейтенант не стал разбираться, он просто успокоился, отбросив все тайные опасения. Никакого сговора Ивина с заключенным не было н не могло быть.

Теперь лейтенант почтн жалел, что поехал сам, а не послал заместителя, Анатолия Федоровича: в полку в любом случае достанется на орехи, придется все принять на свою голову, к тому же иметь дело с командиром полка, чью грубость лейтенант до снх пор не мог забыть... Ему будут вновь намыливать холку, а тем временем добрейшнй Анатолий Федорович будет преспокойно дремать в кабинете, ленясь даже выйти на развод н препоручив это дело старшине. А вечером, прихватив под мышкой газетный сверток с грязными рубахами (Галя постирает!), поплетется через весь хутор к своей возлюбленной почтальонше.

* * *

Вдруг совсем близко что-то сильно плеснуло в воде н завозилось в камышах. Лейтенант невольно отпрянул в сторону, но тут же опомнился. И увидел (н сердце у него сразу подскочило, стало колотиться где-то у самого горла) громадного сазана. Меднобокий, с темной толстой спиной сазан могуче терся о корневища камыша, словно свинья о забор, шевелил хвостом, раздувал

жабры и спокойно поглядывал на человека. Лейтенант впервые в жизни увидел такие глаза у рыбы — глаза свободной, непойманной рыбы — и взгляд ее был почти осмысленным.

— Еськин! Ох, черт! Ко мне! — вскрикнул лейтенант, взмахнул руками и кинулся к сазану.

Рыба вздрогнула, ударила хвостом по воде, вздыбила спиной плавник и в кипении брызг быстро пошла через камыш. Она раздвигала камышинки своим тяжелым телом, и пушистые махалки их быстро кивали на ее пути, словно оживая. Лейтенант козлом скакал за нею, высоко выпрыгивая из воды, дважды упал, оцарапав грудь и колено, но приблизиться к рыбе не мог. Сазан был охвачен яростью могучего, уверенного в себе существа, которое потревожили, медные бляхи его чешуи рядами приподнимались, ходуном ходили на тугих боках, он сердился, но безошибочный инстинкт повелевал ему обойти врага, уходить прочь, изо всех сил рваться вперед сквозь камыши.

Лейтенант остановился, задыхаясь, поняв всю бесполезность погони, и стал смотреть вслед уплывающей рыбе.

Шлепая ногами по воде, до пояса скрытый каскадами брызг, к лейтенанту тяжело подлетел Еськин.

— Ну, где? Чего? — прохрипел он.

— Ушел...— еле выговорил лейтенант.— Ну и сазанище... Еськин! Килограммов на пятнадцать, не меньше.

— Ох ты, зараза! — застонал, схватившись за голову, Еськин.

— Надо было *дуру* взять! — с тоской проговорил лейтенант, взмахивая рукою, словно в ней был зажат пистолет.

— А кто знал, товарищ...— стал успокаивать его Еськин.— А может, сбегать, принести?..

— Нет, к черту! Такого два раза в жизни не бывает,— совсем отчаялся лейтенант. И вдруг он, словно увидев новую поразительную картину, замер на миг. Затем совсем другим тоном, осторожно и хладнокровно спросил:

— Слушай, Еськин, а ты запер кабину?

— А как же, вот ключи,— ответил Еськин и оттянул свои трусы, сверху завернутые вокруг резинки, и там, внутри образовавшегося кошелька, позвякивали ключи.

— Порядок тогда, Еськин,— успокоился лейтенант.— И вот что, голубчик, давай-ка пойдем назад. Скоро ехать. А эту рыбу проклятую ничем не возьмешь, только сетью.

— Какой там сетью, мелко здесь,— возразил Еськин.— Дробовнк нужно, дробью шарахнуть.

— Тоже вериая мысль,— похвалил лейтенант.— Ну пойдем, пойдем,— заторопился ои, чувствуя смутиую тревогу оттого, что оставнл заряженный пнстолет там, в машиие, где находнлся Ивни. Может быть, он рехнулся от всего этого? — опять приходнло в голову лейтеиаиту. Откроет как-нибудь кабиину, пустит себе пулю в лоб, да еще из комаидирского пистолета...

Но, взойдя на бугор, он увидел вдалн мост, и машину, и недалеко от нее неподвнжную одниокую фнгуру Ивииа. Тот же оделся в форму, как бы готовый к дальнейшему пути, и стоял на высоком берегу, глядя в сторону рекн. Тревога у лейтенанта тут же пропала, как будто ее и не было вовсе. И снова жалость к этому солдату охватила его. Он готов был от всей души помочь ему, ио чем? Многое зависело от того, как Ивин будет отвечать на допросах в полку.

— Ну что, Еськин? — обериулся н иасмешливо крикиул лейтенант. Стонт, гляди, инкуда не убежал твой «баптист»!

— Вижу,— нехотя ответил Еськии, осторожно стараясь ступать не по колючей траве и жесткнм глнняным комьям, а по мягкой пыли.

Он шел за лейтенантом и, громко вздыхая, жалел про себя, что свалял дурака н не поехал в отпуск весною, когда ему объявили,— выжидал, чтобы поехать летом, к огурцам и помидорам. Вот и довыжндался. Пока вся эта история с побегом не утрясется, никого ие отпустят, и времеии пройдет иемало, а там, глядишь, и сам иатворишь чего-ибудь и остаиешься совсем без отпуска.

Еськни представлял, как бы он появился в своей деревне, что близ города Боровска, в Калужской губернии. Подъехал бы на попутной машине, но только до первых нзб. Слез бы, заправил как следует мундирчик н пошел с чемоданчиком по улице. А уже вечер, глядишь, коров еще не прогналн, старухн дремлют на лавках или, собравшись у кого-нибудь иа крыльце, толкуют про свон сиы, огороды и квасы. А девки пришли уже после работы н моют во дворе иоги. Все инчего, живут себе своей обычной жизнью, а тут он в самый раз: «Здорово, старухи! Здорово, девкн!» «Кто это? Да ннкак Колька! Колька же н есть, Еськни!» «Чего же он пешком?» «Да по хожалой дороге прнпер, наверное, из Совьяков!» «Ишь, рыжий! Дьяво-ол! Морду-то какую

наел, не узнать!» «Ну нди, ндн скорее, порадуй мать, поди ие ждет, ие чует Алька, какая радость для иее!» — и так далее.

— Эх, баран! — думал он, издалн глядя на Ивииа, медлеиио разгулнвавшего по высокому берегу реки.— Баран ты и есть настоящий. Всех подвел н себя в том числе. Раззявил, коиечио, варежку и читал какую-ннбудь книжонку. Себе напортнл и другнм нагадил. А что этому баидюге, Мишке-фиксатому, побежать бы не перед ним. Нет же, знает точно, перед кем надо. Эти зека хитрый народ, они всегда изучают конвой прежде чем решиться на побег. Умный и опасный народ!» — Еськин задумчиво покрутнл головою.

Когда они подошли, Ивнн спроснл, с улыбкою глядя на ннх:

— Вы что там? Рыбу ловнлн?

— Как же, поймаешь ее,— нехотя ответил лейтенант и Еськину: — Открывай живее кабнну.

— Щас... Спешу на одной ножке,— почему-то с недовольством огрызнулся Еськнн.

Он сгреб сапогн, одежду с шоферского сидеиья н, отойдя в сторону, сбросил все это на жухлую траву. С мрачным вндом натягивал снльно обуженные форменные штаны... Прнсел, чтобы обуться, уставившнсь на ловко н быстро одевавшегося лейтенанта. Тот расправнл гнмнастерку под ремнем, достал гребешок нз нагрудного кармана н стал расчесывать волосы, клоня голову набок. Еськин натянул сапог, другой, крякиул и встал, притопывая.

— Ну, чего? По коням? — угрюмо спросил он, глядя на командира.

— Поехали,— коротко отозвался лейтенаит и пошел к машине.

— Заводн, Еськин! — хлопиул его по плечу н прнобнял длинной рукою Ивин.

— Уй, мерин актнрованный! — вскрикнул, скрнвив лицо, Еськнн.— Отскочн! Шкура же сгорела вся, больно! — И с такнм видом, словно весь белый свет ему каторга, он заковылял к кабине.

Ивнн направился в стороиу, огибая машииу сзади.

И вдруг настнгло его беспощадное, отныне постояиное н неотвязное: словно возннкнув нз пыльного праха, предстал в его глазах огромный, рябой детина с морщинистым тупым н жестоким лицом, с приоткрытым слюнявым ртом, в котором сверкалн стальные зубы, Мишка-фнксатый, убнйца, вор н насильннк, погубившнй бог знает сколько душ.

Елена Ржевская

В ТОТ ДЕНЬ, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

1

Как-то утром, в девять часов, мама позвала меня к телефону. И обычно не отличавшаяся проницательностью слуха, неожиданно добавила: — Какой-то военный голос.

— Елена Моисеевна? Это Жуков говорит.— Голос насыщенный, но без военной аффектации.

Это простое «Жуков», не подкрепленное званием, рискующее смешаться со множеством непрославленных однофамильцев, подкупало.

— Здравствуйте, Георгий Константинович,— сказала я в тревоге, правильно ли называю его имя-отчество, ведь никогда не приходилось,— очень приятно слышать вас.

Он сказал, что ему хотелось бы встретиться.

— Вы как?

Я — утвердительно. Он с полувопросом:

— Когда?

Я повторила за ним:

— Когда?

— Вы можете завтра в шестнадцать часов?

Я не расслышала отчетливо.

— В четыре часа,— повторил он, снисходя к невоенному собеседнику.

— Могу.

И стал записывать мой адрес.

Я попробовала объяснить: дом за железной оградой.

— Найдут! — остановил он.— Запишите в своем блокноте: завтра в шестнадцать часов.

Было 1 ноября 1965 года.

Этому звонку предшествовало вот что. Той же осенью, за полтора месяца до того, вечером позвонила по телефону незнакомая женщина — редактор АПН Миркина. Она сказала, что звонит по просьбе маршала Жукова, прочитавшего мою книгу и просившего узнать,

не соглашусь ли я встретиться с ним в связи с его работой над воспоминаниями. Миркнна сказала, что Жуков заканчивает мемуары, которые у него уже заранее приобретает АПН.

Я замешкалась. Ответила утвердительно, ио объяснила, что завтра утром уезжаю на две недели в Переделкиио, в Дом творчества. Мы простились. Моя собеседиица иазывала маршала Жукова — великим. В те годы о ием повышеиио не говорили.

Находившийся у меня этим вечером брат, узиав, о чем был разговор, обрушился иа меня:

— При чем тут Переделкино?! Ты что! Иметь возможность увидеть Жукова. Какой может быть отъезд?!

Через две недели я верилась нз Переделкина. Повторио никто от Жукова ие звонил. Но вот, спустя еще месяц, когда я посчитала, что отложеииая мной встреча не состоится, ои позвоиил.

Вечером я связалась по телефону с Миркиной,— свой номер она продиктовала мне при первом разговоре,— сообщила, что завтра еду к Жукову.

Услышав, что я собираюсь поехать вместе с известиым писателем, стремившемся увидеть маршала, она, вне себя, заговорила:

— Это невозможно! При всем моем глубочайшем уважении к нему — это иевозможио! Поймите, это очень серьезно. Жуков травмироваи, ни с кем ие встречается. Для иего каждый иовый человек — это сотрясеиие. Поймите же... Это пожилой человек, ему 69 лет. Он своеиравиый человек.

2

Примерио за двадцать мииут до иазначениого времени зазвоиил телефои. Приятный женский голос:

— Я по поручеиию Георгня Констаитииовича. Машина будет у вас через пятиадцать минут. Номер машины 34—27.

Когда я спустилась, большая, чериая, непривычного вида машииа с желтой фарой под радиатором стояла у тротуара за оградой иашего дома.

Шофер, увндев меня, направлявшуюся к машине, открыл дверцу и выглянул.

— А наши пошли вас разыскивать.

Тут же подошли те, кого ои иазвал «наши»,— маленькая девочка и пожилая жеищина с мягким,

округлым лицом, очень скромно одетая — в темном демисезонном пальто, в цветном шерстяном платочке, покрывавшем голову.

Мы поздоровались за руку, женщина назвалась: Клавдия Евгеньевна — и представила девочку:

— А это дочь Георгия Константиновича — Маша.

Я протянула девочке руку, подавив минутное чувство неловкости,— ее легче было счесть за внучку.

Старый, черный ЗИС («На таком же Сталин ездил»,— сказал мне на обратном пути шофер) тронулся. В его изношенном нутре заскреблись, покряхтывая, поколачиваясь, старого пробега километры. И я почувствовала, что еду сейчас не только вдоль по Ленинградскому проспекту к кольцевой дороге, но и в глубь прошлого, в обратном отсчете времени.

Я приглядывалась к своим спутникам. Ни в ком из троих— ни малейшей черты, говорящей о близости к знаменитому человеку.

Шофер, рядом с которым я сидела, был малоросл, этакий мужичок с ноготок. В потертом синем пальто. С притянутой к плечам головой, покрытой выношенной фетровой шляпой светло-песочного цвета с тоненькой ленточкой по тулье, с большими неотогнутыми полями, края их местами обветшало повисли. О былой принадлежности армии свидетельствовали только штатского покроя брюки, сшитые из синей офицерской диагонали. На педали стоял разбитый черный полуботинок. Ничего в облике водителя не свидетельствовало и о его принадлежности к столичной шоферской, молодцеватой братии. И эта шляпа, какую вообще едва ли на ком в Москве увидишь. Он был приглушен,— ни самоуверенности, ни темперамента, присущих людям его профессии,— сосредоточенный и чем-то трогательный. Походил на мастерового или просто человека не у дел. Так вроде оно и есть: то возил министра обороны, а то преимущественно его жену с дачи на службу да дочь в школу и «на музыку».

Девочка яснолицая, сероглазая, имя Маша очень пристало ей. Заметны ее сменившиеся спереди зубы, крупные, словно даны на вырост.

Маша учится во втором классе спецшколы с английским языком на Кутузовском проспекте. От дачи всего 25 минут езды.

— А все же воздух,— сказала женщина в пользу жизни на даче.

Одета Маша скромно и не без изящества: в розовом шерстяном гномике на голове, в неяркую клеточку си-

нем пальто с низким хлястиком и синих рейтузах. Маша возвращалась из музыкальной школы. Женщина спрашивала ее про отметки за первую четверть, проставленные в табеле. Фортепьяно — 4 и сольфеджио — 4.

— Почему так?

— Так. И у всех так,— непринужденно отвечала Маша.

В обращении с ней женщины присутствовала какая-то незримая дистанция, и я подумала, что женщина, по-видимому, воспитательница, тогда как на самом деле это была теща Жукова. Но Маша для нее — «дочь Георгия Константиновича» и уж потом лишь и ее внучка также.

Скромное, симпатичное близкое окружение маршала Жукова — никакой авантажности — приятно удивило меня, невесть что ожидавшую встретить.

В этой необременительной компании я приближалась к цели поездки.

В войну мне видеть Жукова не случалось. Я была переводчиком в штабе армии, входившей в состав фронта 1-го Белорусского, которым он командовал. И тогда, а в большей степени после войны, я не раз слышала о том, что он был жесток, крут, не берег людей, и эмоциональная окраска моего к нему отношения была сложной. Такой она была и по дороге в машине.

Впоследствии я прочитала такие его строки: «Меня упрекали в излишней требовательности, которую я считал непременным качеством командира-большевика. Оглядываясь назад, думаю, что иногда я действительно был излишне требователен и не всегда сдержан и терпим к поступкам своих подчиненных...

Конечно, сейчас эти ошибки стали виднее, жизненный опыт многому учит».

Машина шла по кольцевой. Мы оставили позади указатель на Рублево и вскоре съехали, ответвились в лес.

Теперь мы двигались по неширокой асфальтированной просеке, прорезавшей лиственный редкий лес. Было сухо и довольно тепло. По обочинам — тонкоствольные березы. За березами слева от нас шла лесом молодая пара. Присутствия охраны не ощущалось. Шофер посигналил ехавшему впереди на велосипеде мили-

ционеру, и тот посторонился. Больше — ни транспорта, ни пешеходов.

Дача Жукова неподалеку от кольцевой дороги, и мы прямиком уткнулись в деревянные зеленые ворота. Шофер вышел из машины открыть их. На воротах странным образом никого — ни сторожа, ни охраны.

Маша, расшалившаяся в конце пути, хотела выбраться из машины, побежать, но женщина удержала ее.

Мы въехали на территорию дачи мимо пустой сторожки. Шофер еще раз вышел — закрыть за нами ворота. Рядом со сторожкой — служебное двухэтажное помещение, предназначенное для охраны, как объяснил мне на обратном пути шофер,— оно тоже пустует. Слева, за деревянной фигурной оградой, начинался оголившийся осенний плодовый сад.

Я было навострилась глядеть в оба по сторонам, но тут произошла у меня заминка. Еще при въезде в ворота отскочила большая пуговица от моего пальто. Сейчас я нагнулась за ней, нашарила, а когда разогнулась, увидела впереди перед домом на асфальтированной дорожке Жукова.

— Папа,— сказала Маша.

3

Расстояние от ворот до дома совсем невелико. Машина тихо ползла к нему. По сторонам я уже не смотрела — впереди была черная спина Жукова в кожаном пальто. Поджидая нас, он моложаво, легко прохаживался, удаляясь сейчас от дома, не слыша шороха шин. Но вот обернулся. Машина стала у ступеней, ведущих в дом, и девочка выскочила первой. Я тоже вышла из машины. Жуков приветливо шел мне навстречу, поздоровался, сказал:

— Вот ведь не довелось тогда встретиться,— имея в виду 1-й Белорусский фронт, Берлин.

Я сказала, что от меня до него дистанция была большая, и опустила в карман пуговицу от пальто.

Предстань я там перед ним без пуговицы на шинели, вышла бы я из того знакомства вполне расквашенной.

Мы поднимались по пологим ступеням. По фасаду двухэтажного дома у главного входа — колоннада, из тех, что уже тогда сочли архитектурным излишеством. Но ведь с того момента, как я села в старую, одряхлев-

шую, черную машину, я оказалась в материальном мнре, предшествовавшем этой точке зрения.

Многостворчатые застекленные двери впустили нас в прихожую. Слева была лестница, ведущая на второй этаж, справа — вешалка.

Жуков помог мне раздеться и, заметив, что я проследила за Машей — та быстренько скинула пальто и подошла к зеркалу,— спросил: «Может, вам зеркало нужно?» «Да,— сказала я, стараясь держаться независимо.— Небольшой марафет».— И тоже вслед за Машей погляделась в зеркало.

Прихожая, метра в три шириной, была с обеих сторон замкнута стеклянными дверьми — наружными, сквозь которые мы вошли, и внутренними — за ними расстилалось нечто грандиозное — зал, торжественно залитый ярким светом хрустальной люстры, хотя еще хватало дневного света.

Мы вошли в зал.

— Ну, куда сядем? — спросил Жуков.— Вот сюда,— и показал направо, где возле красивого широкого окна, начинающегося низко от пола, стояли круглый полированный стол и два мягких кресла. На столе лежал «Военно-исторический журнал».

— Василевский прислал мне свою статью,— сказал Жуков, указав на журнал. Позже в разговоре он похвалил его статьи за то, что в них достается одному видному военному, недобросовестно излагавшему события.

В первый же миг встречи, увидев вблизи Жукова, я испытала недоумение: куда девался знаменитый подбородок, тяжелый, волевой, беспощадный, представленный на фотографиях. Да и полгода назад, когда он в дни двадцатилетия Победы впервые за долгое время вышел на люди и присутствовал на банкете в Центральном доме литераторов, я издали увидела его, живого, и тогда его облик для меня ничем не разнился с фотографиями. А сейчас будто аберрация зрения — лишь неправильный прикус и подбородок немного выдается вперед.

Увидеть маршала Жукова в штатском костюме было странным, совсем неожиданным. С этим тоже надо было освоиться. Он сросся в нашем представлении с военной формой.

В коричневого тона костюме в неяркую зеленовато-синюю клетку как-то непривычно, обыденно представала его тучная фигура. Мягкий воротник застегнутый на пуговки коричневатой рубашки без галстука не стягивал,

оставлял на свободе уже разрыхленную с годами широкую шею, которую тугой ворот военной формы собирал в упористый, волевой постамент медального лица. Теперь при отсутствии этого упора лицо, казалось, поутратило твердые очертания.

Но определенная крепость в лице все же есть. Ей способствует и молодящая короткая стрижка седых волос. Глаза — не маленькие, не большие — внимательны. Черты лица малоподвижны, их как бы фиксирует, ограничивая мимику, неправильный прикус, и отчасти из-за него лицо черство.

Тем неожиданнее улыбка, искренняя, располагающая, молодая.

То, что маршал Жуков был в штатском, сообщало нашей встрече частный характер. Но она проходила в зале, где отделиться целиком от официальности было посетителю не просто. По архитектурному замыслу это парадный, официальный зал, с красивыми, просторными окнами, приблизившими вплотную сад. Здесь все было колоссальным: стол, повернутый к входным дверям торцом и протянувшийся в глубь зала по центру его. Выпуклый буфет, вписанный в широченную нишу по противоположной окнам стене; размах ковра.

Все здесь было из тех давних дней, когда мы победили. Мода последующих лет сюда не проникла.

Над дубовыми панелями стен — делового вида плафоны. По-казенному простые стулья расставлены вдоль стен. Они могут быть придвинуты к столу для банкета или заседания. Похоже, что зал обставлен не лично им, а управлением, которому принадлежит дача, и, кажется, шевельнешься в кресле — звякнет исподтишка инвентарный номер. Личные житейские контакты с залом минимальны, они едва вкраплены хотя бы этой вазой с мелкими яблоками, стоящей на неохватном столе, застеленном белой накрахмаленной скатертью.

Когда мы еще только поднимались по ступеням дома, вышагнул шофер, отбил честь вскинутой к виску ладошкой, и из-под своей шляпы обратился глухо: — Товарищ маршал! — и протянул Жукову конверт.

Теперь в зале Жуков раскрыл конверт, вынул фотографию, заинтересованно рассмотрел ее.

— Это я просил, чтоб мне передали. Вот это — я, — протянул мне ее.

Шофер по его поручению доставил ему от кого-то из родственников эту давнюю фотографию. На ней два парня в старомодных костюмах. Один сидит, он снят

в профиль, у него густые волосы, расчесанные на косой пробор, из нагрудного кармана темного пиджака высунут платочек.

— Узнаете?— спросил Жуков.

Успев заметить, что у сидящего парня имеется выступающий вперед подбородок, я ответила утвердительно. Но перевела взгляд на второго парня, того, что стоит, и у этого, рабочего с виду парня, оказался такой же подбородок лопаткой. Тут уж я сбилась, кто же из двоих Жуков. Но и уточнять не стала.

— Это я с двоюродным братом.— То-то фамильные у обоих подбородки.— В Москве снялись. Это я только вернулся с империалистической войны. Я ведь москвич.

На обороте фотографии помечено: «1917 г.»

Жуков протянул фотографию вертевшейся здесь дочке:

— Узнаешь? — и искренне удивился, что она не узнает его.— Да вот же я.— Словно и полвека почти что спустя его можно было признать в этом парне.

У него была одна-единственная фотография, где он совсем молодой, сказал он. Ее взял Вайль (кажется, так он назвал того, о ком говорил), чтобы сделать портрет. Но Вайля арестовали и все, что было у него, забрали.

— А ведь интересно взглянуть, каким ты был.

Он неравнодушен к фотографиям, запечатлевшим его молодым, и к более поздним портретам, на которых он все же относительно молод. И это чувство всякий раз прорывалось в нем, если возникал хотя бы отдаленный повод.

Так потом, рассказывая о попавшем ему в руки немецком досье на командование Красной Армии, где, как он сказал, об Уборевиче и других в заключение сказано: арестован, уничтожен,— было прослежено все его, Жукова, прохождение по службе, и там был его портрет.

— Замечательный портрет,— с чувством сказал он.— Где только они такой взяли [1].

[1] Об этом досье Геббельс — в это время он комиссар обороны Берлина — записал в дневнике 18 марта 1945 г.: «Мне представлено генштабом дело, содержащее биографии и портреты советских генералов и маршалов...» Забыв о своих небрежных, наглых суждениях 41-го года, он ошеломленно пытается за полтора месяца до падения Берлина найти объяснение победному натиску советских войск: «Эти маршалы и генералы почти все не старше 50 лет. С богатой политико-революционной деятельностью за плечами, убежденные большевики, исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что они народного корня... Словом, приходится прийти к неприятному убеж-

И даже, когда разговор зашел о его назначении командующим Западным фронтом, о подмосковном сражении, и я ему, отторгнутому в те годы от его славы, сказала, что, просматривая недавно в Ленинке газеты сорок первого года увидела: под его портретом, напечатанным в связи с победой в декабре, кто-то из читателей вывел чернилами крупными печатными буквами: «Наша слава и совесть», Жуков живо на это отреагировал:

— Я там молодой.

— Да там все на портретах молодые — Рокоссовский, Лелюшенко...

Это был комплекс неистраченного, остановленного на бегу еще во всесильности человека, отброшенного в тягчайшее, в бездеятельное существование, которому сейчас, когда он рассчитывает вернуться к деятельной жизни, так нужны были те ушедшие годы.

На протяжении всего нашего разговора человечно проступало в Жукове чувство утраты молодости. Обостренное, должно быть, молодостью жены и малолетством дочери.

Потом все же с живой улыбкой переспросил, повеселев:

— И так, значит, это там и лежит? — насчет газеты с этой подписью под его фотографией в декабрьской подшивке сорок первого года в Ленинке.

Он написал в своей книге: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

Улыбаясь, он молодел. Улыбка словно выявляла что-то сохранившееся в нем внутри, симпатичное. И он становился совсем не похожим на официального маршала Жукова, каким был на банкете в Доме литераторов — во всех регалиях на мундире, сшитом, как говорили, специально к этому дню двадцатилетия Победы — своему первому спустя годы выходу в публичные собрания.

Может показаться, что я пишу излишне подробно, что о крупной личности надо писать только значительное. Но о Жукове-военачальнике, о его делах и страте-

---

дению, что военное руководство Советского Союза состоит из лучших, чем наше, классов»...

В этой записи — отголоски испытываемого им почтения перед силой победителя и проклятий в адрес своих отступающих генералов, которых он вслед за Гитлером называет «изменниками».

гических планах, об осуществлениях знаменитых сражений написали и не раз люди компетентные. Мне же хочется рассказать о встрече с ним с подробностями, без которых нет живого облика.

— На музыке была? — спросил он присевшую чуть в стороне дочь.

Ответив утвердительно, она мигом смоталась за табелем и подала ему. Держа перед глазами табель, он надел очки в тонкой оправе и искренне огорчился, увидя «четверки».

Но Маша, присев на кресло, стоящее немного позади него, нисколько не тушуясь, сказала невозмутимо:

— Так у всех.

— Только по поведению «пять», но в этом я не сомневался,— в глубокой сосредоточенности произнес он.

Он счел нужным объяснить мне, что у учительницы такой подход, она не ставит сразу «пятерки», чтобы ученики старались.

— Это отчасти и правильно,— сказал он. Вместе с тем было видно, что он досадовал,— ему всерьез очень важны Машины успехи в музыкальной школе, и к тому же он задет тем, что я оказалась свидетельницей ее скромных достижений.

«Я всегда завидовал хорошей игре на баяне»,— признавался он в своей книге. Но его детство было беспощадно суровым.

Я знакома с той учительницей Маши. Она рассказывала, что Жуков обычно присутствовал на зачетных вечерах в музыкальной школе. Сидел, слушал, переживал за Машу.

Машу позвали.

— Иди обедай,— сказал он.

Маша взяла у него табель и, проходя мимо громадного стола, живенько положила табель на скатерть, придавив его пустой вазочкой для цветов, вытянутой и узкой—у моей мамы была точно такая же— изделие 30-х годов.

Так удивительно было, как непосредственно, привычно движется она по величавому залу, в своей ловкой синей в складку юбчонке, в синем джемпере, отделанном белой шерстью по стоечке ворота.

Маленькая, она была тут не в масштабе и подчеркивала огромность стола, буфета, ковра. Но ее фамильярное обращение с этими предметами проясняло — зал

со всем, что в нем,— столовая семьи. И значит, подпотолочная хрустальная люстра, предназначенная на весь зал светить торжествам и празднествам, люто льет свысока свет на интимную семейную трапезу за гигантским столом, на белую необъятную скатерть.

Маша куда-то юркнула.

Маршалу Жукову предстояло перейти к сути и цели нашей встречи. Я заметила, что он внимательно рассматривает меня. В образовавшейся небольшой паузе вдруг послышалось урчание воды, плеск — живые, непредвиденные звуки. Это напротив нас в проеме между буфетом и торцовой стеной зала, уводящем, по-видимому, в кухню, в глубине видна была белая раковина, и Маша возле нее, пустив из крана воду, мыла руки.

4

Жуков сказал, что прочитал мою книгу [1]. В ней я рассказала о том, как в дни падения Берлина нашими воинами был обнаружен покончивший с собой Гитлер и проведено расследование обстоятельств его самоубийства и опознание его. Я принимала в этом участие как военный переводчик.

— Книга мне понравилась. Но увидеться это что-то все же еще...

Мы поговорили о берлинских событиях, об имперской канцелярии, бегло коснулись других общих для нас тем и воспоминаний. Расспросил он меня о моей службе в армии.

— Я тоже пишу. Дошел до Берлина сейчас. Вот и захотелось с вами повидаться.

Устанавливался доверительный тон, и понемногу разговор приближался к главному.

(Мне не приходится по памяти реставрировать подробности этой встречи, они записаны мной тогда же. И также все, что привожу из сказанного тогда Жуковым.)

Маршал Жуков сказал:

— Я не знал, что Гитлер был обнаружен. Но вот я прочитал об этом у вас и поверил. Хотя ссылок на архивы и нет, как принято делать. Но я верю вам, ва-

---

[1] Он называл книгой ротаторный экземпляр рукописи, предоставленный ему АПН, заключившим со мной договор на право издания ее за рубежом. Книга у нас тогда еще не вышла, была только журнальная публикация в «Знамени».

шей писательской совести. Я пишу воспоминания,— повторил он.— И сейчас как раз дошел в них до Берлина. И вот я должен решить, как мне об этом написать,— он говорил неторопливо однотонно, раздумчиво.— Я этого не знал. Если я об этом так и напишу, что не знал, это будет воспринято так, что Гитлер найден не был. Но в политическом отношении это будет неправильно. Это будет на руку нацистам.

Помолчав, он сказал:

— Как это могло случиться, что я этого не знал?

Он хотел это уяснить с моей помощью. Это был его главный вопрос ко мне. Мне бы следовало предвидеть, что такой вопрос возникнет. Но по дороге к маршалу Жукову я почему-то не думала об этом.

В самом деле, как это могло случиться, что командующий войсками, штурмовавшими Берлин, не знал, что его воины, овладев имперской канцелярией, в подземелье которой находился Гитлер с остатками своего штаба, нашли Гитлера, покончившего с собой? Такой важный и престижный факт для полководца, приведшего свои войска в Берлин.

Он вправе был спросить и так: как смели не доложить ему об этом? Было с чего впасть не то что в недоумение, а в самый яростный гнев, если б знать, кому адресовать его, и если б многое другое в предшествующие нашей встрече годы не было бы его гневу ближе и существеннее. И он всего лишь спросил: как могло так случиться?

Я знала, что все, связанное с обнаружением и опознанием трупа Гитлера в те майские дни, держалось в строгом секрете и докладывалось прямо Сталину — по его распоряжению,—минуя командование фронтом, то есть маршала Жукова. Почему было так, это мог бы разъяснить только Сталин.

— Не может быть, чтобы Сталин знал,— решительно отверг Жуков.— Я был очень близок со Сталиным. Он меня спрашивал: где же Гитлер?

— Спрашивал? Когда?

— В июле, числа девятого или одиннадцатого.

— К этому времени Сталин уже давно все знал, провел проверку и удостоверился.

— Но ведь он меня спрашивал: где же Гитлер?

— Очевидно, не хотел дать понять, что знает.

— Зачем?

Было около пяти часов, 2 ноября 1965 года. Горела яркая люстра и плафоны по стенам. За окном был сад,

потемневшие стволы деревьев, оголенные ветки, на них кое-где уцелевшие, свернувшиеся, черные листья, похожие на птенцов. Мы сидели в удобных, мягких креслах, разделенные небольшим круглым столом,— заместитель Сталина, герой знаменитых боев, прославленный полководец, принимавший капитуляцию Германии в Берлине и на Красной площади в Москве — победный парад наших войск верхом на белом коне, и рядовая военная переводчица, причастная к тому, о чем он должен был знать более двадцати лет назад.

Могла ли я думать, что когда-либо вот так предстану перед ним. И не невероятна ли сама ситуация?

Маршал Жуков спросил меня: «Зачем»?

Зачем было скрывать от него? Может, решив не оглашать этот факт, Сталин никого не посвящал в него, не делился. Более полный ответ, вероятно, коренился также и в сложности, нестабильности отношений двух людей; в них Жуков представал с органичной ему прямотой, ценившейся, покуда шла война. Естественно, в это я не входила и не располагала исчерпывающим ответом, почему вообще такое решение — не оглашать — принял Сталин. Сейчас я уясняю себе несколько отчетливее. Но это отдельная тема. Тогда я высказала лишь предположения. Одно Жуков сразу отвел, на другое не возразил, в нем виделся ему определенный смысл. Но как могла быть скрыта от него правда? Ему трудно было постичь такую несообразность.

— Если это шло по линии НКВД, так ведь Берия был при этом разговоре со Сталиным. Он молчал,— сказал Жуков, искренне полагая, что раз молчал, значит, не был осведомлен.

И мне в этот момент не вспомнилось, что в архиве есть документ, устанавливающий, что Берия знал. Пересматривая через несколько дней документы, я снова напала на него: это подробная записка по ВЧ, адресованная Берии 23 мая того же сорок пятого года, когда закончившееся расследование вновь шаг за шагом перепроверил присланный Сталиным генерал.

— И Серов ведь находился там, в Берлине. Он и сейчас живет со мной в одном доме на Грановского. Я его спрашивал. Он не знает.

И генерал Серов знал, если не тогда же, то несколько позже. Об этом свидетельствуют документы. А для Жукова это продолжало оставаться тайной.

Я не останавливаюсь здесь на том, как все было тогда в мае и как осуществлялась информация «наверх».

Это требует подробного освещения и увело бы от встречи с Жуковым. Все же я могла бы тогда в разговоре помочь Георгию Константиновичу кое-что уяснить. Возможно, он в этом нуждался. Но наш разговор принял вдруг неожиданный оборот.

— Я хотел вас попросить,— сказал маршал Жуков все тем же равномерным, но не столь уж раздумчивым тоном,— кое в чем тут помочь мне.— И с упором, веско: — Ведь от того, как я напишу, зависит судьба вашей книги.

Он откинулся в кресле, нога на ногу. И тут вдруг появился тяжелый, угрожающий подбородок.

— Если я напишу, что мне об этом неизвестно, вам не поверят.

Он сказал это жестче, чем мне удается передать здесь. Потому что не в словах лишь дело, но и в том, как они произнесены, и в его позе, и в этом внезапно отяжелевшем подбородке. Не попросить (хотя и произнесено подобное слово), а заставить, не обратиться, а вынудить выполнять, и тем рьянее, раз под угрозой.

Образовалась натянутая пауза. Выждав ее, Жуков спросил:

— У вас есть выписки документов? Остались?

— В той мере, в какой я их использовала,— сухо сказала я, замкнувшись. Во мне ожило предубеждение.

— А больше не осталось?

— Кое-что из дневников Геббельса.

— А фотографии?

— У меня нет. Есть в моей книге — в итальянском издании.

Опубликованные его не интересовали.

То, с чем он обратился ко мне, было предельно скромным. Он встретил бы мою полную готовность ему содействовать. Но тут что-то во мне застопорилось. Установившаяся было доверительность нарушилась, и разговор продвигался туго. Мне претило словно бы из страха за свою книгу в чем-то помогать ему. К этому времени моя книга была уже переведена во многих странах, и обнародованные в ней факты признаны бесспорными. Но сказала я только о том, что главные свидетели опознания — зубной техник Гитлера и ассистентка его зубного врача — показали под присягой суду в ФРГ, что опознали Гитлера по зубам,— то есть именно то, что написано в этой части мной,— и подтвердили тем самым, что Гитлер был нами обнаружен. Эти показания,

фотография под присягой, их воспоминания — все эти материалы опубликованы на Западе.

— Мало ли что они там напишут,— буркнул Жуков.

Но вслед за тем он повторил, что полностью поверил, прочитав мою книгу. И что Гитлер был найден, он не сомневается. Но его смущало другое. Он откровенно поделился, что оказался теперь в сложном, как он выразился, положении. После победы в Берлине на пресс-конференции советских и иностранных корреспондентов он, отвечая на вопрос, сказал, что о Гитлере нам ничего не известно, как оно и было для него в то время. А теперь, подтвердив, что Гитлер был тогда найден, он окажется в ложном положении. Это его беспокоило.

Забегая вперед, скажу, что через какое-то время, а точнее, в феврале 1966 года, мне позвонила редактор А. Миркина и сообщила, что Георгий Константинович закончил мемуары, и зачитала из его рукописи то место, где, упомянув о Гитлере, он отсылает читателей к моей книге, как бы солидаризируясь с ее положениями. Такое его решение было щедро, потому что оно не устраняло того, что его смущало. Кроме того, наш разговор в этой части, как я уже рассказала, сковало натянутостью, я замкнулась и от этого могла проигрывать в убедительности.

Эти его строки предназначались для зарубежного издания, опережавшего издание на русском языке, и, судя по отголоскам иностранной прессы, первоначально оставались в тексте. В издании для советского читателя они не сохранились: кратко изложив суть дела, Жуков пишет: «Я убедился, что для сомнений в самоубийстве Гитлера оснований нет».

5

Жуков не курил, я тоже. И разрядки в нашем нелегком разговоре ждать было неоткуда, если б не Маша. Она появилась опять — забежала из сада, не сняв пальто, притащив на руках болонку. Присела у нашего стола, пододвинув поближе стул и, положив болонку на коленях, тискала ее.

— Прекрати,— сказал Жуков.

Она оставила его приказ без внимания. Мы продолжали разговаривать. Жуков опять велел Маше перестать.

— Ты видишь, какая она грязная.

Белая, маленькая, длинношерстная, лохматенькая собачонка была очень грязной, в особенности лапы и брюхо. Но Маша и не думала слушаться. Повалив собаку на спину, она то зажимала пальцами ее ноздри, то хватала одну, другую лохматую лапу и перебирала ее грязные когти.

Отец повторял, чтобы она оставила собаку, но Маша со всей невозмутимостью продолжала свое.

А он, перед которым трепетали все — и свои, и враги (я помню захваченную у немцев неотправленную почту, и в солдатских письмах — судорожные прощания навсегда с родными, потому что в немецких частях стало известно, что здесь на нашем фронте появился Жуков. Это была еще середина войны), он, которому беспрекословно подчинялись все и вся, от генерала до солдата, он с его ореолом жестокости и стальной воли, бессилен был востребовать послушания от восьмилетней девочки. Воистину это оказалось посложнее, чем приводить к повиновению многомиллионное войско [1].

Он говорил с ней серьезно и ровно, без затаенной умильности, не было в голосе и наставляющей отцовской интонации или, что возможно при такой возрастной дистанции, дедовской слабости, говорил без раздражения и без улыбки, но и без властности, как с равной.

Дочка не испытывала ни малейшей опаски. Но и не было ничего вызывающего в ее манере вести себя, ничего строптивого или даже просто избалованности. Было другое. Она свободна, неподчиненна, естественна. И резва. И, несомненно, своим остреньким детским инстинктом давно ущучила его, Жукова, от нее зависимость.

Вскоре после рождения дочки его деятельность была внезапно остановлена, и единственным живым течением времени стало маленькое существо, набиравшее жизнь. Жена уезжала на работу в кипучий город, он оставался здесь. Можно себе представить, и это не будет преувеличением, что он растил в своем уединении эту позднюю

[1] Генерал М. А. Мильштейн — он был в штабе Жукова в период битвы за Москву замнач разведотдела — недавно рассказал мне: штаб стоял в Перхушкове, Г. К. Жуков занимал отдельный дом, окруженный несколькими цепями охраны. Отправляясь на ежевечерний доклад, подходя к этому дому, Мильштейн, случалось, чуть ли не готов был на окрик часового: «Пропуск!», менявшийся несколько раз в сутки, ответить неверно — пусть стреляет. Вот так, аж тяжелее смерти было иной раз войти в этот дом — такой страх нагонял Жуков, ценивший Мильштейна.

дочку, улавливал живительный росток ее жизни. Дочка помогла ему, сама того не зная. Она главный человек в его нынешнем микрогаризоне, прежде необозримом.

Маша еще некоторое время посидела, все так же возясь с собачонкой, и потом ушла.

— А этого документа моего — Сталину, у вас нет? — спросил Жуков.

Еще в самом начале нашего разговора я говорила, что в архиве есть документ с сообщением об обнаружении мертвого Геббельса и его семьи, посланный Сталину за подписью маршала Жукова и члена Военного совета фронта генерала Телегина.

— Этот есть, хотя не ручаюсь, что полностью.

Все еще задетая тоном, с каким он до того приступил к делу, я отвечала сжато, неохотно. Пишу об этом сейчас помня, что не была чутка, не охватывала тогда в полной мере ситуацию. Такую непростую, ненормальную. Маршал Жуков обращался ко мне за нужными ему для работы документами, не располагая ими, хотя под иными из них стояла его подпись. Такое могло ранить даже не очень чувствительного самолюбия человека. Но тут Жуков держался просто, естественно. Расспрашивал об архивах, в которых я работала. Я рассказывала. Об одном архиве он отозвался по каким-то более давним впечатлениям:

— Там дела серьезные, существенные. И некоторые дела любопытные... щекотливые,— добавил с улыбкой, так освежающей, молодящей его лицо.

Он снова расспрашивал обо мне, о службе в армии.

— Я там был, в имперской канцелярии. В саду. В день, когда ее взяли. А второй раз 4 мая. Вниз туда меня не пустили,— сказал с прямотой, выгодно отличавшей его от иных авторов мемуаров.— Там внизу было небезопасно.

Да, в подземелье то и дело раздавались одиночные выстрелы.

— Я видел в саду этот круглый, как его...

— Гитлеровский бункер?

— Его.

— Вам, вероятно, тогда и доложили, что около него найдены Геббельс с женой. Я сужу по подписанному вами сообщению Сталину об этом.

Он помнит, что о Геббельсе ему докладывали.

— Мне доложили, кажется, второго мая или первого, что сколько-то танков прорвалось из берлинского коль-

ца в таком-то направлении. Я приказал преследовать. Я полагал, что Гитлер мог уйти на этих танках [1].

Помнит он еще, что ему через несколько дней докладывали о найденной челюсти Гитлера.

Я сказала, что это искаженные отголоски того, что было на самом деле. Не было отдельно найденной челюсти. Это судебно-медицинская экспертиза установила при анатомировании Гитлера, что основной анатомической находкой для идентификации личности являются сохранившиеся челюсти, и опознание пошло по этому пути также.

Люди, к нему причастные, выполняли задание с чувством огромной ответственности, понимая, что всякая неясность насчет смерти Гитлера вредна. Она будет лишь способствовать его намерению — бесследно исчезнуть, превратиться в миф и тем будоражить приверженцев фюрера, активизировать их. И наш народ, отдавший все для победы над фашизмом, был вправе узнать, что поставлена последняя точка в войне. Ведь фашизм в первую очередь персонифицировался в Гитлере.

— Мы, во всяком случае, очень ждали тогда официального сообщения. А кое-кто надеялся даже на представление к Герою, как было обещано комендантом Берлина генералом Берзариным тому, кто найдет Гитлера.

— Героя не за что было давать,— буркнул Георгий Константинович.

Это справедливо. Не под огнем шли розыски, никто не жертвовал собой. Было везение и, больше того, серьезнейшая удача и стремление немногих лиц добиться исчерпывающих доказательств при расследовании. И нам удалось это осуществить. Но обнаружение Гитлера было превращено распоряжением Главнокомандующего в непроницаемую тайну. И я смогла лишь многие годы спустя эту «тайну века» сделать достоянием гласности на страницах «Знамени».

А тогда, в майские дни, газеты оккупационных войск союзников вышли с шапками: «Русские нашли труп Гитлера», «Героические поиски в развалинах горящего Берлина увенчались успехом». Но, не встретив в нашей печати подтверждения, они смолкли, быть может, по-

[1] В своей книге, рассказывая об этом, Жуков писал: «На рассвете 2 мая группа танков была обнаружена в 15 километрах северо-западнее Берлина. Часть машин сгорела, часть была разбита. Среди погибших экипажей никто из главарей гитлеровцев обнаружен не был».

считав, что были введены в заблуждение своими информаторами.

Я говорю: тогда было ощущение, что командование фронтом не проявляет сколько-нибудь пристальной заинтересованности поисками Гитлера. Жуков не возразил. Косвенно он сам подтвердил это, сказав о том, что ему доложили о «найденной челюсти». Почему-то это не побудило его потребовать, чтобы ему доложили обо всем со всей полнотой.

Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер — начальник генштаба сухопутных войск вермахта генерал Кребс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера и об этом было доложено маршалу Жукову, он позвонил Сталину. В своей книге он передал состоявшийся разговор:

«Я доложил полученное сообщение о самоубийстве Гитлера... Спросил его указаний.

И. В. Сталин ответил:

— Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?

— По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжен на костре.

— Передайте Соколовскому,— сказал Верховный,— никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если ничего не будет чрезвычайного, не звоните до утра,— хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас Первомайский парад».

Указаний о расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера, о получении в том подтверждения не последовало. Не было их и в дальнейшем. И только после того, как все было закончено, главные участники опознания — немцы и «вещественные доказательства» были отправлены в Москву, Верховный Главнокомандующий спросил маршала Жукова: где же Гитлер? Ответом Жуков не располагал. Если бы к нему этот вопрос был обращен ранее, само собой маршал Жуков затребовал бы данные ото всех входящих в состав его войск служб и был бы в курсе происходящего. Но поскольку вопросы не последовали, он мог ошибочно полагать, что Верховный Главнокомандующий удовлетворен его первым сообщением о самоубийстве Гитлера и на этом — точка. В газетах наших в то время стали появляться сообщения ТАСС о том, что Гитлер не то высадился в женском платье в Аргентине, не то скрывается у Франко.

Вопрос о том, жив ли Гитлер или покончил с собой, а уж тем более — найден ли, переместился из армии в сферы большой политики, и Жуков мог и намеренно отстраниться — не его компетенция. Тем более что в мае маршал Жуков был слишком загружен всем объемом свалившихся на него в новой совсем ситуации чрезвычайных дел, многие из них были непривычны. Шла колоссальная перестройка всей работы. Ведь он был не только Главкомом советских оккупационных войск, но Главноначальствующим советской военной администрации. Он должен был охватить все сферы: от дипломатической, военной, политической до хозяйственной. Словом, вступал в права новый день с новыми сложными проблемами и заботами, задвигая поверженного Гитлера в день «вчерашний».

Так примерно я себе это представляю.

Информация о проводимом расследовании шла прямо Сталину. Я могла объяснить, как именно это происходило.

— При любых обстоятельствах я должен был знать об этом,— остановил Жуков.— Ведь я был заместителем Сталина.

Но он сам описал в книге, что так бывало: например, перед войной начальник разведуправления генерал Голиков докладывал важные сведения не по инстанции — не начальнику Генштаба Жукову, не наркому обороны Тимошенко, а, минуя их,— Сталину. «Я не знаю, что из разведывательных сведений докладывалось И. В. Сталину генералом Ф. И. Голиковым лично»,— писал Жуков.— «Важные данные подобного рода, которые И. В. Сталин, быть может, получал лично, он мне не сообщал». Но применительно к тому времени он не мог бы сказать: «Я был очень близок со Сталиным». Это пришло в войну. И теперь его интересовал не столько сам факт обнаружения мертвого Гитлера, не вызвавший у него сомнения, сколько то, что в свете этого факта трудно поддавалось для него уяснению. Ему бы хотелось думать, что Сталин тоже не знал. Мои же объяснения лишали его этой возможности. А со своей прямолинейностью Жукову не усмотреть было в том его отстранении предвестие дальнейших суровых отстранений, которые последуют вскоре. Ведь вопрос о Гитлере был задан ему уже после парада Победы. В первом же после завершения войны году И. В. Сталин отозвал Жукова из Берлина, назначил Главнокомандующим су-

хопутыми войсками, и тут же вскоре он был снят с этого поста и с понижением направлен командовать округом.

— Когда шла подготовка к параду Победы, мы думали, Верховный сам будет принимать парад,— сказал Жуков.— Он волевой. И он сначала, как видно, собирался. Пробовал. Неудачно.

Я поняла так, что Сталин пробовал тренироваться в верховой езде, но неудачно и отказался от намерения принимать парад. Ведь в те годы иначе, как верхом на коне, парад не принимали. И за несколько дней до парада Сталин вызвал Жукова, неожиданно для него спросил, не разучился ли он ездить на коне.

«— Нет, не разучился.

— Вот что, вам придется принимать парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский.

Я ответил:

— Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.

И. В. Сталин сказал:

— Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе».

«Без трех минут 10 я был на коне у Спасских ворот».

Рокоссовский скомандовал: «Парад, смирно!» И на десятый удар часов на Спасской башне, под гул аплодисментов маршал Жуков выехал на белом коне на Красную площадь. Оркестр грянул «Славься» Глинки. И весь цвет воевавшей армии, той, что выжила, замер перед ним. Доблестные маршалы, генералы, майоры, рядовые. Потом он поднялся на трибуну на Мавзолее и стоял рядом со Сталиным, и фотоаппарат запечатлел их.

Автор этого снимка известный фотокорреспондент Е. Халдей, побывав у Георгия Константиновича уже в последние годы его жизни,— вручал ему фотографии,— рассказал мне. Глядя на этот снимок, где он и Сталин рядом на Мавзолее на параде Победы, Жуков вспоминал: лил дождь, и он хотел поднести к фуражке руку, смахнуть с козырька воду, но глянул на Сталина — и не посмел. Сталин терпеливо и недвижно стоял под струйками воды, стекавшими с козырька его фуражки.

6

Еще когда теща приходила звать Машу обедать, Жуков спросил:

— Скажите, чтобы нам подали кофе. Будете кофе пить?

— Буду.

Через некоторое время она сама принесла небольшую салфетку сурового полотна, расстелила на столе, за которым мы сидели, поставила перед нами по чашке кофе, тарелочки и блюдо с печеньем «птифур» — так оно называлось до войны.

Мы пили кофе, продолжая разговор.

— Сталин не мог от меня скрыть,— упрямо сказал Жуков с какой-то солдатской отрешенностью. С этим ему не просто было сжиться.— Я знал все его мысли. Я раз сто с ним обедал. Я работал в его доме, когда он болел. Я с ним был очень близок, как никто, до конца сорок шестого года, когда мы поссорились,— последние слова он сопроводил улыбкой.

Может, напрасно я постеснялась спросить, в чем заключалась та ссора, из-за чего. Неловко было прервать его таким вопросом, да и мог ведь замкнуться. Как бы там ни было, иноходный белый конь с триумфаторски выехавшим на нем кавалеристом маршалом Жуковым, которому шел сорок девятый год всего, оказался тоже раздражителем из тех, что привели к разрыву.

Спросила лишь:

— Вы пишете о Сталине?

Ответ был утвердительный.

Георгий Константинович напоминал мне, чтоб брала печенье, и сам ел, а когда допил кофе, попросил еще и чая, справившись у меня, не выпью ли и я. Я отказалась.

Его теща, не старая, средних лет,— сутуловатость как-то по-домашнему круглит спину,— взяла у него опорожненную чашку и вернулась с ней, наполненной крепким чаем.

— В начале войны у Сталина не было достаточных знаний, только опыт гражданской войны. Но он подучился после Сталинграда. Его Гитлер обманул. Сталин не хотел воевать. Мы были не готовы. У нас до тридцать девятого года настоящей регулярной армии, по сути, не было — территориальные призывы. Сталин не хотел воевать. Он готов был, по-моему, на уступки... Когда поступали данные, что немецкие дивизии группи-

руются тут, Сталин ему написал. Гитлер ответил — я читал,— что он дал слово, что его слово есть слово. Заверял, что это для других намерений. У нас полагали — для операции «Лев».

Операция «Лев» — это план вторжения немецкой армии в Англию, было известно, что оно напряженно там ожидалось в это время.

«Все его помыслы и действия,— пишет Жуков о Сталине тех предвоенных дней,— были пронизаны одним желанием — избежать войны и уверенностью в том, что ему это удастся»; «никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки». Должно быть, и Генштаб, который с февраля 41-го возглавлял Г. К. Жуков, следовал ему, и вместе с разведывательными данными о готовящемся нападении немцев на стол подавались прогнозы, опровергающие эти данные, отодвигающие в некую даль нежелательную войну.

Сейчас, когда пишу, обращаюсь к размышлениям Стендаля, служившего в войсках Наполеона, о том, что государству и правителю «опорой может служить только то, что способно сопротивляться, и что представительные учреждения, не оказывающие противодействия, когда это необходимо, на деле не существуют».

Жуков написал, что не стремится «снять с себя долю ответственности за упущения того периода».

Допив чай, Георгий Константинович принял прежнюю позу — нога на ногу, и та, что закинута, чуть покачивается в свободном пространстве между столом и окном, обутая в мягкий мокасин. Руки, сложенные одна поверх другой, покоятся на колене. Иногда небольшие, ограниченные жесты руки принимают участие в беседе. Или положит руку на стол и движением пальцев как бы скрепляет сказанное. А потом снова ладонью прикроет кисть другой руки, лежащей на колене, и в такой предпочтительно спокойной позе продолжает разговор. Говорит все так же мерно:

— Конечно, он уничтожил... Всю головку армии уничтожил... Мы вступили в войну без головки армии. Никого не было. Этого, конечно, нельзя простить.

Я сказала, что беззакония наложили печать на все и что это позор. Жуков не возражал.

Зазвонил телефон. Он поднялся, прошел наискось в глубь зала, где у противоположной стены, справа от буфета, был аппарат. Сказал в трубку кому-то: «Она на дежурстве». Я поняла, что речь шла о жене и что она, по-видимому, врач, как и подтвердилось потом.

Он вернулся и продолжал разговор...

— Правда, Гитлер обманул Сталина,— сказал он, имея в виду, что немцы сфабриковали и подбросили документы, «уличавшие» Тухачевского в сотрудничестве с ними.— Но как он мог не вызвать, не поговорить!

«Гигант военной мысли,— назвал он М. Н. Тухачевского в своей книге,— звезда первой величины в плеяде военных нашей Родины».

Я снова сказала о беззаконии и его трагических последствиях для страны. Жуков соглашался. Чувствовалось, он глубоко пережил XX съезд партии.

После смерти Сталина, в 1953 году, маршал Жуков был переведен из Свердловского военного округа в Москву, назначен заместителем министра, а вслед за тем министром обороны СССР. Был членом Президиума ЦК партии. Он снова работал в полную меру своих возможностей.

Но уже восемь лет, как он снят со всех постов, выведен из состава Президиума и из членов ЦК партии, не избран депутатом Верховного Совета СССР — полностью отстранен от всякой государственной, партийной и общественной деятельности. Оставалось прошлое — годы героической славы. Ими он связан со Сталиным.

— Неверно пишет этот посол,— сказал он, желая как-то уравновесить только что высказанное.

— Майский?

— Он. Что Сталин был растерян — неделю никого не принимал. Шла работа по перестройке всего, поэтому не принимал. А насчет того, что он не выступал, так Молотов был председателем Совнаркома. А Сталин вообще часто не выступал. Надо было немного времени, чтобы посмотреть, как пойдут события. Поэтому он первый раз выступил третьего июля. А растерян он был два часа... Два часа был в полной растерянности. Два часа не принималось никаких решений. Ничего не предпринималось.

Два часа начавшейся войны, два часа неотданного приказа на ответный огонь на борьбу, сопротивление. Два часа гибели войск, самолетов, не поднявшихся

с аэродромов, населения... Два часа полной растерянности, когда Сталин все еще не мог поверить в «вероломство» Гитлера, стоили неисчислимых жертв и обеспечили немцам успех продвижения.

Как драматично переданы в книге Жукова эти часы ожидания разрешения Сталина начать ответные действия. Когда почти через четыре часа наконец начали передавать в округа директиву наркома обороны — отбросить и уничтожить противника, то, как пишет маршал Жуков, «по соотношению сил и сложившейся обстановке, она оказалась явно нереальной и не была проведена в жизнь». Было поздно.

7

Сад отступал от окна, понемногу погружаясь в глубокие сумерки, пока его совсем не поглотил осенний вечерний мрак. Я лишь мельком подмечала, в окно не поглядывала, прикованная к своему собеседнику.

Он говорил доверительно, охотно, с потребностью высказаться о неотступном, сокровенном и, как мне показалось, еще не проговоренном.

— ...Положение было отчаянным. Вы себе даже не представляете, какое. Ведь ничего решительно не было: ни стали, ни порохов. Ничего. И ведь бралось откуда-то. Откуда только что бралось. Как чудо. При мне пришел Малышев: «Нет нужной стали». Надо было танки выпускать. Сталин как посмотрел на него. «Почему вы мне сообщаете? Ищите! Вы задание получили? Выполняйте!» И представьте себе — нашли! 300 тысяч тонн. Пишет: «Имеется 300 тысяч тонн стали. Прошу разрешить использовать». Это фундамент Дворца Советов. Сталин резолюцию: «Разрешаю. Войну выиграем, построим заново». Это только он так мог [1].

Я спросила, было ли у Сталина личное обаяние.

— Нет,— твердо сказал Жуков и покачал головой.— Скорее наоборот, он был страшен. У него, знаете, какие

---

[1] Фундамент Двора Советов закладывался на месте разрушенного в тридцатые годы храма Христа Спасителя. Храм строился около пятидесяти лет в прошлом веке в «благодарность Богу» за победу над Наполеоном и «на память последующим векам». Но фундамент для строительства Дворца Советов, как ни насыщали его металлом оседал ненадежно на той неблагоприятной почве, где выстоял храм. Строительство законсервировали. В решающие дни фундамент невоздвигнутого Дворца шел на танки. После войны здесь бассейн «Москва».

глаза были. Какой взгляд — такой, колючий... Иногда он бывал в хорошем настроении. Но это бывало редко. Когда успех в международных делах или военных. Тогда он мог даже петь, иногда. Не лишен был юмора. Но это бывало редко. К нему, как на ужас, шли. Да, когда он вызывал, к нему шли, как на ужас.

Я привожу эти слова полностью, чтобы остановиться и отдать дань стойкости Георгия Константиновича Жукова. С первого дня войны, представая перед Верховным Главнокомандующим на ежедневных докладах, он отстаивал свою оценку событий, свой план действий. Ему выпало испытать «всю тяжесть сталинского гнева», как он пишет. «Чувствуя свою правоту в том или ином спорном вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко возражать Сталину, на что никто другой не осмеливался»,— свидетельствует в своих мемуарах генерал Штеменко. Об этом же пишут Рокоссовский и другие военачальники.

Жуков говорил снова неторопливо, негромко, а меня переспрашивал иногда: «Что?» — и мне приходилось говорить громко.

Меня предупредили, что он слегка недослышит. Я думала, это пришло с возрастом. Оказывается, еще в первую мировую войну он перенес тяжелую контузию с поражением слуха, в гражданскую был ранен в руку и ногу, а во вторую мировую в своих коротких письмах домой, теперь уже опубликованных, он нет-нет да признавался, что плохо слышит, ноет нога, побаливает голова. Едва ли кто видевший тогда на фронте волевого, энергичного, необычайно мобильного Жукова мог догадываться об этом. Куда только не бросала его Ставка. Он мгновенно появлялся на самых ответственных участках войны. В павшем Берлине он говорил Константину Федину: его шофер насчитал, «что я с ним 175 000 километров наездил за войну. Это выходит, сколько раз вокруг света? А я ведь не с ним одним ездил... Три самолета сносились, как башмаки».

Множество людей работало с Г. К. Жуковым в штабах, наблюдало его в разных ситуациях войны и мира, воевало под его началом в дни величайших событий, в дни его полководческих свершений. И лишь совсем немногие, вот как я сейчас, видели Жукова в трудные годы его замкнутой жизни.

Он коснулся в нашем разговоре неблагополучного состояния Сталина после войны. Я спросила, не был ли Сталин болен.

— После войны, возможно, был. Он потрясен был войной. Он сам говорил мне в сорок седьмом (не оговорился ли Жуков, назвав этот год, перед тем ведь он говорил, что в сорок шестом рассорились): «Я — самый несчастный человек. Я даже своей тени боюсь». Войной он был потрясен. Берия его изводил, запугивал. Что какой-то агент перешел границу с заданием убить его.

— Чтобы демонстрировать, что он его ограждает, спасает? — спросила я.— Чтобы самому укрепляться?

Жуков подтвердил, что с этой целью.

— Действовал он при этом через кого-нибудь. Не сам. Большей частью через Маленкова. Я сам был свидетелем этому.

Как-то Жуков ехал со Сталиным.

— Стекла в машине вот такие. (Он показал пальцами толщину стекол — сантиметров примерно в десять.) Впереди сел начальник личной охраны Сталина. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее место. Я удивился. Ехали так: впереди начальник личной охраны — Власик, за ним — Сталин, за Сталиным — я. Я спросил потом у Власика: почему он меня туда посадил? «А это он всегда так. Чтобы если будут спереди стрелять — в меня попадут. А если сзади — в вас».

В разгар этого разговора появилась опять Маша из сада, в пальто, в вязаной шапочке. С разбега — к отцу, еще на расстоянии показывая в приоткрытой ладошке яйцо.

— Нашла — заинтересованно включился он, на равных деля с ней ее занятия и радости.

Она утвердительно кивнула и, не задерживаясь, проворно метнулась к буфету.

Я спросила:

— Чье это? — Мне оно показалось маленьким, чуть ли не голубиным.

— Куриное,— удивился моему вопросу Георгий Константинович.— У нас десять курочек. Завели. Ей так интересно. Она так радуется, когда найдет,— с какой-то особой углубленной серьезностью говорил он.

Он прожил так масштабно, что дробное, житейское едва ли попадало раньше в его поле зрения.

И вот десять курочек...

А живая, сероглазая, с ясным лбом девчурка мчится к сказочно-гигантскому буфету и как ни в чем не бывало кладет на него найденное яйцо.

— Меня Сталин спас,— сказал он вдруг хмуровато.— Берия и Абакумов хотели меня уничтожить.

Перерыли у него в кабинете, вскрыли сейф. Обнаружили кое-что, не то оперативные карты минувшей войны, не то что-то еще в том же роде — все отыгранное, устаревшее, однако предписанное сдавать. Состряпали дело. За хранение в нарушение предписания материалов он получил выговор или строгий выговор (не расслышала четко).

Мне показалось, он со своим прямодушием искренне полагает их действия независимыми, не санкционированными в той или иной степени.

Арестовали работавших с ним генералов, в том числе члена Военного Совета I Белорусского фронта генерала Телегина.

— Но антисталинский заговор Жукова соорудить им не удалось,— сказал с живостью.

Я спросила, пишет ли он обо всем этом в своей книге. Жуков промолчал. Потом сказал:

— Я вот дал прочитать две главы одному редактору (похоже, что редактору «Военно-исторического журнала». Он как раз держал в руках этот журнал, снова взяв его со стола). Он сказал: «Это бесценно. Но печатать невозможно. Кто ж разрешит».

Говорил он об этом, отчасти гордясь написанным и чувствуя себя просторно в работе,— еще не приступали к редактированию, еще не изведал затруднений при прохождении рукописи и той знакомой литераторам ситуации: кто ж разрешит. Настроен был как-то эпически сдержанно, хотя не мог, наверное, не сознавать драматизма молчания. Уже главнокомандующие союзников и немецкие генералы написали свои мемуары. Многие наши известные военачальники — тоже. И некоторые из них — с нареканиями в его адрес, благо он пока что безответен.

Я спросила, охватывает он только войну в своей книге или все предыдущее тоже.

Он — полууклончиво:

— И то и другое. Еще не окончено.

И добавил твердо:

— Героики у меня не будет. Как солдаты, офицеры совершали подвиги, этого у меня нет. Пишу о том, что было в моей сфере. Когда я читаю, как командующий фронтом пишет о том, как офицер с пулеметом отстре-

ливался или еще что в таком роде,— так это он прочел, сам он этого не видел. Это не в сфере командующего фронтом. Надо писать о том, что ты сам знаешь.

— У нас такое пишут о войне, что читать невозможно,— сказал он.— Взять историю Отечественной войны. Ее нельзя читать. Ее заново писать надо.

Он говорил, что неверно пишут у нас о немецкой армии.

— Принижают. Еще неизвестно, как бы все пошло, если б с нами одними им воевать: они не учли, что им придется воевать на два фронта — с партизанами.

— Такой армии никогда не было. Ни в одной буржуазной стране,— продолжал он.— Растянули фронт, когда к Волге вышли,— разжижили, ослабили. Это, понятно, обречено.

Но это то, что касается их генштаба. А солдат и офицеров немецкой армии Жуков очень высоко оценил.

— У нас их изображают карикатурно, принижают. А это неверно. И с какой же стати так делается? Против кого мы воевали? Мы воевали против сильнейшей армии. Таких солдат и офицеров не было. И они ведь до последнего воевали. Сопротивлялись. Вот уже капитуляция. А они решают сдаваться не нам, а союзникам и уходят организованно, пробиваются.

Заговорили об опубликованных воспоминаниях одного военачальника, и Жуков о них с возмущением:

— ...Ведь это сухость. И ведь как написано. Совершенно несамокритично. Ни одной ошибки у него нет. Операция осуществляется вся как по-писаному. Ни единой ошибки. А как бы это освежило. Если б взглянуть на это как следует. А какой он тяжелый человек, это я хорошо знаю. И как это он не сказал ни разу о своих ошибках! Его два раза снимали. Он под Вязьмой фронт открыл,— настойчиво говорил он.— Шестьсот тысяч попало тогда к немцам, погибло. Шестьсот тысяч человек по его вине. И он ни слова об этом. Нигде ни слова. Как будто и не было. Он немцам на Москву путь открыл, все было оголено. Вы не представляете, что было. Оголено было все вплоть до Москвы. Его Сталин хотел под военно-полевой суд отдать. Я вступился: «Он еще пригодится. Пусть у меня замом будет»...

Жуков с негодованием отвергал такой характер воспоминаний, при котором течение военных событий сглажено, очищено от драматизма, не знает ошибок, провалов, катастроф. И можно было понять, что, говоря это, он в противовес такой гладкописи опирался на свои соб-

ственные мемуары, которые уже заканчивал к этому времени. Возможно, в первом варианте они содержали больше тому примеров. Но о просчетах в Берлинской операции есть в изданной книге, есть и о других ошибках.

Когда вышла эта книга, с именем ее автора на переплете, с посвящением советскому солдату, она вызвала огромный интерес и поток читательских писем маршалу Жукову. К тому времени он уже не был прежним затворником, и у него бывали корреспонденты, сотрудники музеев, издательства.

За весь долгий разговор Жуков ни разу не сказал: «Я принял решение» или, что тогда-то при критических обстоятельствах он выстоял или одолел немцев, как это и было. А ведь я, его слушатель, из цеха пишущих. Но он не заботился о том, чтобы произвести впечатление. А если ошибаюсь, то делал он это очень складно, так что заметить не пришлось.

Вот уже ряд лет он вынужден молча издали наблюдать, как исчезало или пригорбливалось, ущемлялось его имя, заслуги, престиж. Не публиковались его фотографии[1]. Но об этом он ни слова. И с естественным достоинством ни слова о своих заслугах.

Он только раз похвалил себя, вернее, свою память. И то в косвенной связи,— порицая одного военного, который, как Жуков говорил, приписывает в своих воспоминаниях Сталину выступление, которого на самом деле не было. Тут он сказал:

— У меня память хорошая, исключительная. Это сейчас что-нибудь могу забыть. А то, что было, я все помню. Потом по документам сличишь — точно.

— Мы тогда разыгрывали войну с Германией,— сказал он. (Это была стратегическая, командно-штабная игра).— Незадолго до войны. Я был командующим немецкими армиями. Я нанес три удара. Точно, как потом по «Барбаросса». «Военные могут быть свободны»,— сказал тогда на Политбюро Сталин. Поднял руку и голову опустил.— Жуков изобразил.— Так всегда он, прощаясь.

---

[1] Я бывала в то время и позже в музее Вооруженных Сил. Посреди зала Победы — застекленный китель маршала Рокоссовского, тот, что был на нем, когда он командовал парадом Победы. Но следов маршала Жукова, принимавшего этот парад, в зале Победы не было.

Это в том смысле, что на Политбюро, где подводились итоги штабной игры, Сталин не выступал, во всяком случае, при них, и тут погрешил против правды осуждаемый им мемуарист. Мне же показался интересным рассказанный им факт о штабной игре. И то, что потом, в Берлине, Жуков, некогда «командовавший» «немецкими армиями», и Гитлер в своем бункере — на таком сближении, каждый со своими штабами и планами.

Я сказала об этом. Он прислушался молча. Ничего не сказал.

— Вы читали Еременко,— спросил о воспоминаниях, в которых тот пишет, что в разработке Сталинградской операции, в руководстве боевыми действиями участвовали только Хрущев и он, Еременко.— Это неправда... Я его спросил: «Как же ты такое написал?» А он: «Меня Хрущев попросил». А мне, кто бы ни сказал, я бы не написал неправду.

В это вернулось.

Он был полон решимости стоять на своем. Сказано это им было 2 ноября 1965 года, когда он уже заканчивал мемуары, а подписаны они к печати лишь 24.XII.1968 г. Между этими двумя датами Жуков намытарился с книгой. И, больной, мучимый страстным желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из книги, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось. К примеру: «Героики» у меня не будет,— говорил с каким-то даже вызовом.— Пишу о том, что было в моей сфере...» Но «офицеры с пулеметами» и отличившиеся рядовые, присутствие которых в мемуарах военачальников в ранге командующих фронтами он осудил, как материал, взятый напрокат, заимствованный из книг, а не тот первородный, которым владеет мемуарист и ради которого лишь берется за перо,— чьим-то усердием появились кое-где в его книге, похоже, из раскавыченных донесений политотделов.

Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги.

Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии.

9

По мере того, как текло время нашей встречи, она становилась непринужденней. Разговор в его трудной части давно миновал. Георгий Константинович держался все контактнее. Теперь он часто наклонялся ко мне через стол и оживленно пересыпал слова улыбкой. От улыбки лицо прояснялось, глубоко сидящие глаза как бы выходили из хмурой засады, были ближе к собеседнику, смотрели расположенно, внимательно. Никакой черствости в лице — живой, неокаменевающий, еще молодой Жуков.

— У немцев приказ был следить, где Жуков,— сказал он.— Я ведь поэтому шифровки Сталину подписывал — Константинов. Сейчас, если найдете их, и не поймете, что Константинов — это я. Константинов без инициала. А у меня командир корпуса был Константинов.

Я рассказала, что мне как переводчику было вменено выспрашивать у немцев, в особенности если офицер попадает в плен, их оценку наших слабых и сильных сторон. Мне не раз называли наши преимущества: танк Т-34, выносливость солдат, Жуков...

Он выслушал сосредоточенно, о чем-то думая.

Порой было слышно — где-то в глубине дома звонит другой телефон, раза два появлялся пожилой, очень худой мужчина в черном костюме. Не глядя в нашу сторону, проходил краешком зала, держась у стены, скрывался в проем, ведущий в кухню, и снова возвращался оттуда. Вероятно, кто-то свой или из обслуживающих.

Жуков снова сказал, что пишет сейчас о Берлинской операции.

— Я ссылаюсь там на вас. На «Конец Гитлера...» — И запнулся, улыбнувшись и стараясь припомнить, как там дальше в этом мудреном названии моей книги, которым наделило ее АПН для распространения за рубежом.— «Конец Гитлера без мифа и детектива».

Я не спросила, на что именно ссылается он. Возможно, он имел в виду как раз ту ссылку, которую потом мне зачитала по телефону его редактор.

Тут еще раз зазвонил телефон в зале, и Жуков снова поднялся, грузноватый, но шел неотяжеленно через весь зал к так далеко стоящему аппарату.

Вернувшись, спросил, улыбаясь и не скрывая любопытства:

— А вас как же АПН не закабалило по договору?

Его занимало, что моя книга, помимо АПН, выходит в другом издательстве для советского читателя. Тогда как его рукопись всецело принадлежит теперь АПН.

Я объяснила ему, что у меня еще до предложения АПН об издании моей рукописи за рубежом был договор с «Советским писателем», о чем АПН было известно.

Просил прислать ему упомянутую мной в разговоре мою новую повесть, которая вот-вот должна была появиться в ноябрьском номере «Нового мира».

Я глянула на часы.

— Засиделась я. Наверное, вы утомились.

Он сказал:

— Ну, на первый раз...— В том смысле, что в самом деле для первого раза вроде бы достаточно поговорили.

Но не отпускал. И видно было — не наговорился.

Посидели еще, поговорили. Он спросил, дам ли я ему тот документ: его — Сталину, об обнаружении мертвого Геббельса (то есть копию, разумеется).

Я пообещала.

Поднявшись уходить, я сказала, что мне лестно, что его заинтересовала моя работа и что я ему помогу охотно, чем смогу, но не потому, что от этого может зависеть судьба моей книги. Посмотрю среди документов, нет ли чего еще, что может ему пригодиться.

Мне пришлось также сказать, что в документах, подписанных им в те неулегшиеся, бурные дни, вкрались описки, и я могла бы обратить на них его внимание. Жуков охотно принял мое предложение[1].

— Вот мы и встретились,— и повторил сказанное им в первые минуты встречи: — Это все же что-то еще...

---

[1] Так, например, в сообщении от 3 мая 1945 г. на имя Сталина, подписанном маршалом Жуковым и членом Военного Совета фронта генералом Телегиным, говорится, что покончивший с собой Геббельс обнаружен «на территории имперской канцелярии рейхстага». Были и еще подобные фактические ошибки. Ясно, что Жуков подписал документ, лишь бегло проглядев его. (Это тоже свидетельствует о том, как далек он был от круга вопросов, освещаемых в сообщении.) При внимательном чтении он не мог бы не заметить этой и других оплошностей. Хотя командный пункт фронта находился от Берлина довольно далеко, но оперативные карты, можно сказать, еще не остыли — Берлин пал накануне,— и на картах было отчетливо видно, что два разных здания, рейхстаг и имперская канцелярия, отстоят друг от друга на пятьсот метров и между ними проходила разграничительная линия соседствующих армий штурма. (Кстати, уже позже этот документ был полностью приведен в опубликованных мемуарах одного военачальника без комментариев.)

Эта дважды им повторенная фраза в начале и в конце нашей встречи (о том, что увидеться — это «что-то еще» сверх знакомства по прочитанной книге) — единственное за весь разговор расплывчатое, незавершенное суждение и тем емкое, в каком-то другом ряду стоящее.

Мы шли по ковру, потом по половику, застелившему паркет, к стеклянным дверям, ведущим из зала. Здесь протекла наша беседа, длившаяся более четырех часов. И хотя мое внимание было прнковано к Жукову и отчасти сковано им, я знала, что уношу с собой и этот зал, его облик, предметы.

Мы уже вышли в прихожую. Говорили о писателях. Он сказал, что знает лично Симонова, Смирнова и Кремлева. Похвалил военную прозу Симонова.

— Мы с ним знакомы с Халхин-Гола, я армией командовал, а он был тогда еще молодой, начинающий журналист. «Товарищи по оружию» слабее, а «Солдатами не рождаются» — тут он расписался.

Эту вещь Жуков очень похвалил.

— А как вам?

Я только начала читать тогда и ответила уклончиво, что собираюсь прочитать целиком.

— А я читаю, и у меня ничто не вызывает возражения,— сказал он.

Помолчали. Вроде повисло что-то несказанным. Ведь для него, наверно, была странной эта наша встреча. Он коснулся старой тайны, сокрытия ее от него, непосвящения. Хоть и амортизированный временем, ощутимый укол.

Пока подавал пальто и я одевалась, расспрашивал заинтересованно:

— У вас семья, дети?

— Дочь. Муж.

— Ну раз дочь, то и муж.

— Бывает всяко.

— А муж чем занимается?

И обрадовался, услышав, что муж — тоже литератор. В этот момент, видимо, для него прояснилось неясное, как это женщина сумела справиться с книгой. Ведь существует представление, что за каждого пишет кто-то другой. И не сдержался, не без лукавства спросил, как мы работаем.

— Каждый сам за себя,— поняв его, ответила я, как есть, но тоже включаясь в игру.

— А на машинке как же? Кто же из вас печатает? — все любопытствовал весело.

— Раньше я печатала работы мужа, теперь сам научился.

— Приезжайте подышать воздухом,— говорил он. Был сейчас прост, мил. Житейский человек.— У вас дачи нет?

— Нет.

— Значит, и забот нету. Это не моя дача. Я живу здесь двадцать пять лет. А где же вы летом живете?

— В Звенигороде снимаем.

Название этого известного старинного подмосковного городка ему ничего не говорило.

Он попросил еще раз насчет документов:

— Когда подготовите, позвоните, мой адъютант заедет к вам за ними.

Жуков вышел проводить меня на крыльцо, без пальто, в одном костюме.

— Простудитесь.

— Я здоровый,— сказал он.

Черная машина стояла у самых ступеней. Шофер, выходит, все это время не отлучался от машины.

Спустились к машине. Вверху на открытой террасе, расположенной над крыльцом, появились Маша и бабушка, громко, оживленно прощались со мной, редчайшим в то время посторонним посетителем дома.

Там, наверху, возможно, все по-другому, уютнее, теплее.

Шофер спросил «товарища маршала» своим низким с хрипотцой голосом насчет того, когда подавать завтра.

Жуков спросил наверх:

— Маша завтра поедет?

И, получив утвердительный ответ от тещи, сказал шоферу, когда ему прибыть.

Последнее рукопожатие Жукова. Машина тронулась. Маша и бабушка махали мне. Фары осветили прямую асфальтовую тропу. По сторонам ее темный, неразличимый сад. Луч полосиул по глухому, неосвещенному двухэтажному дому, где прежде жила охрана. Не выключая фар, шофер остановил машину, открыл ворота, вернулся. А потом, по ту сторону ворот, снова вышел закрыть их. Было странно, что в этой осенней, кромешной теми нигде здесь и не чуялось присутствие сторожа.

Я поделилась с шофером последним вынесеным впечатлением:

— Георгий Константинович, слава богу, еще крепок.

И он поддержал и добавил от себя что-то еще утвердительное.

Не могла я представить себе, что через шесть дней у Жукова случится инфаркт, что я, вероятно, последняя из неблизких ему людей, кто видел его таким еще здоровым, бодрым, в лучший за предшествующие годы момент его жизни: он заканчивал книгу, в работе над ней снова переживая войну, он был счастлив в личной жизни, он, как мне показалось, надеялся вернуться к государственной деятельности.

Выехали на кольцевую. Шофер в своей старой шляпе сосредоточенно вел покряхтывающую машину. Старый ЗИС.

— На таком же Сталин ездил,— сказал он.

Даниил Гранин

ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой — первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного Комитета Обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовались глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощни-

камн Косыгина. Ну, а сам Косыгнн? Сам-то как,— волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная, проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такне вопросы в голову не приходнлн, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета Мнннстров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгнн был тоже заместителем Председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило — а еслн спросить у самого Косыгнна? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы запнсывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать как обыкновениого блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва ои высмеял нас. Это было легче, чем возразнть. Мы настанвали, н воистину — «толцыте и отверзится»,— вскоре он призадумался, закряхтел и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагалн, что Б-ву для этого стонт снять трубку н по ихней кремлевской вертушке позвоннть своему бывшему шефу: так, мол, и так. Все же почти фронтовые кореши, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможностн слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, иеизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двннулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решилн, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у ннх положена такая таинственность н постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уже не рады былн, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрнть. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.

Однажды Б-ов позвонил мне в Ленннград и попроснл назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день

было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?..

Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина»,— подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-м да-а,— протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линялые его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? — я недоуменно уставился на него. «Нельзя»,— повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? — Это можно. И предупредил, что когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то проце-

дура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: «Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову — пойдем посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле ше велятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился.— Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрягу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов,— как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск

удержать ие удалось. Немецкие армнн двигались на город с иескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управленне фронтамн. Вечером комиссня подвела нтогн. Несколько военных советов — Северо-Западного направлеиня, города, красиогвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать еднный Военный совет, выделнть самостоятельный Карельскнй фроит, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасностн, угрожающей Леннинграду, ие заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышлениости.

Формулнровки Косыгииа былн сдержаны. Можио было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкиулись, например, с фактами агитацнн н иастроений тех дней, когда отъезд из города счнтался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покннем своего города!», и это затрудияло органнзоваиную эвакуацню.

Комиссия должиа была определнть, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взанмодействие армни и Балтийского флота. А за всем этим подннмался грозный вопрос — удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкне варианты. Если ие удастся,— что делать тогда с флотом, с иаселеннем, с городом?.. Назавтра разбилнсь иа группы. Молотов заиимался Смольиым, Берня — НКВД, Косыгии — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвоинмся». Косыгин остался оргаиизовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводамн иадо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошнлова тепло, устроили ему товарнщескнй обед, так что все было по-человечески,— подчеркнул Косыгии,— а не так, как нзображеио в иекоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появлеиие его иа передовой подинмало войска».

Мне вспомннлось августовское наше отступлеине и сентябрьские бон под Леииииградом, уход из Пушкина. Связн со штабами не было, снаряды ие подвознли, обстаиовки иикто ие знал, офицеры комаидовалн то так, то эдак. Легеиды о Ворошилове вызывали иасмешку, даже ругань: где-то, мол, ои поднял солдат и повел их в атаку.

На кой нам эта атака н этот вояка!.. Два месяца боев иас многому научили, мы поималн, что если командующий фроитом ведет в атаку, то никакая это ие доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательио рухиул, мы оставилн Пушкни, мы просто бежалн. На иашем участке противник мог без всякнх препятствнй идти до самого Лениинграда. Таково было наше солдатское разумеине, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулкова.

Я мог бы кое-что еще выложнть Косыгнну про комаидованне Ворошилова, до чего оно довело, н как переменнлось иа фроите, когда пявнлся Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает воеииого дела н не знает про Ленинградский фроит. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видио, ему самому интересио было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Леннנграду (это уже в яиваре 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированиых. Память у него сохраияла фамнлии, количества продуктов, машнн, названня предпрнятнй. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он нспытывал, вспомнная. Бесстрастный голос его смягчался, его уноснло в какие-то отступлення, которые вроде н не относнлнсь напрямую к нашей теме. Но оии были нитересны ему самому. Одно из иих касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых крнтнческих дией войиы. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатнческий корпус, отправилн артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей осталнсь Сталии, Маленков, Берия и он, Косыгии. Между прочим, оргаиизуя отправку, Косыгнн иазначил Нниколая Алексеевича Вознесенского главиым в правительствеином поезде. Возиесеиского такое поручение рассерднло, характер у иего был крутой, его побаивалнсь, тем более что он пребывал в любимцах у Сталиа. Сталии его каждый вечер приннмал. Вознесенский пригрознл Косыгину, что пожалуется на это дурацкое иазначение. Следует заметить, что Вознесенскнй был уже каиднддатом в Политбюро, а это миого значнло.

— Я не отступил, н Вознесенскнй вскоре сдался: черт с тобой, буду старшнм. А я не боялся, мы с ним друзья с леннинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слыхал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеймили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949—1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии,— наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского,— не разберипоймешь. Убрать Вознесенскго устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49—50-х годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или не-

чаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его миновало? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно прибранном лице.

— За что же его так,— начал я про Вознесенского,— если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело,— двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где будешь Новый год встречать? «Не знаю». «Давай у меня дома». «Хорошо, но я с Попковым приду». «Годится». Договорились, поехали к Вознесен-

скому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает — каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну,— сказал я.— Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников?

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул.

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь? Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитает? Боится?

Исподлобья по-новому я озирал громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития,— не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч, уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист — такое упрощенное определение не годилось. Он вспылил необязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый

жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высовывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись»,— подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, были обожествление, надежда, радость свершений,— сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? — спрашивают молодые.— За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить излишества приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятнадцать раз больше: из города — людей, а в город — муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда — назад.

Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом

не без фроитовой небрежностн. Хлопотиая была работа, на иогах, без кабииетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей,— и тех, кого вывознли иа Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездиые месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, нссушенных голодом трупов, аккуратно, по расписаиию наступающих бомбежек, воя сиреи, артиллерийскнх обстрелов, сиа в душиом, затхлом бомбоубежище Смольного. Страниая вещь: для большииства блокадииков, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озареиа счастлнвым состояиием духа. Ннкогда оии ие дышалн такой вольностью, была подлинность отиошеиий, люди кругом открылись. Это, казалось бы, иевозможиое сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадиых стихах, н Дмнтрий Сергеевич Лихачев в свонх запнсках: «Только умирающий от голода живет настоящей жнзнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвоваиие».

В Леиинграде Косыгнн был сам себе хозяии, был избавлеи от каждодневного гиета, хоть отчасти, но свободеи. Поэтому ему вспомнналось ииаче, с прнзиательиостью. Мотался по заводам, отбирал стаикн, прессы, приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в райоиах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами — с Фииляндского вокзала, а дальше пересадить иа автобусы н туда, иа тот берег, а там тоже наладить прием, кормленне, медициискую помощь и отправку этнх сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощиых людей, с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежией жизни в глубь страиы. Отладить систему взаимодействия воеииых с мнлицней, с медиками, с железиодорожииками...

Вдруг ои спохватился, прервал рассказ: иет, нет, все делалось совместио, разумеется, совместио с Военным советом или же с горкомом партин. Произиоснл отчетливо, словио бы ие только для меия.

...Тем более совместно, что кругом былн друзья-товарищи: и А. А. Кузиецов (с иим в иекотором роде родствеиииики), и Яков Капустни, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вериувшись с войиы. Слой, что отстоялся после Кнровского дела. Когда убилн Кнрова, тоже произошлн массовые репрессии в Леиннграде, почтн все оии погиблн, ле-

нинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не уять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся,— всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда; одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят! — сердито недоумевал он.— Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства: большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинград-

ского обкома — и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? — вот что мне захотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были,— известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не помянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку.— Никаких разногласий быть не могло... Не могло,— повторил он, настаивая.— Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными,— как бы невзначай бросил он.— Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне,— подстанция, распредустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением у самых шин вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито

жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедлением, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле.

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу! Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделится... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете! Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше,— людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно,— ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то и другое,— сердито настаивал Косыгин.— А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло,— было же что-то, кто-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали

в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться, в Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он подинмал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут,— это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы,— говорит,— летели из Москвы, чтобы порадовать

своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили: что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посменвались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кое-что как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слыхал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладоге. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл, как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил проведать их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напряг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора была подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

— Только геройство признает,— сказал Косыгин.— Знаток,— и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится,— обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем»,— должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно! Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке ра-

стекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросики ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать: Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того? Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выспрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели не известно, что литература имеет дело с человеком, а не с организа-

циями! Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель, называется насочиняют с три короба, а разобраться в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно: не посмел вступиться за нашу книгу! Да какая она, наша, она — голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, пошли бы мне навстречу, похлопотали бы за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее взахлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасте, пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему,— принято будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это, знаете, как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять,— сказал Б-ов, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то некстати? Потому и таили. И все-таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом — душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они.

— Ладно, не унывай,— отходчиво сказал Б-ов.— Наука будет.

— Ох, и большая у вас наука,— сказал я.— Далеко видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы... Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! — сказал я.— Вы же были там, вам смерть была нипочем...

— Все относительно,— сказал Б-ов.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении.— Взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине: написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, н е с м е ю. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный.

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освобождать нас.

Олег Ермаков

АФГАНСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Мягкие полевые дороги выносили их на макушки холмов и опускали в сырые низины, и небо то приближалось, то стремительно уплывало вверх, небо с редкими облаками и жаворонками, плещущими крыльями.

Парень в потертой и замасленной замшевой кепке ехал чуть впереди, он был проводником, он несколько лет ездил и ходил по этим дорогам, он знал на этом пути все повороты, все придорожные деревья и холмы. Он крутил педали и посматривал через плечо на спутницу.

Мягкие дороги несли их по зеленым холмам и зеленым полям, в небе стояли облака, желтело солнце и плясали жаворонки. Он глядел через плечо на нее и растягивал толстые губы, и она улыбалась в ответ. Он думал: это, конечно, здорово, что она с ним, что она увидит наконец-то эти места, здорово, но лучше бы одному ехать. Он привык один. Сперва не по себе было, особенно ночью: птица какая-нибудь крикнет, ветка упадет, или прошуршат чьи-то шаги, но потом страх прошел. И однажды он убедился, что лучше одному: проболтался однокласснику про Кофейные пруды, и тот напросился в спутники, и все было скверно — одноклассник говорил, говорил и смеялся громко, жадно удил карасей, пытался подбить камнем утку, запросто срубал живые осины и твердил, что в лесу нечего бояться, лес — это группа деревьев, и все было скверно, и все было не так. Конечно, она не одноклассник. И все-таки.

Они переехали железную дорогу — облитые мазутом шпалы, хрусткая насыпь, черные шляпки костылей и узкие зеркальные полосы, уходящие вдаль,— и он подумал: да, скоро. Их опять подхватил мягкий проселок, и опять они выплывали на лбы холмов и съезжали в пахучие сырые ложбины.

Да, скоро, думал он. Через три дня. Всего-то. И — на два года. Сапоги, казармы. Ну, это ерунда — два года, это не двадцать пять лет, как при Царе-Горохе.

Он опять засомневался, правильно ли сделал, что взял ее с собою. Что они увидят за один день? Чтобы везде побывать: в соснах, на Рыжей, на Лисьем холме, на прудах, в Деревне,— для этого дня мало. Один он мог бы ночевать и увидеть все. А с нею придется вернуться в город сегодня. Ее родители ничего не знают, уверены, что дочь утром ушла в институт и что после обеда до вечера она будет конспектировать какие-то труды в читальном зале институтской библиотеки. А она положила в портфель вместо учебников и тетрадей кроссовки, трико, футболку, хлеб и колбасу, пришла к нему, переоделась и вот едет рядом по мягкой дороге на велосипеде, который он одолжил у приятеля, старательно крутит педали, не просит остановиться, хоть с непривычки уже устала, и улыбается, когда он оглядывается. И футболка на ней уже сырая. Утро, но солнце горячее. Май.

Наезженная дорога свернула, а они покатили прямо. Они поехали по заросшей и зыбкой дороге, которая скоро ушла в болото.

Она послушно сняла вслед за ним кроссовки, закатала до колен трико и осторожно погрузила белые ноги в жирную и холодную трясину.

— А змеи здесь есть? — тяжело дыша, спросила она.

Он шел впереди. Он оглянулся и сказал:

— Змеи? Я три года здесь... я за три года — ни разу...— И замолчал, увидев слева на кочке коричневато-зеленый резиновый крендель. Молодая змейка бездвижно лежала на солнечной сухой кочке, можно было подумать, что она мертва, но ее глаза были влажны, и две солнечные точки горели в них.

Он отвел глаза от кочки и спокойно сказал:

— Нет. Это благословенные места, я же говорил.

На них, распаренных, обливающихся потом, напали комары, и они шлепали себя по лицам, передергивали плечами и спешили пройти болото. Трясина пузырилась, шипела и жвакала под ногами. Грязь была холодная, а воздух тепел, и солнце раскаливало одежду на спине и плечах.

Вот же, думал он, за три года ни одной змеи, а сегодня, в этот последний день... Он обернулся, скользнул взглядом по ногам спутницы... Она вопросительно посмотрела на него и состроила бодрую мину. Лицо ее было мокрое, красное, заляпанное кровавыми кляксами, на щеке темнел раздавленный комар.

— Сейчас выйдем,— сказал он.

Надо было одному. А теперь бойся, как бы не укусила змея.

Они перебрели болото, прошли немного по твердой земле сквозь ивовые заросли и оказались на поляне под косогором. Поляна была желта от цветущих одуванов. Здесь трудились пчелы и шмели, всюду над цветами вспыхивали стеклянные крылья, и слышен был тихий бархатный гудеж. Там, где поляна переходила в косогор и начинала плавно вздыматься, белело глинистое око. Родник пульсировал, и по его прозрачной поверхности расходились круги.

— Это он? Да? Бог Бедуинов? — Девушка бросила велосипед и пошла к роднику. Она склонилась над шевелящейся водой, замерла и беспомощно оглянулась. Он приблизился и посмотрел в родник. На белом осклизлом дне медленно ворочалась, как бы исполняя ленивый танец, дохлая лягушка. Он засучил рукав, погрузил руку по локоть в воду, вытащил лягушку и бросил ее в цветы.

— Однажды,— сказал он, вытирая руку о штаны,— я нашел в роднике серую птицу с выбитым глазом, видно, лунь или ястреб неудачно поохотился.

— Кровожадный Бог,— ответила она, брезгливо глядя в родник.

Он пожал плечами и склонился над водой. Напившись, он насмешливо посмотрел на спутницу. Она поджала губы и отвернулась.

— Пей, чего ты?

— Ничего. Мог бы не говорить про птицу.

— Но это было давно. Пей.

Во рту было горячо и сухо, как на родине этих бедуинов с верблюдами. Придумал же — Бог Бедуинов. Она улыбнулась.

— Пей,— повторил он.

— Пей, пей,— передразнила она, нахмурилась, пригнула голову, вытянула губы к вздыхающей воде. Потом, глядя на ноги и шевеля перепачканными пальцами, она сказала:

— Отмыть бы.

Он вынул из рюкзака кружку и принялся черпать воду из родника и лить ей на ноги. Она терла ноги и задыхалась от холода. Потом поспешно надела носки, обулась и попрыгала на месте, чтобы согреться. На ее лбу билась челка, и под футболкой вздрагивали груди.

Он отвел глаза, лег в траву и сказал:

— Отдохнем.

Она села поодаль.
Гудели шмели...
— А она как-нибудь называется? Ну, родник — Бог Бедуинов, а поляна?
Он ответил, что никак.
— А я бы эту поляну обязательно окрестила. Такая поляна.
— Как бы ты ее окрестила? — нехотя спросил он.
— Как-нибудь... что-либо в твоем духе.— Она наморщила лоб.— Шмелиная нива. А?
Он глядел сквозь ресницы в небо и молчал.
— Хорошо? — спросила она.
— Тут всюду.
— Что? — не поняла она.
— Нива. Тут много всяких полян с цветами.
— Ну, не хочешь, как хочешь,— откликнулась она и отвернулась.
Обиделась. Надо было что-нибудь сказать, но солнце жгло кожу сквозь рубашку, и язык был тяжел, и веки были тяжелы, и ни о чем не хотелось думать, и ничего не хотелось. Он лежал и ничего не говорил. Она сидела и следила за полосатыми толстыми шмелями. Шмели садились в одуваны и бродили в тычинках, как в желтом мягком лесу, шмели нектар сосали.
Две светящиеся точки, коричневато-зеленый резиновый крендель, ты могла бы не попадаться сегодня, в этот последний день, теперь ведь мне нужно бояться, как бы ты не укусила девушку; змея приподняла голову и тонко улыбнулась, он вздрогнул и открыл глаза, и вспомнил, что, кажется, девушка обиделась. Он сел и сказал:
— Да, пускай, это хорошо, пускай так.
— Ты о чем? — равнодушно спросила она и сощурилась. Она не глядела на него и отчужденно, презрительно щурилась.
— Ну, Нива Шмелей.
— А,— откликнулась она.— Спасибо за одолжение.
Он засмеялся. Девушка сердито взглянула на него. Он оборвал смех.
— Извини, но смешно,— пробормотал он.— Чего мы делим-то?
— Я ничего не собираюсь делить. Не надо ничем делиться со мною. И вообще я могу... дорогу теперь знаю.

Оиа почувствовала, что я сомиеваюсь, правильио ли сделал, взяв в это последиее путешествие ее. Мог бы и отказать, а ие отказал, мие хотелось с ией ехать, ведь так же? — так какого черта я дурака ломаю!..

— Ну, давай ие ссориться, чего мы, ей-богу, будем... из-за чего мы? Я просто ие выспался, что ли. Какой-то заторможеиный...

— Спи! Мешать ие буду.

— Я уже ие хочу. Я готов к труду и обороие. Поехали? Ты отдохнула? Ты очеиь устала? — суетливо спрашивал ои и заглядывал ей в глаза.— Хочешь еще воды? Прииести? Давай прииесу.— Он встал и сходил к родиику, и прииес кружку воды.— Пей. Это вкусиая вода. Я вкусиее ие пил. А ты пила вкусиее?

Девушка ие выдержала и, фыркиув в кружку, обрызгав его лицо, рассмеялась.

Оии вышли из лощииы иа пригорок, поросший золотистыми долгоиогими цветами. Оиа спросила, что это за цветы, какие-то очеиь зиакомые цветы, а иикак не вспомию... Ои ие успел ответить, девушка что-то увидела иа лугу и охиула.

Из перелеска иа луг — люди давио бросили здесь косить, и луг огрубел, зарос толстыми, раскидистыми, как сосиы, медвежьими дудами, полыиью, кустами — иа луг вышла лошадь. Оиа была приземистая, коричиевая, с выпуклыми боками, спутаииой гривой и толстыми ногами. Лошадь склоияла свою массивиую голову, рвала траву и медлеиио жевала, озирая луг. Накоиец оиа увидела людей. Лошадь перестала жевать и, навострив уши, раздувая иоздри, вглядывалась в две фигурки среди золотистых цветов. Оиа поияла, что это ие лоси, а люди, оттопырила губы, оскалилась, злобио заржала, развериулась и быстро затрусила в березы.

— Убежала.— Девушка говорила шепотом.— А откуда оиа тут?

— Ну, сбежала, может,— откликиулся ои шепотом, кашлянул и добавил громко: — Из какой-иибудь деревии удрала. Что-то ей ие поиравилось, и она удрала. Может, иадоело телеги таскать, и удрала.

— Ты говорил, здесь иет жилых деревеиь.

— Из какой-иибудь далекой деревии... Здорово?

— Да!

— А вообще здесь лосей тьма. И кабанов. Однажды за миой погиался.

— Кабаи?

— Да. Он был с семейством, а я вылез прямо на них, и он бросился, а вокруг только кусты, ни одного дерева. Но, видно, он не очень был сердит — отогнал меня и вернулся к своим.

— Представляю, как ты бежал.

— Я очень бежал. Я увидел, что он не гонится уже, но все равно бежал. А потом купил ружье. У одного барыги...

— Где же оно?

— А! — Он махнул рукой и перекинул ногу через раму, сел на седло и нетерпеливо посмотрел вперед. Девушка почувствовала, как было бы спокойно и хорошо с ружьем, и снова спросила: где же? Он ответил, что потерял, она спросила: где? Он кивнул в сторону: где-то, там где-то.

Они ехали по заросшей дороге. Высоко в небе летала птица. В болоте среди сплетения ивовых ветвей отстаивалась лошадь.

Высоко в небе парила птица. Это была старая, бурая, с пестринами на светлой груди хищная птица. Она описывала круги в синих толщах среди облаков. Далеко внизу серые, желтые и зеленые пятна кружились медленно; вспыхивали лужи. Воздушные потоки теребили перья и омывали серую голову с загнутым клювом. Внизу была переливчатая жидкая земля. Там шумели птицы и лягушки, звенели пчелы и комары, там было беспокойно и жарко. Старая птица плавала в синеве среди облаков, здесь было тихо и прохладно.

На краю болота в кустах таилась лошадь. Комары и слепни сновали по теплой горе, покрытой толстой потной кожей, и выискивали, дрожа крыльями, нежные места, и погружали в кожу хоботы, и сосали кровь. Мухи копошились в гноящихся ранках на крупе, ранки были симметричны, круглы и глубоки. Лошадь стояла в кустах, косила свои крупные черные глаза в сторону, втягивала напряженными ушами звуки весеннего душного дня, пришибала хвостом нажравшихся крови сосунов и дрожала, вспоминая людей среди желтых цветов.

В глубине болотных зарослей, между кочками, в теплых коричневых рытвинах чутко спало кабанье стадо. В норах Лисьего холма дремали барсуки и лиса с лисятами.

Они ехали по одичавшему лугу и глядели на высокий Лисий холм, поросший кустами,— он торчал над перелесками, и на его боку белело огромное пятно.

Они миновали луг, прошли, катя велосипеды рядом, низиной к полю, снова сели на велосипеды и вскоре подъехали к холму. У подножия холма они спешились и побрели в траве и цветах вверх.

Головки цветов колотили по щиколоткам. Вспугнутые пчелы и шмели, недовольно жужжа, срывались с цветов и, повисев перед лицами, отлетали нехотя в сторону.

Задул полуденный ветер.

Листва на кустах плескалась, и травы с цветами валились и вставали. Ветер сушил потные лица и холодил взмокшую одежду. Черные короткие волосы девушки метались и хлестали ее по лбу и щекам.

Они взошли на макушку холма. Девушка оглянулась.

Внизу бурлили зеленые лагуны, мигали бордовые, фиолетовые и лимонные точки и кляксы. В прозрачных толщах синего дергались жаворонки, и к горизонтам плыли осиновые и березовые острова, и вдалеке висели изумрудные холмы и еловые темные леса.

Черемуховый куст цвел на западном склоне, дул сильный ветер, и аромат черемухи был едва слышен на макушке Лисьего холма.

Он снял кепку, подставил ветру коротко остриженную бугристую голову и сказал, что иногда здесь ночует. Девушка промолчала. Он больше ничего не говорил, и они стояли, молчали и глядели вокруг с вершины легкого зеленого Лисьего холма.

Они спустились вниз, и он спросил, где она хочет побывать еще: на Рыжей речке, на Кофейных прудах или в Деревне? Она сказала: везде. Но нужно было выбирать что-то одно. Уже было три часа, они и так вернуться поздно. На Рыжей можно покупаться и позагорать. На Кофейных прудах сейчас живут журавли, она никогда не видела живых журавлей. А в Деревне, а про Деревню он говорил: о, Деревня! о, в Деревне! это рай, и все такое. В Деревне, сказала она.

Возле старой березовой рощи стояла Деревня. Сначала они увидели эти длинные толстые березы, а когда въехали на пригорок,— Деревню.

Деревня цвела. Цвели корявые вишни, цвели яблони, кусты сирени. Вокруг изб и на огородах тускло желтели вонючие венчики черной белены, пушились яичные оду-

ваны, розовел лабазник, золотилась пирамидальная льнянка. В крапиве висели пурпурные чашки окопника, и первоцветы вытягивали свои бледные губы. Возле замшелого трухлявого колодца цвел развесистый куст боярышника. Трещали скворцы и дрозды, щелкали, звякали, свистели, прыгая с ветки на ветку и соря белыми лепестками, серые лесные птицы. На бревнах изб с пустыми окнами зеленели мхи. На крышах, прогнувшихся, сползших набекрень, росли тонкие осины, березы и ромашки. Пахло цветами, зеленью, гнилью и плесенью.

— А я обжил баню. Вон на отшибе. Это моя хижина.— Он пытливо посмотрел на нее.— Хорошо?

— Здесь? — растерянно спросила она и оглянулась.— Да. Только...

— Что?

— Только как-то... непривычно просто. Это из колодца так пахнет?

— Да. Я беру воду из ручья. В роще ручей.

Они прошли по короткой деревенской улице мимо серых истерзанных изб, мимо огородов и садов с торчащими кое-где из зеленых лохм ветхими плетиями.

Над дверью бани-хижины висела коряга.

— Это Охраняющий,— сказал он, и тогда девушка разглядела кривой рот, редкие толстые волосины и пустой глаз во лбу.

Скрипнула дверь, и они вошли в хижину. Привыкнув к сумраку, девушка увидела печь, железную кровать с рваным матрацем, набитым соломой, стол, застекленное оконце и полку под потолком,— там круглились свечи, лежали спички, пачка соли, стоял чайник, кружка с ложкой, котелок. Пахло плесенью и давним дымом.

— Так странно,— пробормотала она.

— Обед будем готовить на улице,— сказал он, снимая с полки котелок и чайник.

Он отправился на ручей. Девушка села на лежак и сразу почувствовала себя разбитой и уставшей. Есть не хотелось, хотелось лечь и вытянуть отяжелевшие зудящие ноги... Она прилегла и задремала.

Когда она вышла на улицу, он уже разводил костер. Он чиркнул спичкой и зажег растопку, пламя всосалось в сухие дровины и вырвалось миг спустя вверх, и забило в дно чайника и котелка с водой.

— Ты и зимой здесь бываешь? — спросила она, опускаясь на корточки перед костром.

Он кивнул.

— Странно здесь,— сказала она.— Хорошо, ио както странно. Как ты иашел все это?

— За грибами как-то поехал и иабрел иа пруды. Карасей, подумал, небось... Еще раз приехал со сиастями. Действительно — карасей!.. И — вот.

— Но как же ты ружье посеял. Плохо без ружья. Волки всякие. И люди могут... Какой-ибудь беглый. А? Здесь часто бывают люди?

— Нет, болото отпугивает. Но иногда грибника можно... Ну и зимой охотники бегают на лыжах за зайцами.

— Зимой— у-у как, да? Здорово, да? Метель, волки, а ты печку топишь.

Вода в котелке забурлила. Он хотел засыпать крупу, но девушка попросила: дай я все сделаю,— и ои отдал ей соль, ложку, прикрученную к пруту проволокой, крупу в мешочке и банку тушеики. Оиа сыпаиула в кипяток три горсти крупы и щепоть соли и, отворачивая от жаркого костра лицо, прииялась помешивать варево ложкой иа пруте. Ои сидел напротив, глядел в огоиь и думал: вот через три дня, вот иа два года. Ну ладно, это ие двадцать пять лет. И ие война. Это еруида — два года.

Крупа разбухла и стала белой. Девушка вытряхнула из банки в котелок тушенку и перемешала розовые куски с кашей. Она сияла котелок и чайиик с жерди, в чайиик насыпала заварки. Утерев красиое мокрое лицо, оиа взглянула иа него: ловко я все делаю, правда?

Они обедали в хижиие перед оконцем. Они молча ели дымящуюся кашу с чериым мягким хлебом и смотрели в оконце. Потом пили чай. Девушка думала: иеужели где-то есть город? неужели только сегодня они выехали из города?

С улицы донесся резкий и сухой злобиый вскрик, девушка поперхнулась и закашлялась, и тревожно посмотрела иа хозяина хижины.

— Это сапсан. В роще живет. Редкая птица.

Девушка кивиула. Но страх стоял в ее глазах. Выждав немного, она сказала:

— А все-таки ружье... с ружьем... как же ты так?

Одностволка шестиадцатого калибра лежала под толщей ила иа дне одного из семи Кофейиых прудов. Он иехотя ответил:

— Потерял.

— Врешь? — осторожно спросила она.

— Нет.

— Врешь,— сказала оиа.— Сразу видно. Тебе лучше иикогда ие врать. Это сразу всем видио будет.

— Что ты прицепилась к этому ружью?

— Ничего. Просто лучше было бы.

— Не лучше. Я это знаю... Я утопил его.

— Да?

— Что ты так смотришь? Что тут такого? Мое ружье, я купил его и патроны у барыги, потом взял и утопил.

— Зачем?

— Надоело. Даже палка раз в год стреляет. А уж ружье тем более. Даже когда ие хочешь ни в кого стрелять.

Оии помолчали. Девушка вздохиула.

— Жалко? — иасмешливо спросил ои.

— Ага,— откликнулась она.— Через три дия ты уйдешь в армию, и там тебе дадут уже ие ружье, а граиаты и автомат.

— А, ты вон о чем...

— Я проиицательиая. Проиицательиая?

— Проницательиая. Ну, дадут, так что ж... Три раза на стрельбище — и все. Знакомый вериулся из армии, говорит: за два года три раза иа стрельбище — и все. По фаиериым людям.

— Но оии могут послать...— Девушка запиулась.

— Куда?

— Куда захотят, туда и пошлют служить. Могут отправить... иа эту войну. Могут, Витя?

Он пожал плечами. Налил в кружку чаю, отхлебиул... Он забыл об этой войие. Как-то совсем забыл. Газеты о ией говорят иевиятио, сквозь зубы. Не поймешь, русские то ли воюют там, то ли деревья сажают и детские сады строят...

Опять крикиула старая птица, и тут же доиесся далекий тугой звук. Через мгиовеиие звук повторился.

— Гроза? — спросил себя иеуверенио ои, встал из-за стола и вышел иа улицу. Девушка растеряиио и радостио улыбиулась и тоже вышла.

Небо иад Деревией и рощей было чистое. По листве берез ударял то и дело сильиый ветер. Свежо было.

Солице стояло уже иа западе. Оио косо освещало зелеиое поле, крапчатые стволы берез, гиилые, провалившиеся крыши, чериые обрывки плетией и белые сады.

— Вон,— сказал он и ткнул пальцем в небо над рощей.

— Это и есть сапсан?

Над рощей кружила птица с бурыми крыльями и пестрой грудью.

— Слышишь,— сипло сказала она и откашлялась,— как сады запахли?

— К дождю,— ответил он, не глядя на нее.— Надо собираться... Дороги развезет...

«В Индии... эти тропические ливни... неделями».— Она беспомощно глядела в небо над рощей, но небо все было чистым.

— Хорошо тебе было? Понравилось?— спросил он.

Она молча кивнула.

— И без ружья не очень страшно? — спросил он, улыбаясь.

Она покачала головой.

— Хочешь, мы вернемся через два года?

— Хочу.

— Надолго.

— Хочу.— Она заставила себя улыбнуться.

— Уходим,— сказал он и вернулся в хижину. Он собрал ложки и кружки, взял котелок и чайник и пошел на ручей.

Она стояла все на том же месте и глядела, как он идет к березам, как он идет между берез... Его заслоняли стволы и кусты, и снова он показывался и скрывался... Нужно было самой помыть посуду, думала она и не двигалась с места, и не окликала его. Он уходил все дальше, делался все тоньше и призрачней. Солнце светило на березы. Резко чернели на белых стволах трещины, наросты и крапины. Над рощей кружила старая хищная птица.

Край тучи повис над рощей.

Он выбежал из рощи, заскочил в хижину, оставил там вымытую посуду, вышел, взялся за руль велосипеда.

— Пошли!

Она покорно пошла за ним. Она хотела сказать: сейчас дождь начнется, давай останемся и переждем, что родители? ну что, что родители... пускай родители... я не хочу думать о родителях. Она молча шла за ним.

Они вышли на деревенскую улицу, сели на велосипеды и поехали.

Дождь побрызгал немного и перестал. Жаль, что в России не бывает этих тропических ливней, которые льются днями, неделями и месяцами,· подумала она.

Она оглянулась, когда поднялись на взгорок.

Тучу сносило на юг. Над рощей и Деревней небо синело. В Деревне белели сады. Наверное, там опять трещали и цокали серые лесные мелкие птицы, трещали и цокали, прыгая с ветки на ветку и соря лепестками.

«Н-СКАЯ ЧАСТЬ ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ» 1981

Батальоны днем и ночью штурмовали горы Искаполь в провинции Газни. Гаубичные и реактивные батареи, самолеты и узкие быстрые пятнистые вертолеты обрушивали на горы тонны металла. В холодном осеннем воздухе пахло порохом, пыль заволакивала солнце и звезды. Днем прилетали вертолеты за трупами и ранеными. Ночи были безлунные и звездные. Ночью транспортный самолет кружил высоко над горами и сбрасывал осветительные бомбы,— они распадались на несколько оранжевых солнц; покачиваясь, шары медленно опускались, озаряя ущелья, скалы, вершины и степь у подножия гор, где стоял походный лагерь полка. Пехота шла вверх, били крупнокалиберные пулеметы, рвались мины, хлопали скорострельные гранатометы. Оранжевые солнца гасли, пехота залегала. После короткой передышки в степи зычно кричали артиллерийские офицеры и начиналась артподготовка.

Мятежники крепко сидели в пещерах и гротах. В этих горах у них была крупная база, ни в воде, ни в пище, ни в медикаментах, ни в боеприпасах недостатка не было, они дрались дерзко и умело.

Смолкли реактивные установки и гаубицы. Стало слышно, как под звездами тоскливо и глухо трубят моторы транспортника. Пехотинцы лежали на камнях, утирая потные грязные лица и прикладываясь заскорузлыми губами к фляжкам. Ждали, когда вверху зашипят осветительные бомбы.

Было тихо, темно.

Пехотинцы отдышались, напились воды, остыли,— была осень, днем солнце пригревало, а ночью воздух был ледяным, и солдаты быстро высыхали после атак.

Ждали.

Что-то на транспортнике медлили. Пехотинцы начинали привыкать к тишине.

Прошло еще несколько минут, и над их головами зашипело и треснуло — вверху зажглись осветительные бомбы. Ротный крикнул: рота! вперед! Рота встала и пошла вверх. Сверху забили из пулемета, красные пули стучали бойко по камням, рикошетили и уходили вверх и в стороны. Пехотинцы перебегали от скалы к скале, пуская короткие очереди, лицам было жарко, а в животах стоял холод. Одна из раскаленных струй врезалась в бегущего человека, он свалился, это был ротный, он вырыгивал кровь и выгибался, потом замер, он был мертв. Лейтенант принял командование ротой. Атака возобновилась. Лейтенант вел роту к вершине, где за гребнем сидели мятежники. Мятежники проигрывали вершину, у них смолк крупнокалиберный пулемет, они стреляли из ружей и автомата. Бой шел на всем хребте. На соседней горе рвались мины. Рота подступила вплотную к вершине и забросала гребень гранатами, автомат и ружья замолчали. Выждав, лейтенант первым кинулся наверх, увлекая за собою солдат. За валунами была ровная площадка, здесь стоял станковый пулемет, вокруг него лежали пустые металлические кассеты и четыре тела, изрубленные осколками. Пятый уползал вниз. Лейтенант нагнал его и пнул ногой, мятежник перевернулся на спину и поднял вверх разбитые руки Лейтенант, приказав солдатам оттащить его на площадку, вышел на связь и доложил комбату о потере и о взятии вершины. Комбат приказал оставить на занятой высоте несколько пулеметчиков и ударить с севера по соседней вершине. На горе остались четверо, рота пошла вниз.

Оставшиеся солдаты напились, закурили.

Раненый с измочаленными руками и пробитой ногой скулил. Неподвижно лежали четыре тела, из них еще высачивалась кровь. Пулеметчики всасывали горький дым. Были довольны, что их оставили здесь. Может, нынче все кончится, и им не придется больше лезть на рожон. Утром полк, нагрузившись трофеями, отправится домой, в палаточный город. Там баня, чистые постели, трехразовая кормежка, письма, каждый вечер фильмы, получка, в магазине — сигареты с фильтром, апельсиновый джем, печенье, сгущенное молоко, индийский кофе, виноградный сок; там в библиотеке Таня, хоть она и не смотрит на солдат, зато можно глядеть на нее, у нее

красные губы, полноватые ноги с черными завитушками волос, крупные выпуклые ягодицы, она потливая, и ее блузка мокра под мышками и на спине, можно хоть каждый день ходить в библиотеку смотреть и обонять аромат Таниных духов и пота. А ротный теперь на веки вечные лишен всего этого. Он мертв? Его ничто не брало, ни пули, ни желтуха, ни тиф. Однажды он спустился вдвоем с солдатом в кяриз, они прошли с фонариком по подземному коридору, коридор резко повернул, и они увидели мятежников, открыли огонь и кинулись назад, первым на веревке вытащили солдата с простреленной икрой, потом живого и невредимого ротного. И вот ротный мертв.

Сигарета приятна, курить бросают идиоты. И пить. Трезвенники — олухи. Можно год жизни отдать за бутылку водки после операции. Округлая такая, тяжеленькая такая бутылка чистой горькой водки. Вымывшись в бане, ты наливаешь в солдатскую кружку чистую горькую водку. Ее привезли в бензобаке из Союза, она стоит тридцать чеков, дорого, но что поделать. Так вот: наливаешь. То, что ты налил в кружку, стоит примерно семь чеков, почти месячная зарплата рядового. Ну и черт с ней. Зато ты становишься человеком на полчаса, и нет ни скуки, ни страха, мозги искрятся, и два года — это тьфу!

Стрельба стихла на всем хребте, передышка наступила.

— Смотреть в оба, мужики,— сказал сержант, возглавлявший группу.

Пулеметчики и так смотрели в оба.

Вверху гудел транспортник. Хорошо летчикам. Не артиллеристы боги, а летчики в черных кожаных шлемофонах и голубых комбинезонах. Впрочем, им тоже достается. Мятежники любят охотиться на самолеты. Экипажи сбитых самолетов и вертолетов чаще всего попадают в плен. А хуже восточного плена ничего быть не может. Мятежники умеют умерщвлять медленно, в час по чайной ложке смерти. Труп прапорщика Воробьева рота нашла на вторые сутки, прапорщика в распухшей сизой туше с седыми волосами сумел узнать только ротный. Не дай бог попасть в плен. Нет, боги войны не артиллеристы, не летчики, а штабные. Хотя и они погибают, редко, но гибнут, все-таки они в войне, а не над. Боги — в стороне и над.

— Сейчас артиллерия жахнет,— сказал один из пулеметчиков хриплым голосом.— Как бы нас не накрыли. Сдуру-то.

— Лейтенант выходил же на связь,— откликнулся сержант.

Замычал пленный. Все посмотрели на него. Пленный кутал руки в длиннополой рубахе, по ткани расползались пятна.

— Ротного-то... убили,— сказал сержант.

Ему никто не ответил.

У пленного зудели и горели раздробленные кисти. Ему мерещилось, что руки грызут стаи мохнатых фаланг. Фаланги рвали своими загнутыми клещевидными зубчатыми челюстями кожу, мясо, сосуды и хрящи. Их было много, своей тяжестью они тянули руки книзу. Пленный лежал, прислонившись к валуну, и прижимал руки к груди.

«Ротного убили»,— подумал сержант и еще раз посмотрел на пленного.

Пленного била дрожь.

«Забинтовать ему руки, что ли?» — подумал пулеметчик Гращенков, раненный в бедро в один из первых дней службы.

Под звездами уныло трубили моторы невидимого транспортника.

Сейчас заработают реактивные установки и 122-миллиметровые гаубицы, и все запылает, затрещит, закачается,— сейчас...

— Вон летит,— сказал в тишине охрипший солдат.

Солдаты пошарили глазами по небу и увидели мерцающие точки,— далеко в стороне над степью шел самолет; кажется, это был пассажирский самолет, он летел с севера на юг, он плыл в черном небе беззвучно, на крыльях и брюхе вздрагивали сигнальные огни, наверное, он шел в Пакистан или в Индию.

Солдаты смотрели на пульсирующие огни.

Сержант скрючился, зажег спичку за пазухой, прикурил. Остальные, почуяв дым, тоже закурили, пряча сигареты в кулаках. Было тихо.

Было тихо. Может быть, все кончено? Мятежники сдались, и сейчас дадут отбой, и утром батальоны вернутся в полк.

Пленный заскулил громче. Все посмотрели на него. Гращенков снял с плеча вещмешок, развязал его и вынул индпакет. Остальные подумали, что он решил под-

крепиться, и, почувствовав голод, тоже стащили свои вещмешки, достали галеты, консервы и сахар, вскрыли штыкножами банки. Запахло сосисочным фаршем. Гращенков разорвал пакет, и в его руках забелели бинты и тампоны. Сержант перестал есть и уставился на него.

— Что? — спросил сержант.

— Перевяжу.

— Отставить.

— Это почему?

— Нечего тратить,— сказал сержант.

— Ладно тебе. Я свое трачу.

Остальные ели фарш, трещали галетами, оглядывали черные склоны горы, косились на сержанта и солдата с бинтами и молчали.

— Гращенков, ты не понял? — спросил сержант.

Пленный лежал с закрытыми глазами, он ничего не слышал. Гурии в прозрачных платьях, пританцовывая, вели его под руки по зеленой горе вверх,— там, в сени бледно-розового Лотоса, лежали правоверные с чашами в руках, они пили чай и с улыбками глядели на гостя; от Лотоса исходил аромат, вокруг Лотоса выгибались радужные фонтаны, над Лотосом парили белые птицы...

Артподготовки не было. Транспортник сбросил осветительные бомбы.

— Нет, я перевяжу,— сказал Гращенков, вставая и направляясь к пленному, но его опередила очередь.

Солдаты посмотрели на оранжевое лицо с разорванным ртом, выбитым глазом и свернутым набок носом.

— Мог бы потом,— проговорил охрипший солдат, пряча недоеденный фарш, галеты и сахар в мешок. Второй солдат отвернулся и поспешно очистил банку, выбросил ее, облизал ложку, сунул в рот ком сахара и приложился к фляжке.

Между тем бой на хребте возобновился. Пулеметчики ждали зеленую ракету, нацелившись на соседнюю вершину, к которой сейчас подкрадывалась с севера рота. Небо было оранжевым, горы были оранжевыми, густо чернели тени и складки. По склонам прыгали огни и вились красные струи, хлопали гранаты. Ни о чем не думая, пулеметчики из пехотной роты лежали в настывших камнях, глядели на соседнюю вершину, над которой пересекались трассирующие очереди, и ждали.

— Заблудилась рота, ушла по распадку к черту,— предположил охрипший солдат, но тут же, словно торопясь опровергнуть его, вверх ударила светящаяся струя,

и зеленый сияющий ком повис над склоном соседней горы.

— Огонь! — азартно скомандовал сержант.

Пулеметчики открыли огонь по соседней вершине. Рота, идя по склону, тоже вела стрельбу, а по южному склону наступала другая рота, и с запада по мятежникам били ручные пулеметы.

— Отпрыгались,— сказал охрипший солдат.

Но мятежники продолжали отбиваться.

Над пулеметчиками просвистели пули.

— Да отпрыгались же,— повторил охрипший солдат, втыкая в соседнюю вершину длинные очереди, и вдруг замычал, привстал, выгибаясь и стараясь выдрать скрюченными пальцами огонь из спины, и упал.

Сержант оглянулся и увидел сзади, на середине склона, темные фигурки, он дал очередь по ним и взвизгнул, когда острый и невидимый коготь вспорол плечо. Гращенков и второй пулеметчик развернулись и, держа пулеметы на весу, начали поливать очередями склон.

— За камни! — крикнул сержант, переваливаясь за гребень. Второй солдат тоже перемахнул через гребень и залег.

— Гращенков! — крикнул сержант.

Гращенков попятился, выронил пулемет, прижал руки к груди, сел на корточки и мокро закашлялся. Второй пулеметчик подполз к нему, дернул за полу бушлата, повалил его и перетащил за гребень. Он вынул индпакет, разодрал его, достал бинты и тампоны. Гращенков лежал на спине, беспрестанно вытирал окровавленные губы и молчал. Он смотрел в оранжевое небо и молчал. Боли не было. Было туманно и томно, как если бы один выпил бутылку водки. По камням стучали пули. Солдат приложил к его губам тампон — белая подушечка сразу набрякла и потемнела. Солдат торопливо расстегнул на Гращенкове бушлат и липкую хлопчатобумажную куртку. Наконец пришла боль, Гращенков застонал и закашлялся, черный тампон слетел с губ. Солдат принялся утирать бинтом его шею и подбородок.

— Да перевяжи его,— сказал сержант, но солдат продолжал стирать с лица Гращенкова выкашливаемую кровь.

— Отстреливайся! Я сам! — крикнул сержант, подползая к Гращенкову и отпихивая отупевшего солдата. Солдат схватил пулемет и нажал на спусковой крючок. Сержант взял свой индпакет, вытащил бинт и тампоны, нашел на груди Гращенкова булькающие дырки и,

морщась от боли в плече, начал перевязывать Гращенкова. Кое-как он перевязал его. Гращенков затих, вытянулся и стал быстро деревенеть.

— Все,— сказал сержант и осторожно ощупал свое горячее и сырое плечо.

— Надо уходить, пока не окружили! — крикнул солдат, откладывая пулемет и берясь за автомат.— Диски пустые!

— У Гращенкова есть!

Но вещмешок Гращенкова лежал по ту сторону гребня, по которому часто щелкали пули.

— Уходим! В распадок! — крикнул солдат и пополз вниз. Сержант, кряхтя от боли, последовал за ним.

Они спустились до середины склона, встали и, пригибаясь, побежали, но вокруг запрыгали красные пули, и они упали. Стреляли сверху и снизу, из распадка, куда они бежали. Сержант и солдат начали отстреливаться.

Вскоре осекся и замолчал автомат сержанта, потом автомат солдата.

— Что делать, Женя?

Сержант молчал.

— Ты жив, Женя? — позвал солдат.

— Гранаты... есть? — спросил сержант.

— Нет.

— На.

— Что это?

— Бери.— Сержант вложил в его руку гранату. Со второй гранаты он сорвал кольцо. Прижимая белую металлическую планку взрывателя к ребристому корпусу, сержант сунул под живот кулак с гранатой.

— Ты что... Погоди,— сказал солдат, отползая в сторону,— не надо...

Сержант лежал на животе и молчал. Вверху зачернели фигурки — люди крадучись спускались вниз по склону. Под сержантом щелкнул взрыватель, раздался утробный взрыв, сержанта встряхнуло и перевернуло на бок. Мятежники открыли огонь. Оставшийся в живых пулеметчик положил гранату на землю, выхватил из кармана носовой платок, замахал им над головой и закричал:

— Дуст! Хватит! Не надо! Не стреляй! Мондана бощи... хуб ести! [1]

---

[1] Дуст — друг; мондана бощи хуб ести — традиционное афганское приветствие.

ЗИМОЙ В АФГАНИСТАНЕ

В длинной и высокой палатке горела керосиновая лампа, она стояла на тумбочке в дальнем углу, там старослужащие играли в карты. Лампа багрово освещала табуретку, на которую падали карты, освещала лица игроков, струйки сигаретного дыма, освещала солдата, застывшего в проходе между двухъярусными койками.

Посреди палатки взмыкивала круглая железная печка, несколько молодых солдат, сидя на табуретках вокруг нее, помахивали «дедовскими» портянками — тореодоры на деревянных конях. Впрочем, трудно представить тореодора, который согласился бы сушить чужие портянки...

Кто-то дремал, полулежа на койке, кто-то лениво переговаривался; двое солдат, примостившись вблизи игроков, подшивали к воротам хлопчатобумажных курток полоски белой материи. Толстый солдат, задрав ноги в сапогах на спинку койки и сунув руки под голову, лежал и, глядя в сетку верхней койки, пел песни. Все песни были на один мотив, он их пел равнодушным негромким голосом,— машинально пел, думая о чем-то.

В палатке было тепло, сыро и пахло соляркой, табаком и грязной одеждой. Солдаты недавно поужинали и теперь, сытые и благодушные, дожидались вечерней поверки.

Толстый солдат пел: «Ни кола, ни двора, ни знакомой рожи. Водки нет, женщин нет, да и быть не может...»

Тореодоры неистово дразнили серыми вонючими тряпками печь, злобно раскрасневшуюся с одного бока.

Кто-то уже храпел.

Карты щелкали по табуретке. Старослужащие играли в дурака, они курили, отпускали реплики и не обращали внимания на тощего солдата, стоявшего рядом.

— Кажется, я останусь,— сказал плечистый рыжий парень в расстегнутой куртке. У него была выпуклая волосатая грудь, маленькая голова и длинные руки. Его звали Удмурт из Пномпеня. Он был русский из Удмуртии, и прежние «деды» прозвали его Удмуртом и почему-то из Пномпеня. Его и поныне за глаза так называли.

— А я на этот раз выкарабкаюсь,— с чувством сказал чернявый мелкий солдатик, белорус Санько, это фамилия у него такая была — Санько. Он бросил на табуретку козырную десятку.

— Ого,— сказал Остапенков.— Принял.

— А, ты принял,— пробормотал Удмурт из Пномпеня,— тогда живем.— И положил сразу две карты.

Сухопарый подвижный ушастый татарин Иванов впился своими круглыми ясными глазами в карты, покусал узкую губу острыми белыми зубками и побил эти две карты козырной шестеркой и червовой дамой.

Удмурт поглядел на глазастую даму с пышной прической и проговорил:

— Кого-то она напоминает.

— Валечку,— сказал Остапенков.

— У Валечки волосы темнее,— возразил Санько.

— Но глаза такие же, овечьи,— сказал Остапенков.

В дураках остался Иванов. Он собрал карты и начал ловко тасовать их своими цепкими сухими длинными пальцами. Остапенков похлопал себя по карманам, нашел сигареты, прикурил от лампы, затянулся и попробовал выпустить кольцо. Со второго раза получилось.

— Чарли Чаплин,— сказал он,— завещал миллион тому, кто сделает двенадцать колец и прошьет их струей, которая тоже должна превратиться в кольцо. Он был заядлый курец.

— Обалдеть,— сказал Удмурт.— Двенадцать.

— А что, если потренироваться? — Санько взял сигарету, прикурил и принялся пускать дым густыми порциями. У него ни одного кольца не получилось.

— Как раз миллион истратишь на курево, пока насобачишься,— усмехнулся Остапенков.

— Но, миллион,— ласково проговорил Удмурт из Пномпеня.

— Да, миллион,— повторил Остапенков и, выдержав паузу, быстро взглянул на солдата в проходе и спросил изменившимся голосом: — Так будем мы говорить, Дуля?

Солдат в проходе — его фамилию Стодоля переиначили в Дулю — смотрел на лампу и молчал. Это был послушный молодой солдат, с первых дней службы в полку ему, как и другим новичкам, вбили кулаками простую истину: если ты плюнешь на общество, оно утрется, а вот если общество плюнет на тебя,— утонешь.

Общество делилось на три касты: «чижей», «черпаков» и «дедов», у первых за плечами было полгода службы, у вторых — год, у третьих — полтора. Ни в какую касту не входили «сыны» и «дембеля»,— первые были внизу, под пятой общества, а вторые где-то сбоку, на обочине. По старой привычке «дембеля» могли потребовать среди ночи сигарету с фильтром или кружку воды

в постель, но не злоупотребляли этим и вообще вели себя сдержанно и старались лишний раз не повышать голоса,— они доживали в казарме последние недели, и все прекрасно понимали, что хозяева в казарме «деды»; «дедам» оставалось служить еще полгода, «деды» могли вдруг разозлиться, припомнить былые обиды и, подняв все общество, отомстить горстке «дембелей» — такие случаи бывали в полку.

Общество жило по своим особым законам, невесть кем и когда придуманным. В основе этих законов лежала диалектическая формула: все течет, все изменяется, и кто был никем, тот станет «дедом», это неизбежно, как крах империализма. И спорить с этим было трудно. Да никто и не спорил. Не разрешалось. И это был один из законов: молчи, пока не спрашивают. Спрашивать имели право представители высшей касты. И если они спрашивали, нужно было отвечать. Это был другой закон. И его сейчас нарушал остроносый глазастый солдат по кличке Дуля.

Он стоял в проходе, смотрел на лампу и молчал.

— У тебя есть еще,— Остапенков посмотрел на часы, до поверки оставалось сорок минут,— еще полчаса.

— Да что там! Все ясно,— сказал Санько.— Тэк-с, ходим под дурака?

Санько положил карту на табуретку.

Иванов побил ее.

— У меня,— он помолчал, косясь на Дулю,— у меня имеются кое-какие факты, факты,— повторил он.

— Да? — спросил Остапенков.

— Да.— Иванов выбил ногтями по табуретке дробь.— Но после, после.

— Не тяни, выкладывай,— нетерпеливо сказал Санько.

Иванов покачал головой.

— Послушаем, что он плести тут будет.

Толстый солдат, певший себе под нос, с грохотом сбросил ноги на дощатый пол, встал, накинул плащ-палатку и вышел. Через минуты две он вернулся. С плащ-палатки стекала вода. Он снял ее у входа и встряхнул. Прошел к своей койке, повесил плащ-палатку на спинку и принял прежнюю позу, только ноги в мокрых и выпачканных глиной сапогах драть выше головы не стал, оставил их на полу. Он полежал, помолчал и завел новую песню: «Отбегалось, отпрыгалось, отпелось, отлюбилось. Моя хмельная молодость туманом отклубилась...»

Солдат по кличке Дуля стоял перед игроками, безвольно опустив плечи и сгибая то одну, то другую ногу в коленях. Он глядел на лампу. Свет лампы казался ему жарким, и глазам было больно, но он не отрывал глаз от пламени за мутным стеклом. Глядя на пламя, легче было молчать.

Когда-то это было. Он не мог отделаться от этого чувства. Мерещилось, что когда-то это было.

— Воды,— сказал, не отрывая глаз от карт, Удмурт.

Дуля охотно пошел за водой,— на ужин была пересоленная перловая каша с мочалистой солеиой свининой, и его мучила жажда. Железный бачок с питьевой водой стоял на табуретке у выхода, он отвернул кран, набрал воды, быстро осушил кружку и хотел еще выпить, но Удмурт крикнул: чего ты там телишься! — и, нацедив воды, он вернулся и протянул кружку Удмурту. Удмурт жадно выпил воду.

Дуля опять застыл в проходе. Желтый свет лампы снова потек в глаза.

«Зря она все-таки»,— подумал он и тут же почувствовал стыд. Ему стало стыдно, что он так подумал, и стыдно потому, что он представил: она здесь, в этом длинном и темном жилище, она стоит где-то рядом и, ничего не понимая, глядит на него...

— Осталось двадцать минут,— сказал Остапенков.

Дуля поглядел на Остапенкова.

— Ну, что лупишься?

— Дать в лоб, сразу заговорит,— сказал Удмурт.

— Это успеется,— откликнулся Остапенков. Он хотел добавить, что дело тут непростое, но ничего не сказал, подумав, что это будет лестно для «сына» Дули. И так ему много чести оказано. С тех пор, как они прочли письмо, никто еще и пальцем не тронул Дулю, хотя он грубо нарушал один из законов общества,— не отвечал на вопросы старших. Не будь здесь Остапенкова, они бы, конечно, давно отлупили Дулю. Но Остапенков не давал. Его это дело по-настоящему заинтересовало. Было во всем этом что-то значительное и жутковатое. Они много раз допрашивали и наказывали, они потрошили молодых солдат, что называется до костей, узнавая все: как жили молодые в миру, кем работали, много ли девочек совратили, какой цвет глаз и рост у их сестер, родных и двоюродных, сколько литров было выпито на проводах в армию; у женатых вытягивали тайны первой брачной ночи. Уж, казалось бы, что может быть ин-

темнее и жутче первой брачной ночи? А тут Остапенков почуял: может. И это удивляло его.

— Ну, Дуля, смотри,— сказал Остапенков, тасуя карты. В этот раз он проиграл.

— Может, пускай сядет? — спросил Иванов.— Устал, да? Хочешь сесть?

Дуля нерешительно кивнул. Иванов вздохнул:

— Ну, тогда еще постой.

Удмурт, Санько и солдаты, слышавшие шутку, рассмеялись. Остапенков не смеялся. Его начинало бесить упрямство «сына».

Игра продолжалась.

Безумолчно выпевала свои огненные гимны печка. По палатке бил дождь. На дворе стояла зима, бесснежная, грязная, дождливая, с холодными туманами по утрам и ледяными полуденными ветрами.

Зимой служилось спокойно. Полк редко выходил на операции. В степях увязали даже танки, не говоря уж о колесной технике. Да и мятежники предпочитали зимой отдыхать,— высокогорные тропы и перевалы заваливало снегом.

Зимой было почти мирно, так, иногда какой-нибудь неугомонный вождь бросит свой отряд на дорожный пост где-нибудь в зеленой зоне,— зимой зеленые зоны, обширные виноградные плантации были белы и непролазны. Или мина сработает под колесом машины, идущей из Кабула с мукой или консервами в полк. Но с летней войной это ни в какое сравнение не шло. Летом полк проводил операцию за операцией. Летом по всей стране, в ущельях в заоблачных высях, в песках пустынь, в глиняных зеленых старинных городах, укромных кишлаках — всюду стреляли, всюду рвались мины и гранаты, сверкали по ночам трассирующие очереди, пылили колонны, грохотали батареи, рушились дома и вытаптывались хлебные поля. Летом было жарко, пахло полынью, на обочинах дорог свежо чернели сгоревшие машины и лежали облепленные мухами, вспухшие, смердящие ослы с белыми глазами. Летом было жарко.

Ну, а пока стояла зима. И солдаты занимались мирными делами, скучали, толстели, делались бледнее и румянее.

До поверки оставалось десять минут. Дуле надо было сказать «да» или «нет», но он молчал. Он боялся сознаться, понимая, что до последних дней службы ему не

дадут спокойно жить. Что происходит с человеком, когда внимание всего общества сосредоточивается на нем одном, он хорошо знал,— в полку было несколько «вечных сынов»: один неудачно стрелялся, другой пил мочу желтушника, чтобы два-три месяца провести в госпитале, третий разрыдался на своей первой операции. Они были посмешищем. Уже не общество одного подразделения, а союз обществ уделял им свое внимание. Любой едва оперившийся «чиж» мог остановить «вечного сына» и обозвать его или дернуть за ухо, или дать пинка, или заставить мыть полы в казарме, или чистить сортиры. «Вечные сыны» были вечно грязны и вшивы, они привыкли к своему особому положению, и, наверное, оно им казалось естественным,— скорее всего так, если они жили.

Но и сказать «нет» язык не поворачивался.

Раз я молчу, значит, да, со страхом думал он.

И потом это письмо. Он не успел его уничтожить. Письмо отобрал Иванов. Ей приснился скверный сон, и она написала это письмо, похожее на молитву, и в каждой строчке был Бог. «Деды» накинулись на Дулю с вопросами, но он молчал.

Иногда к нему приходила спасительная мысль: письмо написал не я, а моя девушка.

Чем дольше он молчал, тем труднее было молчать, и все страшнее что-либо сказать. И лучше было ни о чем и ни о ком не думать и ничего не вспоминать, но...

Пух реял в солнечном спертом воздухе над прохожими, газетными киосками, машинами; пух косо пролетал вдоль домов, касаясь пушистыми щеками каменных шершавых горячих стен, цепляясь за корявые края железных подоконников, и смело вплывал во все открытые форточки. Он хотел закрыть окно, но она сказала: пускай,— и окно было растворено, и в него влетал пух.

Покуда она варила на кухне кофе, он бродил вдоль книжных полок, занимавших две стены в зале, это была библиотека ее отца, хлебозаводского пекаря; там было много старинных книг, потертых, тяжелых, угрюмых; он высмотрел книгу с черной розой на корешке и раскрыл ее, это был сборник китайских поэтов эпохи Тан. Его насмешили заглавия стихов: «Изображаю то, что вижу из своего шалаша, крытого травой», «Рано встаю», «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы направлялся в Фынсянь», «Весенней ночью радуюсь дождю». Это было похоже на тополиные белые

комья, доверчиво льнувшие к серым домам и влетавшие во все раскрытые форточки, и было похоже на ребенка, бегущего от матери навстречу незнакомому прохожему, и на человека, который идет по людной улице и, думая о чем-то смешном, не может совладать с губами, глазами, щеками и улыбается. У поэтов были шуршащие, звенящие и шепчущие имена: Ян Цзюнь, Ханьшань, Ван Вэй, Лю Чанцин, а одно было слабым ветром или дыханием спящего — Ду Фу.

Они читали вслух. Сначала читали попеременно, но у него плохо получалось.

Сычуаньским вином
Я развеял бы грустные думы —
Только нет ни гроша,
А взаймы мне никто не дает,—

читал он, и это выходило как-то плоско и обыденно, как если бы подросток жаловался товарищу на родителей, которые отказываются купить ему джинсы или магнитофон. Он это почувствовал и больше не читал. Читала она. И стихи были тем, чем они были: вздохами, слезами, весенними дождями, жалобами, травами, птицами, горами, башнями, деревьями, водопадами и снежинками величиной с циновку. Потом она начала читать стихотворение Ду Фу «Прощанье новобрачной»,

У повилики усики весною
Совсем слабы.
Так вышло и со мною:
Когда в деревне женится солдат,
То радоваться рано...—

и вдруг замолчала. Она опустила голову и закрылась книгой. Книга в ее руках вздрагивала. Он поцеловал побелевшие пальцы, влипшие в обложку, и она разрыдалась.

Это был еще только июль, впереди было два с половиной месяца, он надеялся поступить в институт и всерьез не думал об армии и тем более о войне, но она плакала и бубнила, что все плохо и плохо. Но почему же? — спрашивал он, а она отвечала: я не знаю, не приставай ко мне, уходи, не мешай мне заниматься.

Был только июль, начало июля, он просиживал дни над учебниками, готовился к вступительным экзаменам и ясно видел будущее: пять лет они проведут в институтских аудиториях и библиотеках, потом поедут учительствовать в какую-то далекую деревню за еловыми лесами

и сизыми холмами; у них будет свой дом и свой сад, весною сад будет бел, осенью они станут собирать по утрам яблоки в корзины — вот и все. Правда, ей не хотелось в деревню. Но он был непоколебим. Еще в девятом классе он прочел «Житие протопопа Аввакума» и с тех пор был снедаем желанием как-нибудь положить жизнь на алтарь. Как положить свою жизнь на этот самый алтарь, он не знал, и мучился от мысли, что не найдет алтарь и впустую и скучно проживет. А в сердце тлели проповеди строптивца: «Опечалившись, сижу, рассуждаю: что делать? Проповедовать ли слово божие или скрыться гденибудь? Потому что жена и дети связали меня.

И, видя меня печальным, протопопица моя приступила ко мне с осторожностью и сказала мне: что ты, господин мой, опечалился?

Я же ей подробно сообщил: жена, что делать? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? Связали вы меня!

Она же говорит: господи, помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я — ты же читал апостольскую речь: если ты связан с женою, не ищи разрешения; когда отрешишься, тогда не ищи жены! Я тебя вместе с детьми благословляю: дерзай...»

И только под конец школьной жизни он отыскал этот алтарь, читая о народниках, уходивших учительствовать в деревню.

Они еще готовились к экзаменам, но спорили так, будто завтра-послезавтра получают дипломы. Она предлагала компромисс: три года, как того требуют правила, отработать в деревенской школе и вернуться. Но несгибаемый Петрович нашептывал ему другое, и он доказывал, что ехать нужно навсегда, до гробовой доски, и жить в глуши, и просвещать все такой же темный, несмотря на электрификацию плюс телевизор, народ. И к тому же, думая о будущей жизни в деревне, он влюбился в белый сад и в деревянный дом с широкими окнами и большой, основательный, как средневековый замок, печью.

В окно, медленно переворачиваясь, вплывали белые комья, и впереди было пять лет учебы в институте и долгая жизнь в доме, вокруг которого белеет сад, а она закрывалась книгой и плакала.

В институт он не поступил.

Он вздрогнул, услышав резкий звук. Это Остапенков бросил карты на табуретку.

— Ты что, язык сожрал? — спросил он сквозь зубы.

— Да козе понятно,— сказал Санько,— ну. Чего он молчит? И чего баба в письме через слово божится, ну. Надо замполиту сказать и ротному.

— Нет, сами разберемся,— отрезал Остапенков.— Не отмолчится. Уж как-нибудь развяжем язык. Или я не я.

— Не, но козе ж понятно,— возразил Санько.

— Мы не козы,— ответил Остапенков и заиграл желваками.

— Ну вот что,— тихо и решительно проговорил татарин Иванов. Он поднял свои круглые ясные глаза и уставился на Дулю.— У нас в леспромхозе,— не торопясь, заговорил он,— был один баптист. Или там адвентист седьмого дня.

Удмурт засмеялся.

— Короче, святоша,— продолжал Иванов.— Я знаю эту породу. Изучил. Ты ему, например, по пьяни скажешь чего прямо в глаза, а он, как девочка перед первым абортом...

— Значит, уже не девочка,— заметил Удмурт.

— Как перед первым абортом: побледнеет и задрожит. Ответит: зачем вы это говорите, зачем вы так.

— А ты ему в рог,— сказал Удмурт.

— Да-а, мараться.— Иванов брезгливо повел плечами.

— Ты говорил — факты, какие? — нетерпеливо спросил Остапенков.

— Будут факты, Алеха! — крикнул Иванов.— Ко мне!

С табуретки сорвался один из тореодоров, круглый, низкорослый, смуглый парнишка. Он прибежал, остановился, шмыгнул вздернутым носом, оглядел текучими глазами лица «дедов» и бойко сказал: «Я!»

— Глядите на них,— предложил Иванов.

Все поглядели на двух «сынов».

— Ну, Алеха, как оно? Как житуха? — спросил Иванов.

Алеха взглянул на него вопросительно и, что-то такое прочитав в его глазах, ответил довольно развязным тоном:

— Нас е..., а мы мужаем!

— Хах-ха-хах!

— Пфх-ха-ха-ха!

— Ну, Алеха, иди,— с доброй улыбкой сказал Иванов.— Видели? — спросил он у товарищей.

— Ну, видели, и что? — спросил Санько.

Иванов посмотрел на него с отеческой укоризной.

— Я давно замечал, я с первого дня это заметил, что этот Дуля, эта Дуля не такая, не такой, как все. Все сыны как сыны, а... Ну, вот вам первый факт,— веско сказал он.— Кто слышал, как Дуля матерится? Кто,— он повысил голос,— помнит, чтобы Дуля ругался?

В палатке все притихли. К месту судилища потянулись любопытные. «Деды» подходили и усаживались, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближались и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали, вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга.

— Вот так,— сказал Иванов.— Это первое. Второе. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него глаза были, как у девочки перед первым абортом...

Дверь в палатку приоткрылась, и показалась голова дневального.

— Ротный! — округляя глаза, крикнула сипло голова и исчезла.

Тореодоры подхватились с табуреток и заметались по палатке, разгоняя портянками табачный дым. «Черпаки» и «деды» — по законам общества им можно было сидеть и лежать в одежде на койках — вставали, оправляли постели и рассасывались по углам.

— Давай сюда портянки! — истошным шепотом крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти сухие, теплые портянки.

Дверь отворилась и, нагнувшись на входе, чтобы не удариться головой о притолоку, в палатку шагнул старший лейтенант.

— Р-рота-а! — закричал диким голосом дежурный сержант.— Смиррр...

— Отставить,— сказал старший лейтенант, выпрямляясь и проходя на середину.

Он был высок, строен, широкоплеч, у него были насмешливые темные глаза, маленькие твердые губы, раздвоенный подбородок, небольшие густые усы и шрам от левого уха до кадыка.

Он огляделся, обернулся к шумящей печке и покачал головой.

— Приглушить,— обронил он, и «черпак» закрутил вентиль на бачке с соляркой.

— Сказано ведь было,— проговорил ротный.

Неделю назад до сведения полка было доведено случившееся в части под Кандагаром, там сгорел в палатке взвод,— дневальные и дежурный уснули, кипящая солярка вытекла из печки и поплыла по дощатым полам.

Продолжая смотреть на алый бок печки, старший лейтенант спросил солдата, стоявшего у него за спиной:

— Воронцов, что у тебя в руках?

— Ничего, товарищ старший лейтенант,— ответил честным голосом Воронцов. Это был Алеха.

— Уже ничего.— Ротный вздохнул.— А что было?

— Ничего.

— Остапенков, иди сюда,— позвал скучным голосом ротный.

Остапенков вышел на середину. Ротный повернулся к нему.

— Ну скажи: товарищ старший лейтенант, рядовой Оста-а-пенков по вашему приказанию прибыл. Мы ведь не в колхозе, что ты?

— Товарищ старший лейтенант,— начал докладывать Остапенков, застенчиво улыбаясь.

— Что тебе передал Воронцов? — перебил его ротный.

— Ничего. Мне — ничего.

— А кому? Удмурт, тебе?

— Никак нет! — рявкнул Удмурт.

— Воронцов,— сказал ротный.— Вот, допустим, иду я по улице твоей деревни. И встречаю, значит, тебя, Воронцова. Ты с девочкой, при галстуке...

— Я,— лыбясь, сказал Воронцов,— селедку не ношу, западло.

— Не вякай, если не спрашивают,— громко прошептал Иванов.

Ротный продолжил:

— И вот встречаю, значит, тебя. С девочкой. Без селедки. В джинсовом костюме. Ты ведь уже копишь чеки на джинсовый костюм? Или не копишь?

— Не коплю.

— А что так? Все копят. Куда же ты их деваешь? Отбирают, мм?

— Нет. Я все на хмырь трачу,— поспешно пробормотал Воронцов.

— «Хмырь», «западло»,— поморщился старший лейтенант.

— Ну, на печенье, на конфеты там...

— Не нукай, не на конюшне,— опять послышался шепот Иванова.

— Ладно. Встречаю я тебя, разуваюсь, снимаю драные свои носки, которые не стирал год, протягиваю тебе и говорю: быстренько выстирай и высуши, а то я тебя вы...,— он сругнулся,— и высушу.

Все засмеялись.

— Что бы ты мне ответил? Дал бы раз промеж глаз, и весь сказ. Так?

— Куда ему против вас,— сказал кто-то из «дедов».

— Ну, дружков бы свистнул или кувалду какую-нибудь схватил бы. Так?

— Нет,— преданно глядя на ротного, ответил Воронцов.

Ротный улыбнулся.

— Ну не я, кто-то другой. Какая разница. Вон Стодоля, например. Вот что бы ты ему ответил?

Воронцов посмотрел на Стодолю.

— Ему? Ха-ха.

— Вот именно. Так какого же ... ты здесь не посылаешь всех этих на ...? Говори, кому портянки сушил,— строго сказал ротный.— Или пойдешь на губу.

— За что? — растерялся Воронцов.

— За все хорошее. И почему в палатке воняет дымом? Ты, что ли, накурил, Стодоля?

Все опять рассмеялись. Стодоля был единственным некурящим в роте.

— Ты, да?

Стодоля покачал головой.

— Не ты. Кто же? Ну, отвечай.

Стодоля молча глядел на него.

— Почему молчишь?

Все настороженно затихли.

— Я не знаю, не видел,— чугунным голосом ответил наконец Стодоля.

— Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова занята чем угодно, только не службой, текущую действительность, так сказать, ты не замечаешь, спишь на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне анонимки начнете присылать? Заведем такую моду? Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ставят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся — фонарь. Ну, когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в дисбат! — Ротный замолчал и взглянул на часы.— Полковая поверка отменяется,— сказал он.

Солдаты радостно загудели.

— Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Топады, кто у тебя дневальные?

Сержант Топады назвал три фамилии.

— Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем. Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопросы? — Ротный снова посмотрел на часы и направился к выходу.— Через полчаса отбой, приду проверю, засеку кого в вертикальном положении — пеняй на себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.

— Я не буду дневалить,— сказал Жаров. Это был толстый солдат, весь вечер певший себе под нос песни. Он был «дембель», последний из могикан,— все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, домой, а его задержали из-за драки с прапорщиком.

Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офицерском туалете по вечерам и следить в дверную щель за мелькавшей над занавесками в освещенном окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из штаба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехорошему лицом, худосочному и потасканному, как говорится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете напротив ее окна. В тот злополучный вечер прапорщик перевозбудился, увидев между занавесками белую грудь и кусок живота. Посреди ночи он проснулся; он ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть,— все эта грудь с коричневой вершинкой и белый кус живота мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел, сам не зная, зачем, под окно Валечки. Окно оказалось приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут же одно тело подскочило, и прапорщик слетел с подоконника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик молча поднялся и опять полез в окно и вывалился вместе с полуодетым солдатом. Они катались по земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Командир танкового батальона, вышедший по нужде, увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбежал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!» На допросе, который вел сам начальник штаба, прапорщик врал, что увидел, как кто-то пытается открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал драться, а Валечка твердила, что ничего не знает, солдата видит впервые, прапорщика тоже,— она спала, а потом услыхала шум, крики, стрельбу. Жаров нес дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была давно и до последней нитки промочена. В конце концов начштаба запутался в этой истории, прекратил дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сержанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и пообещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.

— Не козлись, Жаров,— мягко сказал ротный.— Ты же знаешь, я давно отпустил бы тебя, но... По мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование интересуется, служишь ты или груши околачиваешь. Не могу же я врать, посуди сам.

— Не буду я дневалить,— равнодушно повторил бывший сержант. Он снял ремень.— Пишите записку начкару.

— На губе сейчас холодно.

— Пишите,— угрюмо сказал Жаров.

— Ты мне надоедать начинаешь.

— Пишите.

— Напишу, а что ты думаешь.

— Пишите.

Старший лейтенант крякнул:

— Ладно, еще успеешь насидеться на губе.— Вздохнул: — Возьму грех на душу. Кто там? Аминджонов, будешь третьим дневальным. И не трепитесь! — громко сказал он всем.

Солдаты откликнулись восхищенным гулом. Старший лейтенант вышел под дождь, зная, что они любят его еще больше.

Картежники вернулись в свой отсек, зачиркали спичками, прикуривая. Жаров разделся и лег, укрывшись байковым одеялом, хотя до отбоя оставалось полчаса. Алеха Воронцов наполнил три зеленых обшарпанных котелка водою и поставил их на печку. Примолкшая печка опять расшумелась,— вентиль был лихо повернут против часовой стрелки.

Иванов и Удмурт были злы, дневалить им совсем не хотелось. Остапенков подошел к Алехе Воронцову, сидевшему возле печки с целлофановым мешком трофейного чая. Почуяв недоброе, Алеха с виноватой гримасой на лице встал. Он готовился выполнить приказ: «Душу к бою!» Этот странный приказ никому никогда не казался странным, услышав его, нужно было просто выпятить грудь и получить удар кулаком по второй пуговице сверху,— в бане сразу были видны непонятливые и нерасторопные «сыны» и «чижи», посреди груди у них синели и чернели «ордена дураков» — синяки. Воронцов приготовился к удару в «душу», ведь он опростоволосился три раза: не успел вовремя передать портянки «дедам», вякал, когда не спрашивали, и нукал, как на конюшне.

Но Остапенков положил ладонь на плечо Вороицова и сказал:
— Садись. Чай покрепче чтоб.
— Есть!
Остапенко помолчал и вдруг спросил:
— Слушай, мог бы ты дать пощечину Дуле?
— Дуле?
— Ага.
— За что?
— Так. Если мы тебя очень попросим. Один эксперимент надо провести.
Вороицов растерянно заморгал и пробормотал:
— Не, но как? Надо за что-то...
— Найдем, за что.
— Да? Я не знаю... Если очень нужно...
— Очень. Мы потом тебя разбудим,— сказал Остапенков.— Забацай чай и ложись, а после мы тебя поднимем.
Остапенков прошел в свой отсек, где его ждали Иванов, Удмурт, Санько и еще несколько «дедов» и два «черпака», друживших с «дедами».
— А где этот? — спросил Остапенков.
— Нету. Видно, побежал вычерпывать из штанов,— сказал один «черпак».
— А кто ему разрешил? — спросил Остапенков. Он окликнул дежурного сержанта. Сержант сказал, что в туалет отпросились Бойко и Саракесян, а Дуля не отпрашивался. У Остапенкова вытянулось лицо. Это уже было ни на что не похоже,— все «сыны» и «чижи» обязаны были докладывать, куда и на какое время они отлучаются по личным делам. Как правило, по личным делам они уходили из палатки только в туалет. Правда, «чижам» позволялось еще навещать своих земляков в других подразделениях и библиотеку, «сынов» же не пускали ни к землякам, ни в библиотеку. Впрочем, в библиотеку пойти не возбранялось, но при одном условии — если «сын» знает наизусть устав караульной службы,— разумеется, никто и не пытался сдавать экзамены, чтобы получить право на посещение библиотеки.
— Да брось ты,— сказал Иванов,— на стукача он не похож. Я изучил эту породу, у них есть понятия.
— А что, запросто пойдет и заложит,— тихо проговорил Санько, вспоминая, бил ли он когда-нибудь Дулю или только обзывал.
— Пусть только попробует,— сказал Удмурт, почесывая мохнатую грудь.

— Он просто запамятовал, что он «сын»,— сказал Иванов.

Остапенков закурил. Он затягивался дымом и задумчиво вертел в пальцах обгорелую, скуксившуюся спичку.

— А если заложит, ну? — спросил Санько.

— Да бросьте вы, мужики,— сказал второй «черпак».

— В туалете сидит,— сказал «дед».

Помолчали.

— Скоро там отбой? — спросил Санько.

Остапенков хмуро посмотрел на него.

— Сначала с ним разберемся,— сказал он.

Прошло десять минут, двадцать, из туалета вернулись Бойко и Саракесян. Дулю они не видели.

— Мелюзга и черпаки пускай ложатся, а мы это дело доведем до конца. Отбивай, Топады,— сказал Остапенков.

Дежурный сержант-молдаванин посмотрел на часы и гаркнул: «Отбой!»

Все начали укладываться: «чижи» торопливо, «черпаки» неспешно, а «сыны» молниеносно,— грохоча сапогами, лязгая пряжками и треща пружинами коек.

«Деды» и два «черпака» пили черный чай, потея и громко сопя. К чаю были галеты и сахар. Галеты отдавали плесенью. Зимой все отдавало плесенью: чай, макароны, супы, порошковая картошка и хлеб. Имевшие знакомства на продуктовом складе хлеб не ели, носили в столовую галеты. Хлеб выпекали в полку. Буханки были плотные, низкие, заскорузлые, кофейного цвета, пахнущие хлоркой и очень кислые,— от этого хлеба весь полк мучился изжогой, доводившей до рвоты. Офицеры питались другим хлебом, пшеничным — высоким, мягким, светлым,— офицерским хлебом. Хорошей муки и сильных дрожжей мало присылали в полк. Война есть война.

— Нет, ему же это невыгодно,— сказал Иванов.— Его самого по головке не погладят: стукач да еще верующий.

— А мне брат рассказывал,— вспомнил первый «черпак».— У них на корабле — он на море служил — тоже выискался один. На берег служить проперли.

— И все?

— И все. Верующие служат, это баптисты вообще отказываются. Им легче в тюрьму, чем присягу с автоматом... козлы. Значит, этот не баптист, а просто.

— Не, ну а че мы ему такого сделали? — спросил Санько. — Я, к примеру, и пальцем его не тронул, ну. Кантовали понемногу, как всех. А что ж, пускай бы он барином, да? Все через это прошли. Они Хана не застали, счастливчики. А мы что на пятках у него бычки тушим? Или зубы выбиваем? Или вон — помните? — Цыгана Хан связал и заставил всех плевать ему в лицо.

— И доплевались. Цыган, наверное, лупит и сейчас по нашим колониям, сука. Поймать бы, — сказал один из «дедов».

— Хан сейчас тоже лупит — парашу где-нибудь под Воркутой.

— Вот бы Цыгана поймать.

— Он, небось, в Чикаго виски глушит.

Санько встал и, громко зевнув, сказал:

— Ну, ладно.

— Куда? — остановил его Остапенков.

— Спать. Я нынче чтой-то плохо спал... — пробормотал Санько и сел на место.

— Пока до Воркуты в гости к Хану будешь чухать на поезде, и отоспишься, — смеясь, сказал Удмурт.

— Искать пойдем, — сказал Остапенков.

— Такой дождь, — уныло сказал второй «черпак».

Остапенков обернулся к нему.

— Не понял, — проговорил он, — что вы тут делаете?

— Да мы... — «Черпак» смущенно улыбнулся.

— Пойдем, Серега, спать, — позвал его первый «черпак», и «черпаки» ушли, пришибленно улыбаясь.

— Я тоже думаю, что капать он не пойдет, — сказал Остапенков.

— Значит...

— Одно из двух: сидит у какого-нибудь земляка или ползет мимо КПП.

— Я этому гороховому шуту рога поотшибаю, я ему... — Удмурт осекся. — Слыхали? — послышался второй взрыв. Минуту спустя опять бухнуло. Солдаты вышли на улицу, в темноту и дождь.

— Первую батарею обстреливают, — сказал дневальный. — Минометы.

На краю полка в черноте пыхнули огни и раздались деревянные звуки — батарея открыла ответный огонь из гаубиц.

— Как бы тревоги не было, — пробормотал Санько.

Разорвались мины, и тут же им ответил хор гаубиц: бау! бау! б-бау-у! На краю полка закраснели трассирующие очереди, — пересекаясь, они уходили во тьму. Треск

автоматов был едва различим в неумолчном хлюпанье и стуке дождя по крыше «грибка». Мины стали рваться чаще. Заработали пулеметы и скорострельный гранатомет. Лил дождь, гаубицы кричали: бау! бау! — и ночь с мясистым треском разрывалась, брызжа во все стороны огнем.

«Деды» вернулись в палатку. Они стояли возле печки, курили и молчали. Возможность тревоги тяготила, воевать ночью под зимним дождем не хотелось, хотелось залезть под одеяло и, послав все к черту, погрузиться в домашние сны.

— Вот же! А? — сказал тонким чужим голосом Санько.

— Что? — резко спросил Остапенков.

— Что, что! Да хрен с ним, пускай он хоть икону на пузе таскает!

— Да? — Остапенков прищурился.— А если мне завтра с ним в бой? В атаку, мм?

— Вот именно,— поддакнул Иванов.

— Он же убежит,— продолжал Остапенков,— бросит автомат и смоется, тебе будут шомполом глаза прокалывать, а он будет сопли пускать и уносить ноги, а? Этих баптистов и адвентистов... на полюс всех, чтоб не воняло здесь ладаном! К ... матери! К ... матери!

— Я эту породу изучил. А к этому одуванчику давно присматриваюсь,— сказал Иванов.— Как он на того пленного смотрел...

— Он чистеньким хочет!.. Но ни хрена! — Остапенков потряс кулаком.— Ни хрена. Лучше пускай сразу вешается. Или он станет настоящим разведчиком, или пусть убирается, в разведроте ангелочкам не место.

— Остап,— вдруг послышался насмешливый голос сбоку,— а Остап.

Остапенков вздрогнул и обернулся. Сквозь прутья спинки койки на него глядел бывший сержант Жаров. Он лежал под одеялом, заложив руки за голову.

— Не бойся, это я,— сказал Жаров.

— Я боюсь? Тебя, что ли? — Остапенков расслабил усилием воли мышцы лица, но улыбка вышла судорожной — дернулись щеки, дрогнули губы, шевельнулись брови, и опять лицо затвердело.

— Ну, теперь ты меня не боишься,— сказал мирно Жаров.

— Я тебя никогда не боялся.

— Это тебе так кажется сейчас. Блазнится. Мне тоже иногда блазнится, что я Хана не боялся. А боялся,

хоть был одного призыва с ним.— Жаров взял с тумбочки пачку, вытащил сигарету и закурил.— Я тут смотрел, как вы потрошите этого сына, и... Сказать тебе, Остап, одну вещь?

— Ну.

— Жалеть будешь. Потом.

— Я-а? Ха-ха-ха.

Скрипнула дверь, все обернулись и увидели в проходе человека с почерневшим лицом. Он стоял в дверном проеме, с него густо капало, и за его спиной шелестела, хлюпала и взрывалась ночь. Дневальный пихнул его в спину и затворил снаружи дверь. Стодоля молчал. Все смотрели на его сырой, обвисший бушлат, старую, давно отслужившую свой срок шапку с подпаленными ушами, на разбитые огромные грязные кирзовые сапоги, на его синие губы, мокрый острый нос и ямы глаз.

— Ты вон к печке иди,— сказал Удмурт.

Остапенков бросил взгляд на Удмурта и снова вперился в Стодолю.

— А-а,— хрипло сказал Остапенков,— явление...

Стодоля молчал.

— Где был? — спросил Остапенков.

Стодоля поднял на него глаза, пошевелил губами.

— Что-о? Не слышу!

— Я верую,— повторил Стодоля.

МАРС И СОЛДАТ

1

В комнате было светло,— ночью выпал снег. Первый снег всегда радовал и бодрил, но нынче старику было нехорошо. Он проснулся, увидел белую Москву и вдруг подумал, что этот первый снег — последний. Старик прогнал эту мысль, черную мысль о белом снеге, он заставил себя думать о других вещах, и он думал о других вещах, но что-то там внутри сохло от тоски, ныло и саднило. И ведь боли утихли в старом теле, и сердце стучало ровно, и голова ясна была, а муторно было на душе. Старик грустно зевнул и нахмурил густые черные брови.

После завтрака старик в синем спортивном шерстяном костюме сидел в кресле, сложив белые рыхлые руки на мягком большом животе, и глядел слезящимися глазами на белую Москву, на свою белую огромную Москву...

2

Сорокопутов покатался по тесному темному гроту и немного согрелся; он скорчился, подтянул колени к груди и замер. Руки, схваченные за спиной веревкой, были тяжелы и полумертвы. Время от времени он шевелил пальцами, но кровь все равно слишком медленно просачивалась в сдавленных сосудах, и кисти мерзли и немели все сильней. Сорокопутов не знал, сколько времени он провел в этой каменной щели, может, день, может, сутки. Хотелось пить и курить.

Было холодно. Сорокопутов лежал на боку, свернувшись калачом, и слушал глухие звуки боя, возобновившегося недавно. Ватно ударяли по горам снаряды. Это вселяло надежду. Впрочем, надежда ни на миг не покидала его, он с самого начала знал, что это чушь и бред, и вот-вот он услышит крики «ура!», тяжелая плита отодвинется, и ловкие заботливые руки вытянут его из этого склепа, разрежут веревку, поднесут горящую спичку к сигарете. «Ну, Сорокопут, как же это тебя угораздило?» — «Да черт его знает, мужики. Как-то так получилось. Как во сне».— «Ладно, Сорокопут, зато будет что порассказать на гражданке».

Он знал, что именно так все и закончится. Было такое предчувствие, предчувствие удачи никогда еще не подводило. Все будет хорошо, надо запастись терпением и ждать.

И Сорокопутов лежал на камнях, прислушивался к взрывам и ждал.

3

«Как это у поэта? То ли снег, как черемуховые лепестки, то ли цветущие черемухи будто снегом занесены,— подумал старик в синем спортивном костюме, глядя в просторное окно на заснеженный город.— Скорее бы весна... Дожить бы». Он взял томик своего любимца. В печали он любил читать эти стихи, хотя от них на душе делалось еще грустнее. «Все они рты поразевали бы»,— мелькнула мысль. Он вообразил этих всех с разинутыми ртами,— глядят круглыми бараньими глазами на томик стихов в державных руках. Он и этот поэт, гуляка, скандалист, бабник и самоубийца. «Да! Люблю!..» — мысленно сказал старик всем этим и горько улыбнулся. Он надел очки в золотой оправе, раскрыл томик, медленно перелистнул несколько страниц и нашел про снег и черемуху: «Сыплет черемуха снегом...»

Все будет хорошо. Главное, чтобы не покинуло предчувствие удачи. Главное... Да, главное... что главное? Ну... это...

Сорокопутов висел на суку над мутной далекой рекой, руки были связаны, и он держался за сук зубами; зубы с треском выкорчевывались из десен, выплевывать их он не мог, приходилось глотать твердые зубы. Сейчас он сорвется и рухнет в реку и убьется. Он сорвался и полетел вниз, плавно опустился в воду, напряг руки, веревка лопнула, и он поплыл. Светило солнце, вода была тепла, по берегам краснели крупные цветы на зеленых кустах. Низко над водой летали какие-то неуклюжие птицы, ласковые пушистые птицы с женскими глазами, они задевали его крыльями, и он смеялся...

Сорокопутов проснулся и подумал, что когда-то видел этот сон. Или нет, это было на самом деле. Да, было. Он с другом рыбачил в конце мая на Днепре, было жарко, и они купались, а в небе носились чайки и парили цапли и аисты. Выкупавшись, они лежали на песчаной косе, на желтой горячей косе. Вечером сидели у костра, пили чай и слушали, как плещутся щуки, а ночью шел дождь, и утром вокруг палатки зацвел шиповник.

Звуки боя стали ближе. Где-то совсем рядом рвались гранаты и неумолчно бил крупнокалиберный пулемет.

Что там? День? Ночь?

Ура!.. Ну, кричите «ура!» — косите духов очередями и выпускайте меня на волю, ну, где вы, трусы!..

Сорокопутов ждал.

Главное вот что: не потерять веру. Гибнут до времени все те, кто не верит в свою счастливую звезду. А он верит. Он знает, что скорей солнце развалится на куски. До срока уходят слабоверцы и те, кто не понимает жизни и не знает, что такое счастье. А он понимает и знает — это ночной дождь и зацветший утром шиповник.

Сорокопутов вздрогнул, услышав каменный скрежет. Плита отодвинулась, и в грот ворвался резкий свет, как если бы сюда направили лучи десятков мощных прожекторов. В грот хлынули звуки очередей и взрывов, Сорокопутов оглох и ослеп. Чьи-то руки схватили его за ноги и выволокли из каменной щели.

Он жмурился и ничего не видел. Потом он различил яркое небо и белые вершины и увидел над собой людей в длиннополых рубахах, меховых безрукавках, шерстя-

ных накидках, чалмах и каракулевых шапках. Свет выбил из его глаз слезы, капли медленно потекли по грязным щекам. Над головами людей с темными осунувшимися лицами висели занесенные первым снегом вершины. Стылый воздух дрожал от взрывов и очередей.

Один из мужчин, широкоплечий и седобородый, сделал знак рукой — встать. Сорокопутов поспешно встал. Стуча зубами, он стоял на дрожащих, подгибающихся ногах и смотрел в глаза седобородого, у седобородого были усталые, темные, влажные глаза. Сорокопутов с надеждой глядел в них.

Седобородый кивнул, и слева и справа ударили очереди, огненный ветер вспучил грудь Сорокопутова, он упал на спину, перевернулся на бок, скрючился и начал сучить по свежему снегу ногами, мыча и выдувая носом алые пузыри.

5

Старик в кресле у окна читал стихи. Он читал про суку и ее щенят, про корову и ее теленка, про клен опавший, про избы с голубыми ставнями, про ушедшую молодость, отцветшие черемухи и яблони. Он вздыхал и пошевеливал черными молодыми бровями.

Старик перевернул толстыми белыми пальцами еще одну страницу. Он погрузился в новое стихотворение, и его тяжелое пористое лицо дрогнуло:

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас...

Старик сжал губы и насупил брови. Он продолжал читать:

Но знаю я —
Нас не забудет Русь...

У старика задрожала выпяченная нижняя губа, задрожала нижняя челюсть, задрожала голова, и увесистая соленая капля шлепнула по странице.

ПИР НА БЕРЕГУ ФИОЛЕТОВОЙ РЕКИ

Всю ночь штабные скрипели перьями. Всю ночь возле штаба толпились солдаты, отслужившие свой срок. Увольнение задержали на три месяца. Все это время

солдаты, отслужившие свой срок, считали, что они живут чужой жизнью; они ходили в рейды и иногда гибли. Вчера они вернулись из очередного рейда и не сразу поверили приказу явиться в штаб с военными билетами. Всю ночь штабные оформляли документы. Эта ночь была душной и безлунной, в небе стояли звездные светочи, блажили цикады, из степей тянуло полынью, от длинных, как вагоны, туалетов разило хлоркой, время от времени солдаты из боевого охранения полка разгоняли сон короткими трассирующими очередями,— эта последняя ночь была обычной, но тем, кто курил у штабного крыльца в ожидании своей очереди, она казалась сумасшедшей.

Наступило утро, и все уволенные в запас выстроились на плацу.

Ждали командира полка. Двери штаба отворялись, и на крыльцо выходил какой-нибудь офицер или посыльный, а командира все не было.

Но вот в сопровождении майоров и подполковников, плотных, загорелых и хмурых, по крыльцу спустился командир. На плацу стало тихо. Командир шел медленно, хромая на левую ногу и опираясь на свежевыструганную трость. Командир охромел на последней операции — спрыгнул неловко с бронетранспортера и растянул сухожилие, но об этой подробности почти никто не знал. Командир шаркал ногой, слегка морщась, и все почтительно глядели на его больную ногу и на его трость и думали, что он ранен.

Остановившись посредине плаца, командир взглянул на солдат.

Вот сейчас этот суровый человек скажет какие-то странные теплые слова, подумали все, и у сентиментальных уже запершило в горле.

Постояв, посмотрев, командир ткнул тростью в сторону длинного рыжего солдата, стоявшего напротив него.

— Сюда иди,— позвал командир.

Солдат в зауженной, ушитой, подправленной на свой вкус форме вышел из строя, топнул каблуками, приложил руку к обрезанному крошечному козырьку офицерской фуражки и доложил, кто он и из какого подразделения. Командир молча разглядывал его. Солдат переминался с ноги на ногу и виновато смотрел на белую деревянную трость.

— Ты кто? Балерина? — гадливо морщась, спросил командир.

Командир так и не успел сказать прощальную речь своим солдатам,— пока он отчитывал офицеров, не проследивших, что подчиненные делают с парадной формой, пока он кричал еще одному солдату: «А ты? Балерина?», пока он кричал всем солдатам: «Вы балерины или солдаты, мать вашу...»,— из Кабула сообщили, что вертолеты вылетели, и посыльный прибежал на плац и доложил ему об этом. Командир помолчал и, махнув рукой, приказал подавать машины.

МИ-6, тяжелые и громоздкие вертолеты, не приземлялись в полку — для взлета им нужна хорошая площадка, в полку ее начали строить, но никак не могли продолжить и закончить,— и поэтому крытые грузовики с демобилизованными солдатами поехали под охраной двух бронетранспортеров в центр провинции, где был военный аэродром.

От полка до города было не более пятнадцати километров, дорога шла по ровной и пустой степи, так что нападения можно было не опасаться. Вот только забыл командир пустить впереди «трал» — тяжелую толстостенную машину наподобие танка, вылавливающую мины; у командира нога ныла, да и вообще дел было невпроворот — через два дня полк выступал на Кандагар.

Машины катили по пыльной дороге, старательно объезжая старые и свежие воронки.

Вдоль дороги зазеленели картофельные и хлебные поля, потянулись запыленные пирамидальные тополя, колонна въехала в город, и все стали последний раз глядеть на город. Они смотрели на глиняные дома, башни, дувалы, желтые арыки, грязные сточные канавы и неправдоподобные сады с ручьями, цветниками, лужайками и беседками; на купола мечетей и на покрытые цветочным орнаментом глиняные пальцы минаретов, на прилавки дуканов, заваленные всякой разноцветной всячиной, на украшенных бумажными цветами маленьких лошадей, запряженных в легкие повозки, на бородатых, рваных, босых нищих, возлежащих в тени платанов, на женщин в чадрах, на мальчишек, торгующих сигаретами и презервативами, на ослов с вязанками хвороста...

На аэродроме штабные и офицер из полка, приехавшие вместе с демобилизованными, построили всех в две шеренги, и началось то, что у солдат называлось шмоном. Офицеры приказали все вещи вынуть из портфелей, «дипломатов» и карманов и положить на землю.

Они быстро двигались вдоль шеренг, иногда останавливаясь, заглядывая в портфель, принуждая кого-нибудь выдавить зубную пасту из тюбика, прощупывая чей-нибудь погон или фуражку. Анашу ни у кого не нашли. Нашли и отобрали коран, четки, колоду порнографических карт, пакистанский журнал с фотографиями затравленных пленных, окруженных улыбающимися усачами в чалмах. А у Ниндзе отняли пять штук солнцезащитных немецких очков, заметив, что многовато. Ниндзе стал горячиться и доказывать, что он не собирается спекулировать, а просто везет подарки друзьям. На шум пришел старший лейтенант из особого отдела. У него было бледное потное лицо и морщинистые толстые веки с красными ободками.

— Что вы? — спросил он Ниндзе. Во всем полку он был единственным офицером, обращавшимся к солдатам на вы. Он спокойно глядел на Ниндзе, и у того пропала охота доказывать, что он хотел просто сделать приятное друзьям. Но Ниндзе все же объяснил, в чем дело.

Старший лейтенант вытащил платок, промокнул свое бледное лицо и спросил:

— Откуда у вас японская штучка?

— Какая?

— Вот, приемник.

— Купил,— ответил Ниндзе, бледнея.

— Чек.

— Какой же чек, я в дукане купил, там никаких чеков не дают.— Ниндзе попробовал улыбнуться.

Старший лейтенант взял радиоприемник, осмотрел его. Ниндзе почудилось, что он даже понюхал своим костлявым носом приемник.

— Купили,— пробормотал офицер,— купили. А может быть... Может?

— Что?

— Все может быть.

— Нет,— возразил Ниндзе,— эту вещь я купил.

Старший лейтенант болезненно улыбнулся.

— Да? Проверим?

— Как?

— Просто, очень просто. Для этого придется вернуться в полк.

— Вы шутите,— сказал Ниндзе.

— Нет, вовсе не шучу.

— Товарищ старший лейтенант,— сказал Романов, кареглазый, скуластый, плотный сержант.

Офицер взглянул на него.

— Товарищ старший лейтенант, мы ведь вместе, вот впятером, от начала и до конца,— сказал Романов, кивая на своих соседей и на Нинидзе.

— Понимаю,— откликнулся офицер.— Что ж, можно всем пятерым вернуться в полк. Найдется, что проверять. Откуда вы? Из разведроты? Ну-у, братцы...

— Не надо, товарищ старший лейтенант,— сказал Романов.

— Не надо? — Офицер скользнул взглядом по соседям Романова, задержался на тусклых глазах худосочного маленького Реутова, опять посмотрел на Романова и спросил у него:

— Зачем он обкурился?

— Кто? — удивленно переспросил Романов.

— Вот этот.— Офицер показал глазами на Реутова.— Вы обкурились? — спросил он у Реутова.

— Нет,— ответил Реутов.

Старший лейтенант молчал полминуты. И пока он молчал, «дембеля» из разведроты вообразили, как они опять будут подъезжать к полку и смотреть на его окопы, каптерки, длинные туалеты, ряды прорезиненных палаток и как присвистнет ротный, увидев их, а замполит скажет: я предупреждал, я же предупреждал, что рано или поздно все тайное становится явным.

— Ну что ж,— вздохнул старший лейтенант и, опять замолчав, устремил взгляд поверх солдатских голов. И все услышали хрипящий стрекот, оглянулись и увидели в небе над сизыми горами черные штуки.

— Да, в самом дэле, это много очков,— пробормотал Нинидзе.

Старший лейтенант весело посмотрел на него.

— Вот как,— сказал он.

— Да. Так точно,— проговорил Нинидзе.

— А вы? — обратился офицер к Реутову.— Что скажете?

Реутов тупо посмотрел на него и пошевелил тонкими губами:

— Я не курю анашу.

Стрекот нарастал, штуки, перевалив горы, уже двигались над картофельными и хлебными полями предместий, делаясь длиннее и толще.

Всех «дембелей» уже распустили, и они громко разговаривали, выколачивали пыль из кителей и фуражек и, не приближаясь, смотрели на разведчиков и старшего лейтенанта из полка.

— Товарищ старший лейтенант,— позвал подошедший к ним пехотный майор-отпускник, он сопровождал партию до Ташкента.

— Да вот не знаем, что нам делать: то ли в полк возвращаться, то ли в Советский Союз лететь,— отозвался старший лейтенант.

Майор поднял брови.

— Что-нибудь серьезное? — спросил он, глядя вверх. Вертолеты заходили на посадку.

— Всегда есть что-нибудь серьезное. У каждого есть что-то серьезное.

Майор пристально взглянул на старшего лейтенанта и отвел глаза.

Вертолеты сели и, тяжело и неуклюже покачиваясь, покатили по аэродрому. Ударил ветер, и солдаты схватились за фуражки.

— Так что же? — прокричал майор, придерживая фуражку и отворачиваясь от ветра.

— Ладно,— ответил старший лейтенант, снисходительно улыбаясь.— Хотя вот этого обкурившегося и стоило проучить.— Он погрозил Реутову пальцем.— Ладно уж,— сказал он и пошел к офицерам, стоявшим возле белокаменного домика на краю аэродрома.

Романов не удержался и сказал словечко. Майор, не расслышавший, но по губам Романова понявший это словечко, покачал головой. Но словечко было что надо, и пехотный майор не мог не улыбнуться.

В Кабуле вертолеты успели приземлиться до того, как всю долину накрыл самум. Солдаты выходили из вертолетов и сразу смотрели на замеченную еще с воздуха гигантскую крылатую машину, выкрашенную в белое и голубое, на борту которой было написано «Ту-134». Потом они поворачивали головы на восток, и их глаза гасли,— с востока бесшумно двигалось по долине, закрывая небо и горы с тускло мерцающими ледниками, застилая сады и склоны, застроенные глиняными жилищами, косматое и коричневое; и оттого, что на аэродроме еще было безветренно и с голубого неба светило солнце, а совсем рядом все было непроницаемо и грозно, надвигавшийся самум казался чем-то сверхъестественным и последним, как семитрубный глас.

Когда все солдаты покинули вертолеты, майор повел их по аэродрому к пересыльному лагерю. Обнесенный колючей проволокой лагерь был неподалеку от аэродро-

ма, у подножия гор, жарких и бурых внизу и холодных и сизых, обляпанных снежинками и ледниками вверху.

— Быстрей! — покрикивал майор, и все споро шагали за ним, оглядываясь на город.

Город был уже наполовину поглощен самумом, и солдаты уже различали клубы и видели, как вихри гонят бумажки, листья и какие-то серые обрывки и лоскутья. Майор побежал, и все побежали, сухо топая по бетону. Они бежали, держа фуражки в руках. Они бежали за своим быстроногим майором, но на них уже лежала желтая тень самума. И на полпути эта коричневая метель накрыла их.

Они заблудились и только через час, иссеченные песком и камешками, запыленные, злые, задыхающиеся, оказались на пересыльном пункте. Начальник лагеря разместил их по палаткам. В палатках тоже было пыльно, но песчаный ветер не резал и не жег лицо, и по голове не стучали камешки, и, главное, наконец-то можно было покурить.

Самум стих поздно ночью. В лагере все, кроме часовых, спали. В лагере было полно уволенных в запас солдат и новобранцев, и все они спали, видя разные сны, и надеялись во сне на разные вещи: «дембеля» верили, что завтра они улетят навсегда отсюда, новобранцы мечтали о добрых командирах и «дедах» и местах, где мало стреляют.

Глубокой ночью на руке Ниинидзе затрещал будильник наручных часов. Ниинидзе очнулся, встал, вышел из палатки, огляделся. Было тихо, темно, вверху светились голубым, зеленым и красным звезды. В столице горели редкие огни. Над городом висели черные вершины. Ниинидзе вернулся, вытащил из «дипломата» радиоприемник, надел на голое тело китель, сунул приемник за пазуху, вышел из палатки и, озираясь, направился в дальний конец лагеря.

Он шел в дальний конец лагеря, неся за пазухой радиоприемник, липнущий к потной груди, и просил своего Старика сделать так, чтобы не напороться на дежурного офицера.

Никого не встретив, он достиг цели — длинного дощатого сооружения. Он прошел в узкую дверь и остолбенел, увидев в темноте горящую сигарету. Он хотел выскочить вон, но, опомнившись, прошел до задней стенки, нашел дыру и, спустив брюки, сел. Сосед молчал, куря

и сплевывая. Нииидзе сидел и ждал. Наконец сосед ушел н, немного выждав, Ннннздзе вытащил свой облитый потом трофей н опустнл его в дыру. Раднонриемник громко шлепнулся.

Нииидзе вериулся в палатку, разделся и лег на голую железную сетку,— опасаясь вшей, все матрасы они стащили с коек и сложили в углу. Несколько минут он иапряжеиио слушал, но ннчего, кроме сопения н храпа соседей, слышио не было, и он расслабился, глубоко вздохнул, попроснл своего Старика сделать так, чтобы оин утром улетели, и уснул.

Утро пришло солиечиое.

После завтрака большую партию «дембелей» повели на аэродром. Оставшиеся видели через колючую проволоку, как час спустя эта партия садилась в самолет, виделн, как самолет выехал на взлетную полосу, разогнался, оторвался от серого бетона н пошел вверх, сделал полукруг над городом н полетел на север.

Оставшиеся сиделн в курнлках, дымилн сигаретами и хмуро смотрелн на новобранцев, казавшихся нм какими-то ненастоящими солдатами, прилетевшнми сюда не воевать, а нграть в спектакле про войну,— такие у них были свежие светлые лица, н так неумело оии старалнсь скрыть свой страх, натужно смеясь и шутя, насупливая брови и обильио матерясь. Но как бы грубо и бесстыдно они ни материлнсь, как бы онн нн хмурилнсь и ни ерничалн, было видно, что новобранцам страшно и что они и сами недоумевают, как это онн будут делать два года то, что делали эти загорелые, усатые мужчииы в фуражках и кителях со значкамн и медалями.

На аэродроме больше ие было видно никаких крупных самолетов, н «дембеля» говорилн друг другу: «Ла-а-дно, позагораем».

Но в полдень прилетел транспортиый самолет, н ктото вспомнил, что уволившийся год назад земляк пнсал, что их партня летела домой на грузовике, и все оживились и началн спорить, правда это или нет.

Прошло полчаса. Появился пехотный майор. Он собрал свою партню и отвел ее к воротам лагеря. Здесь какой-то капитаи в очках зачнтал спнски, и вся партня откричалась: я! я! я!

Прошло еще полчаса. Солдаты смирно стоялн перед воротами под прямыми лучами солнца. Пот струился по лицам. Солдаты стояли и покорно глядели иа своего

майора, курившего в стороне. Но вот опять появился капитан в очках, и все уставились на него. Капитан кивнул майору, прошел в голову колонны, приказал часовым отворить ворота, и часовые отворили ворота, офицер махнул рукой, и солдаты пошли.

Офицеры на таможне оказались веселыми и снисходительными, еще совсем молодыми ребятами. Они так же быстро и ловко, как и полковые проверяльщики, осмотрели вещи, выдавили всего лишь один тюбик пасты и разрезали пару кусков мыла. В одном куске была афганская ассигнация. Офицеры посмеялись: зачем это тебе в Союзе? Солдат ответил: на память. И офицеры вернули бумажку. Анаши ни у кого не нашли. Да они и не лезли из кожи вон, чтобы найти ее. На очки, джинсы, пакистанские сигареты и все такое они не обращали никакого внимания, хотя на пересылке и поговаривали, что уж на кабульской таможне такие звери, не то что проверяльщики из родного полка,— все к чертовой матери отберут, что приобретено не в советских магазинах.

Нениндзе был мрачен, когда они вышли со двора таможни и направились к транспортному самолету.

— Мурман, ты что? — спросил Романов.

Нениндзе молчал.

— Мурман,— снова позвал Романов,— а Мурман, чачу сегодня пить будешь. А?

Нениндзе печально улыбнулся.

— Ну, допустим, не сегодня,— возразил Шингарев.

— Но ташкентское винцо попробует,— сказал Романов,— сегодня.

— Мы с Сашей пьем только водку,— пробасил плечистый, толстый Спиваков.— Да, Саша?

Маленький Реутов беззвучно улыбнулся.

— Всё будем пить,— сказал Романов.— А вино обязательно красное. Это вино победы. Так, Шингарев-Холмс?

— Так,— кивнул недоучившийся студент Шингарев. Кличку Шингарев-Холмс он получил с легкой руки ротного,— когда его ранило под Кандагаром осколком разрывной пули в ягодицу и он расстоялся, ротный сказал ему в утешение, что Шерлок тоже был ранен в Кандагаре.

— Всё будем пить: и водку, и вино,— повторил Романов.

— И пиво,— сказал кто-то.

— И плюс бабы! — воскликнул еще кто-то из соседей.

— А что, дорогие в Ташкенте телки?

— Четвертной, если у клиента морда кирпича не просит.

— А если просит?

— Полсотни.

— Вот же спекулянтки! У нас в Токмаке за шоколадку отдаются!

Посмеиваясь, они остановились перед транспортным самолетом. Майор-отпускник пошел к летчикам, стоявшим в тени крыла. Поговорив с ними, он вернулся и сказал, что самолет еще не разгружали и им придется еще раз потрудиться для армии.

— Так что, еще машины ждать? — уныло спросили его.

— Нет, прямо на землю сложим.

— Вообще надоело грузить и разгружать. Вообще это скотство. Мы уже свободные,— сказал кто-то.

— Ты, свободный, заткнись! — оборвали его.— Разгрузим, товарищ майор, о чем речь.

— Ну, ты и разгружай,— послышался голос «свободного».

Майор выматерился и спросил: что, домой никто не хочет? — и все, раздевшись до пояса, пошли разгружать самолет.

Они выносили и складывали в стороне от самолета ящики, мешки, коробки и синие пахучие бараньи туши. Они сновали по трапу и выносили и выносили ящики, коробки, мешки и туши, и солнце обжигало их простоволосые головы и блестевшие от пота спины.

Разгрузив самолет, они обтерлись носовыми платками и надели рубашки и кителя.

Потом они входили в жаркий самолет и рассаживались вдоль бортов; сидений было мало, и нерасторопным пришлось садиться на «дипломаты», портфели и газеты. Реутов успел занять место у иллюминатора, и тут же к нему подошел круглолицый артиллерист и просто сказал:

— Дай-ка я сяду.

Реутов посмотрел на него своими тусклыми глазами.

— Сядь-ка,— сказал Спиваков.

Артиллерист взглянул на Спивакова и молча отошел.

— Артист-артиллерист,— пробормотал, ухмыляясь, Спиваков.

Немного погодя в кабину прошли летчики в своих красивых бледно-голубых чистых комбинезонах, и через несколько минут трап в хвосте плавно поднялся, и вверху зажглись неяркие плафоны.

Самолет тронулся и легко покатил на взлетную полосу.

Дышать было трудно. В душной полутьме лосиились лица, казавшиеся черными. Пахло потом и бараниной.

Самолет затрясло, и все напряглись, как будто это им сейчас предстояло, собрав все силы, побежать и прыгнуть. Самолет сорвался, понесся, наливаясь тяжестью, и вдруг плавно заскользил, и все поняли, что он взлетел, что они улетают навсегда.

Город женщин, Ташкент, освещали лучи вечернего солнца. Его окна, обращенные на запад, сияли, в его тенистых, особенно зеленых в этот час кущах прохладно булькали бесчисленные фонтаны. Ташкент был шумен, огромен, высок; по его улицам ходили хорошо одетые люди с лицами сытыми, нетрусливыми, немрачными. Это был город женских глаз, волос и губ. Женщины были всюду, куда бы «дембеля» ни смотрели: на витрины, на автобусы, машины, окна домов, подъезды, ларьки,— всюду видели женщин, женщин молодых, зрелых, старых, юных, стройных, некрасивых, узкобедрых, рубенсовских, раскосых, глазастых, черноволосых, рыжих, женщин с родинками на щеках, с голыми плечами, в юбках и в прозрачных платьях. В общем, это был потрясающий город, и «дембеля» на его улицах чувствовали себя примерно так же, как новобранцы на кабульской пересылке.

Они шалели и не знали, куда им идти и что им делать. Побывав в аэропорту и на железнодорожном вокзале и выяснив, что билеты в нужном им направлении распроданы чуть ли не на неделю вперед, они побрели по улицам, останавливаясь возле желтых бочек и накачиваясь квасом, и споря, и рассуждая, что им предпринять теперь. Спиваков предлагал на все наплевать, купить водки, отыскать какой-нибудь укромный уголок и хорошенько попировать. Шингарев возражал: а если патруль накроет? Сидеть на ташкентской губе никому не улыбалось, и все, кроме Спивакова, колебались: пить или не пить.

Они шли по улицам, спорили и рассуждали, умолкая при встрече с девушкой или женщиной и разглядывая ее с ног до головы.

Ниидзе предложил купить билеты и жить неделю в гостинице. Эту фантастическую идею сразу же отвергли,— какая гостиница?! Спиваков все твердил, что лучше всего купить водки, отыскать укромное место и надраться, а утром уж думать, что и как. Шингарев пред-

ложил заплатить проводникам и ехать в тамбуре хотя бы до Оренбурга,— оттуда, наверное, уже легче будет улететь или уехать в Тбилиси, Москву, Куйбышев, Ростов-на-Дону и Минск, а пир можно устроить в поезде, не боясь никаких патрулей. Это понравилось всем. Ниниидзе мгновенно нарисовал портрет проводницы, с которой будут договариваться: молоденькая, толстенькая, с розовыми ушками и щечками и без предрассудков.

Они повернули к вокзалу.

По дороге на вокзал зашли в магазин и купили рыбные консервы, рыбные котлеты, хлеб, огурцы, вино и водку. «Приятного аппетита, мальчики,— сказала им продавщица, рыжая и губастая.

— Мм, какие бесстыжие глаза,— простонал Ниниидзе, когда они вышли из магазина.

Дотемна они толкались на перронах и уламывали проводников, суля сначала пятьдесят рублей, потом семьдесят пять, сто,— но им отказывали.

Стало совсем темно, и Спиваков сказал, что хватит клянчить, но объявили о прибытии поезда, и они решили попытать удачи еще раз.

Поезд прибыл, покряхтел тормозами и остановился, и к вагонам бросились галдящие люди, а «дембеля» поспешили к последнему вагону,— им почему-то казалось, что зайцами удобнее всего ездить в последних вагонах. Они поспешили к последнему вагону, и Ниниидзе попросил своего Старика: «Ну, сделай так, чтобы...»

Люди протягивали билеты седоватому, грузному проводнику. Проводник держал в углу рта папиросу. Он попыхивал папиросой, брал билет, клал его на ладонь, подставлял ладонь под свет из дверей, возвращал билет и кивал: проходи.

Толпа возле него иссякла, и Шингарев доверительно сказал проводнику:

— Тут такое дело...

Проводник окинул быстрым взглядом всех солдат, посмотрел на Шингарева и буркнул:

— Ну.

— Вот в чем дело.

— В чем?

— Вот в чем. Мы вам заплатим...— начал Шингарев.

— Нет-нет,— перебил его проводник.

— ...сто рублей...

— Нет.— Проводник посмотрел на часы.— Все, лавочка закрывается.

Он повернулся и шагнул в тамбур.

— Дядя, а вы служили? Вы сами-то служили когда-нибудь? Послушайте, в чем дело-то...

Проводник поглядел из тамбура поверх их голов иа перрон — не бежит ли кто опоздавший,— и, не отвечая Шингареву, иачал закрывать тяжелую дверь. Дверь почти затворилась, ио в последний миг Романов сунул в щель ногу.

— Но! — удивленно вскрикнул проводник, распахивая дверь.

— Ты по-человечески можешь ответить? — сказал Романов.

Ударом ноги проводник сбил с порога ногу Романова и захлопнул дверь. Романов застучал кулаком в толстое пыльное стекло. Проводник стоял за дверью и смотрел иа них. Он достал папиросную пачку, вытащил папиросу, подул в мундштук, прикурил и опять уставился иа солдат. Вскоре поезд тронулся, Романов плюнул в мутное стекло.

Когда поезд отъехал, проводник открыл дверь и крикнул:

— Засранцы!

Покружив вблизи вокзала, они нашли сквер. Там была река, неширокая и прямая. От реки скверно попахивало, но они решили, что это ничего, и расположились у воды. Через сквер иногда проходили люди, но от их глаз солдат скрывали кусты на берегу. По другому берегу тянулись глухие стены каких-то кирпичных приземистых построек, над их крышами высились фонарные столбы, фиолетово светя на черные крыши, иа реку и на солдат. И они повеселели, увидев, что здесь так светло и укромно в то же время. Они повеселели еще больше, когда расстелили иа траве газеты, выложили иа них хлеб, консервы, огурцы и увидели, как мерцает колоннада бутылок.

— Ничего себе ресторанчик,— пробормотал Спиваков.

Все охотно согласились, что ресторанчик просто замечательный.

— Тогда поехали,— сказал Спиваков. Он расставил бумажные стаканчики, взял бутылку водки, но Шингарев остановил его:

— Сначала портвейн.

— Я не хочу мешать, я буду только водку,— ответил Спиваков.

— Нет, мы должны сначала выпить портвейна.

— Я теперь никому ничего не должен.

— Так положено. Положено пить красное вино, это вино победы,— стоял на своем Шингарев.

Романов и Нинидзе поддержали Шингарева, и Спиваков отступил. Шингарев разлил по стаканчикам портвейн. Они подняли стаканчики, полные черного вина, осторожно чокнулись и выпили. Шингарев на последнем глотке поперхнулся и закашлялся. Он поставил пустой стакан и провел рукой по груди.

— Облился, черт,— сдавленно проговорил он и снова закашлялся.

— Да нэт ничего, биджо,— возразил Нинидзе, наклоняясь к нему и разглядывая его рубашку.

— Да липко же,— откликнулся Шингарев.

Романов закурил и поднес горящую спичку к груди Шингарева, и все увидели на его рубашке большое темное пятно.

— Застирай,— посоветовал Нинидзе.

— Тогда уж придется всю рубашку стирать,— сказал Романов.

— Мятая будет, где я ее выглажу? Вот же черт...

— Ерунда, наплюй,— сказал Спиваков.

— А ты галстук примерь,— подал идею Романов.

Шингарев вытащил из кармана кителя, лежавшего в стороне на «дипломате», галстук и надел его.

— Ну, что?

— Посвети.

Романов зажег спичку.

— Почти не видно. Если китель снимать не будешь, вообще никто ничего не увидит.

— Да плюньте вы на тряпки. Мне вот наплевать. Нам с Сашей наплевать, да, Саша? — спросил Спиваков.

Узкое фиолетовое лицо Саши Реутова сморщилось,— он улыбнулся, как всегда, беззвучно. Спиваков налил себе и Реутову водки и спросил, наливать ли остальным. Нинидзе и Романов кивнули, а Шингарев отказался. Они выпили водки и, отдуваясь, принялись закусывать. Шингарев пил портвейн.

— Нам все равно с Сашей,— продолжил свою мысль Спиваков,— мы с Сашей и в кальсонах поедем, лишь бы домой, а, Саша?

Была глубокая ночь. По скверу перестали проходить люди. Фиолетовая река стояла между берегов. Хорошо была слышна железная дорога: безразличный голос дикто-

ра, гудки, щелканье вагонных сцепок, биение колес и чуханье дизелей.

Нинидзе, вдруг разучившийся хорошо говорить по-русски, ругал старшего лейтенанта из особого отдела, ругал штабного, отобравшего очки, ругал какое-то начальство, не обеспечившее нормальное возвращение домой; он вошел в раж и начал крыть по-грузински. Ну, да его никто и не слушал. Спиваков все жалел, что побоялся провезти в погонах или в подметках пару пластинок анаши,— он утверждал, что водка его не берет, мол, он так привык к анаше, что водка кажется ему водой; он тоже ругал старшего лейтенанта, наклепавшего на Сашку Реутова, на Сашку, которой никогда в жизни не вкушал сладостной травки анаши. Романов беспрерывно курил, обсыпаясь пеплом, и тепло смотрел на товарищей. Иногда он запрокидывал голову и глядел на тополя, озаренные фиолетово-синим светом фонарей,— он подолгу глядел на тополя и улыбался. Самым трезвым был Шингарев, он прислушивался и оглядывался.

Была глубокая ночь. Тополя молчали, и река молчала, фиолетовая и бездвижная. Где-то за спящими домами шумела железная дорога.

— Мурман,— сказал Романов, закуривая новую сигарету,— не ругайся, прошу, ну. Такой день... ночь. И ты Шингарев-Холмс! Я не хочу просто глядеть в твою сторону ей-богу, ну. Выпей водки, что ты эту краску лупишь.

— Кому-то надо быть трезвым,— откликнулся Шингарев.

— Здесь? Вот здесь, в эту ночь-то? — Романов откинул голову и замолчал, глядя в небо.

— Надирайся, Шингарев-Холмс,— сказал Спиваков,— меня же не берет. Я — как стеклышко.

— Может, споем? — встрепенулся Романов.— Какую-нибудь душевную вещь. «Дипломаты мы не по призфа»... фа... Как это? Дипломаты вы не по призфа... фа! фа! Ха-ха-ха! Призфанье! Ха-ха-ха!

— А действительно, музыки не хватает,— сказал Спиваков.— Ну, что, Мурман, заводи свой «маде ин Жапен».

Мурман-Нинидзе сказал мрачно:

— Нэт прыомныка спёрлы.

— Что? Как? Кто?

— На пэрэсильке, вах-мах-перемах!

— Что ж ты молчал?! — вскричал Романов.

— Что... что. Что толку било говорыт.

— Как что? Да как это — что? Да мы б всех на уши поставили! Всех этих ублюдков! Как это — что? Мы б их всех... всех сволочей этих, сук... Я этого проводника на всю жизнь... через сто лет его харю, я его вот так задавлю! — вскричал Романов.

— Начались ржачки,— сказал Спиваков, морщась.

— Не кричи,— сказал Шингарев Романову.— И при чем здесь проводник?

— Что? Что ты все боишься? Пусть только кто-нибудь подойдет к нам. Ну, пусть.— Романов ударил кулаком по ладони.— Патруль, менты. Охота им с разведкой дело иметь? Ну, тогда пусть! — Романов часто и сильно забил кулаком по ладони.

— Странно,— пробормотал Спиваков,— как это случилось? Мурман, ты же спал на «дипломате» и никуда не выходил ночью? Когда же они умудрились?

— Какой-то чертовщина это,— ответил Ниниdзе, разводя руками.

Он почувствовал на себе взгляд, покосился и увидел узкое лицо, освещенное фиолетовым: черные морщины, костлявый длинный нос, тонкие черные губы и черные пятна глаз. «Если Реутов что-то знает, сделай так, чтобы он молчал»,— попросил Ниниdзе Старика. Это у него вошло в привычку — просить кого-то, кого он представлял седым, умным, сильным и великодушным и называл Стариком,— после первого рейда: тогда было очень туго, и он как-то нечаянно сказал: «Старик, сделай так, чтобы...»,— и вышел из той передряги без единой царапины.

Реутов молчал. Да и глядел он куда-то мимо. Откуда Реутов мог что-то знать? Ниниdзе успокоился.

— Как пришло так и ушло,— вдруг сказал Шингарев.

— Нэ понал.

— Как пришло, так и ушло,— повторил Шингарев холодно.

— Как пришло?

— Ты знаешь.

— Что ты хочэшь сказать?

— Его надо срочно напоить.— Романов показал пальцем на Шингарева.

— Все понятно,— сказал Спиваков.— Я чистоплюев насквозь вижу.

— Мужики! — замахал Романов руками.— Не надо! Лучше выпьем.

— Нэт, говоры,— потребовал Ниниидзе.
— Да ладно,— пробормотал Шнигарев.
— Нэт, говоры до конца, все говоры Шнигарев!
— Я знаю,— сказал Спиваков.— Он это давно хотел сказать, я видел. Он с самого начала чистоплюем был. Он вот что хотел сказать, он хотел сказать, что мы везем домой трофеи, а он ничего не везет. Ну и что? Я плевать хотел. Эти вещи добыты в боях, и я плевать хотел, понятно?
— Вон что! — воскликнул Ниниидзе.— Вон как! Вон куда он гнот. Вон куда ты гнощь? Чыстэнкый, да?
Шнигарев уже было раскрыл рот, чтобы подтвердить: да, да, я это и хотел сказать, но он нечаянно взглянул на Реутова, и его сбила какая-то мысль о Реутове, и он проговорил тихо:
— Ничего этого я не хотел сказать.
— Ребята, мужики.— Романов взял бутылку.— Такой день... ночь.— Он задумался.
— Ну, заснул. Лей,— буркнул Спиваков, протягивая стакан.
— Погоди... это... Мысль была... Что же я хотел сказать...
— Лей же.
— Нет, но...— Романов помотал головой.— Нет, забыл.— Он кое-как налил в стаканчик водку.— Давайте вот выпьем, и все, больше про это про все... ну его к черту все это! Свобода — это да. А это все... эти шашни-машни... счеты к черту на рог. А свобода — да! Но! Это не та мысль, та ускакала, исчезла.
Романов сидел держа стакан в руке, хмурился, сосредоточенно глядел на середину «стола» и шевелил губами; водка переливалась через края и текла по руке.
— Пей, не разливай.
Романов бессмысленно посмотрел на Спивакова, выпил водку, не поморщившись, и выпалил:
— Ну! Вспомнил! У меня такое ощущение,— он оглянулся по сторонам,— такое... что кого-то не хватает.
— Конечно, не хватает,— проворчал Спиваков.
— Да нет, я не об этом, я не о тех.
— Ладно, ложись, спи.
— Нет, пойми.
— Ложись, вот что. Ложись спать, земля теплая.
— Ты не понял. Я говорю, что среди нас кого-то нет, кто-то был, и теперь его не стало.— Романов оглядел сидевших вокруг «стола».
— Ложись,— повторил Спиваков,— все здесь.

Романов вглядывался в товарищей и наконец заметил Реутова и замер. Он глядел широко раскрытыми глазами на Реутова и ничего не говорил. Он долго молчал, и все молчали и смотрели на него и на Реутова.

— А! — крикнул Романов.— А, Реутов! Сашка! Ха-ха-ха! Ну! Ха-ха-ха!

— Я же говорил — ржачки,— буркнул Спиваков.

Романов перестал смеяться.

— Все,— сказал он.— Все в сборе и пир... это... продолжайся. Пируют эти... бывшие разведчики,— Романов набрал воздуху и запел: — «Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь! Мы в засаде годами ждали...» — Он замолчал, отыскал взглядом Реутова и уставился на него.

Узкое фиолетовое лицо Реутова покрылось морщинами,— он улыбнулся.

— Это я,— сказал он Романову.— Не сомневайся.

— Саша,— проговорил Романов сырым голосом,— Саша... удивительное дело... понимаешь.— Он помолчал.— Я вот вспоминаю... как мы в полк прилетели.

— И что? — спросил Спиваков.

— Что? — встряхнулся Романов.— Ничего! Просто удивительно. Удивительное... это... дело. И все. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь!

«Да вот же и я об этом подумал,— сказал себе Шингарев,— я подумал, я подумал... Все-таки я охмелел. Сосредоточиться и вспомнить, как мы прилетели в полк». Он сосредоточился и вспомнил, как они прилетели в полк после трехмесячной подготовки в туркменском горном лагере; командир разведроты из толпы новобранцев выбрал первым огромного Спивакова. Спиваков сказал, что они впятером держатся, и попросил взять остальных. Ротный с удовольствием согласился взять жилистого подвижного Нинидзе, крепкого, плечистого Романова и его, Шингарева, но Реутова он решительно отверг. Ну, сказал Спиваков Реутову, сделай что-нибудь ростовско-донское, но тот начал отнекиваться. Спиваков же настаивал, и в конце концов ротный заинтересовался, что там такое может «сделать» этот щуплый мальчик. Увидев любопытство на лице ротного, все они насели на Реутова, и Реутов, краснея, спел одну казачью частушку; тяжелое лицо ротного дрогнуло от улыбки, он спросил, что Реутов еще умеет. Реутов простодушно сказал, что умеет на гармошке играть и знает миллион частушек; ротный переспросил: миллион? — и зачислил в разведроту Реутова.

— Так ты думаэшь, ты чыстэнкый? — пододвигаясь к Шингареву, спросил Нинидзе.

— Молчать,— сказал Романов.

— Я сейчас их успокою, я их лбами, я сейчас.— Спиваков попытался встать и не встал. Он озадаченно поглядел на свои ноги и позвал: — Ноги!

Романов засмеялся. Улыбнулся и Нинидзе. Спиваков еще раз попробовал и поднялся, постоял, качаясь, и грузно сел.

— Ноги,— развел он руками, и все засмеялись, и узкое лицо Реутова беззвучно сморщилось.

— А ты говорыл нэ бэрот водка.

— Предатели,— сказал Спиваков ногам.

— Тихо! — закричал Романов.— Тихо! Мм...— Он постучал себя по лбу кулаком.— Черт! черт! забыл... какой тост пропал.

— Ладно, просто так выпьем.— Спиваков взял бутылку, понес ее к стаканчику и выронил.— А! Вот это действительно ржачки! И моя правая рука — туда же! Предательница.

— Тихо! — снова закричал Романов.— Вот он, тост. Выпьем за это... то есть за то, чтобы, вот именно, чтобы! Чтобы нас предавали руки и ноги, но не друзья!

— Какой тост! — одобрил Спиваков.

— А теперь дай ему руку,— потребовал Романов у Шингарева,— руку Мурману!

— Мы не ссорились,— ответил Шингарев.

— Трудно руку дать?

Шингарев промолчал.

— А, дурачье.— Романов отвернулся к реке. Вдруг он начал расстегивать рубашку.— Кто со мной купаться? — деловито спросил он.

— Я не пущу,— сказал Спиваков.

— Это мы посмотрим. Поглядим, как говорится. Старый разведчик купаться будет. Он будет купаться. Вот оно что. Надоело мне с вами. Бодайтесь без меня, бараны. А я уплыву,— сказал Романов.

— Куда? — насмешливо спросил Спиваков.

— А далеко. А вы тут бодайтесь, забодай вас коза. Или комар. Или бык. Мордатый такой бычара: му-а!

Шингарев уснул последним.

Под утро все спали, а Шингарев крепился: тер глаза, встряхивал головой, курил, ходил. Но и он уснул.

Они спали вокруг разоренного «стола». Нинидзе ле-

жал, укрывшись кителем и положив под голову «дипломат». Романов, голый по пояс, лежал на спине, раскинув руки; он постанывал и скрипел зубами. Реутов свернулся калачом возле большого, хрипло дышащего, горячего Спивакова. Шингарев спал сидя, опустив голову на колени.

На рассвете молчавшие всю ночь тополя зашипели. По реке пошли круги.

Теплый дождь проливался на город.

Дождь стучал по бутылкам, пустым консервным банкам, спичечным коробкам, по черной корке непочатой буханки, «дипломатам», козырькам фуражек; и газеты рвались, а рассыпанные по ним сигареты темнели и разбухали.

Нинидзе, не просыпаясь, натянул на голову китель. Реутов прижался к боку Спивакова. Больше никто не шелохнулся.

ЗАНЕСЕННЫЙ СНЕГОМ ДОМ

Была осень, туманы обволакивали сад по утрам, шли дожди и молчали птицы. Люди, деревья, собаки и немые птицы ждали,— со дня на день должен был выпасть первый снег. А женщина ждала мужчину.

Женщина жила в деревянном доме с оранжевой крышей, вокруг которого был голый и корявый танцующий сад. Дом с оранжевой крышей стоял вместе с другими деревянными и кирпичными одноэтажными домами на окраине железобетонного города. Из окна дома была видна луковка древней церкви Иоанна Богослова, и смотреть на нее, обрамленную черными ветвями лип, было приятно. Но в это окно она редко и случайно глядела, чаще и охотнее сидела у противоположного, выходившего на юго-восток. В то окно была видна улица, по которой придет мужчина, воюющий на Востоке.

В доме было две комнаты с зелеными обоями, кухня и белая печь. В зале на стене висела репродукция картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле»,— там женщины среди багряных кустов собирали виноград, а по дороге, прозрачной, как река, шел человек, и позади него низко над землею горело солнце. Женщину пугала картина— эти жуткие багровые мазки и черный человек на дороге. Женщина старалась не смотреть на картину, но картина заставляла ее смотреть

на себя, и тогда у женщины ноги и руки делались ватными. Она с радостью сняла бы картину и засунула ее куда-нибудь подальше, но это была любимая картина мужчины, и женщина почему-то боялась убрать ее. И рубашку, которую мужчина носил перед войной, не стирала два года. Вообще она стала суеверной за эти два года. Она думала: я суеверная, глупая дура,— и криво улыбалась, но все равно молилась. В школе она проводила с детьми атеистические беседы, а дома, глядя на восток, шептала самодельную молитву: «Бог-бог-бог, любимый и милый, ласковый и нежный, любимый бог, люблю тебя и прошу тебя бог-бог-бог». Она не представляла себе, что было бы, услышь ученики или коллеги-учителя ее молитву. Думая об этом, она бледнела и покрывалась алыми пятнами. Она знала, что никакого бога нет, есть всякие химические процессы, всякие эволюции и некоторые странные вещи, которые наука пока не объяснила, но непременно когда-нибудь объяснит. И она была уверена, что никто, никакой добрый бог не слышит ее молитву и что ее молитва не спасет мужчину, воюющего на Востоке,— она вот шепчет у восточного окна, а телеграмму уже получили в военкомате, и уже выслали ей приглашение в военкомат, чтобы торжественно сообщить: «Ваш супруг...» И уже металлический ящик погрузили в самолет, и уже самолет гудит в небе над Россией. Она все прекрасно понимала. Но однажды проснулась и зашептала, плача: «Бог-бог-бог, люблю и прошу»,— и с тех пор это вошло в привычку.

Пришло короткое письмо. Мужчина писал, что это последнее письмо,— вот-вот прилетит в полк вертолет и увезет их, а пока погода нелетная, но вот-вот.

Была поздняя осень, и ледяные туманы пахли снегом.

Женщина просыпалась очень рано. Она вставала рано, чтобы сделать прическу. Умывшись и позавтракав, она усаживалась перед зеркалом, разложив на столике тюбики, коробочки, расческу и флаконы, и принималась завивать и укладывать свои светлые, не очень густые и недлинные волосы. Серый лохматый кот, потягиваясь, шел к ней и, выгнув хвост, ласково рокотал горлом и терся о голые ноги, и кожа на ее ногах становилась пупырчатой.

Обычно она собирала волосы в пук на затылке и стягивала резинкой, теперь же она приходила в школу с замысловатыми коронами и облаками на голове, и учителя-мужчины говорили про себя: ого,— и по-новому огля-

дывали ее и видели, что она очень молода, что у нее бела шея, розовы губы, что у нее красивые икры и руки, и когда она идет... и лучше не смотреть долго сзади на нее, когда она идет. И припоминали, что ее муж где-то служит в армии.

Она была заурядная молодая женщина, каких сотни и тысячи, но должен был вернуться мужчина, и она вдруг изменилась,— и лысый Борис Савельевич, учитель русского, изумленно глядел ей вслед, и у него сохло во рту, а в голове тяжелыми товарными эшелонами проносились дикие мысли. И физкультурник, человек дела, а не мечты, заигрывал с нею на переменах и спрашивал, не наколоть ли ей дров. Ну и ученики, конечно, пучили на нее глаза, машинально теребя жидкие усики, ковыряя прыщики на лбу и рисуя в воображении не менее дикие, чем мысли Бориса Савельевича, картины.

Школьные женщины были шокированы и уязвлены. Физкультурник, учитель русского, трудовик и военрук перестали их замечать и, как опоенные сильнодействующим зельем, лупили масленые глаза на эту женщину и говорили ей какие-то пошлые, какие-то принятые двусмысленные вещи. А что случилось-то? Да ничего. Ничего нового в одежде, губы без помады, ресницы без туши,— все, как прежде, и новое — только прическа.

Директорша сразу сформулировала про себя происшедшую перемену следующим образом: ярко выраженная сексуальность. Это было плохо. Это дурно влияло на нравственную атмосферу. Нужно было принимать какие-то меры. Но какие? Ярко выраженной сексуальности не было ни в одном запретительном параграфе. Директорша внимательно приглядывалась к своей подчиненной и ни в чем не находила нарушений норм: юбка достаточно целомудренна, кофточка непроницаема, злоупотреблений красками нет. Прическа? У директорши тоже прическа, тоже короны и облака, и у всех короны, облака, локоны-змеи, так что скорее вызывающа была ее прежняя прическа — простой хвост, а нынешняя вписывается в общий хор. Ну нет во всем этом ничего из ряда вон, хоть ты тресни, а окинешь ее эдак общим взглядом — сексуальна и взрывоопасна!..

Женщина, ждавшая мужчину с Востока, не замечала холодного презрения школьных дам и восхищения прыщеватых недомужчин, и ухаживаний школьных рыцарей — мускулистого физкультурника, сухого и сморщенного военрука, лысого мечтательного Бориса Савельевича и седовласого толстого трудовика с вставным левым глазом. Она ждала.

Придя из школы, она растапливала печь, грела воду в двух ведрах и теплой водой мыла полы, протирала мебель сырой тряпкой и еще что-то чистила и скоблила, хотя все в доме уже давно сверкало. Кот бродил за нею из комнаты в комнату и смотрел на все эти приготовления насмешливо,— вообще он на все глядел скептически, у него были умные глаза, на щеках топорщилась густая светлая шерсть наподобие бакенбард, он был сыт, медлителен и пушист.

Женщина не подымала глаза на «Красные виноградники», и ей это удавалось некоторое время, но в конце концов ее глаза прилипали к картине. Она пристально глядела на картину и говорила себе: ну и что? Ну, осень, и листья лоз красны, ну, женщины собирают в корзины гроздья, вдалеке висит солнце, а по дороге, текучей, как река, топает обыкновенный бездельник бродяга,— люди трудятся, а он шагает себе, сунув руки в карманы, и наверное, посвистывает, и видно, что у него нет ни дома, ни семьи, и он не знает, куда ведет дорога,— вот и все. И, честное слово, непонятно, что мужчина нашел в этой мазне? Сумасшедший художник взял да наляпал красок на холст, а все теперь охают да ахают... Когда он вернется, я ему прямо скажу, что эта мазня мне не нравится, ей-богу, скажу... Бог-бог-бог, любимый и великий, добрый, ласковый, люблю тебя и прошу тебя...

Да нет, это не сразу, я ведь не сразу невзлюбила картину эту дурацкую, сперва я была равнодушна, но потом в одном осеннем письме он упомянул алые виноградные листья за проломленным и разбитым снарядами дувалом, и — вот... А этот бродяга — не бродяга, он вестник, и он знает, куда идет... Ну, чушь!

Потом она снимала с плиты второе ведро, закрывала на крючок дверь, задергивала шторки и мылась в большом тазу. Вымывшись, она вытиралась мягким, длинным и широким полотенцем и проходила из кухни в комнату, и останавливалась перед большим зеркалом в углу. Она смотрелась, поворачиваясь, хлопала ладошкой по тугому, еще не рожавшему животу и пыталась увидеть себя глазами мужчины, который уже не воевал на Востоке, а сидел и ждал, когда развеется непогода и прилетит вертолет... Он сидит там на Востоке в какой-то про-ре-зи-нен-ной палатке с печкой-буржуйкой, он сидит там с какими-то загорелыми, плечистыми, мрачными друзьями, курит сигарету и молчит, а может, говорит своим низким медленным голосом... Говорит, что у него есть дом с оранжевой крышей и печкой, котом и женой...

Пообедав, она садилась у юго-восточного окна проверять тетради и готовиться к завтрашним урокам. Она сидела, склонив голову над столом и услышав или скорее почувствовав, что по улице идет человек, холодея и задыхаясь, поднимала длинные глаза с короткими бесцветными ресницами и глядела в окно. И действительно, по улице кто-нибудь шел: женщина с сумками, старик сосед в драной зимней шапке, с коромыслом на плече, мальчишка, пьяный мужчина, расфуфыренная девица или просто пес трюхал по каким-то своим собачьим неотложным делам. Сад был черен и гол, по шершавым талиям яблонь и слив текли струи дождя. Дождь-дождь, джон-дон-джей-лей-пей,— но земля уже была насквозь напитана влагой и не пила небесную воду, и вода стояла в углублениях и вмятинах и лилась ручьями к реке. Дождь-дождь, джон-дон, джей-лей, джей-лей...

Кот дремал на диване под дождь. Ему было хорошо, он не помнил мужчины, воевавшего сейчас на Востоке, он никого не ждал.

Впрочем, сейчас он не воюет, нет, не воюет, думала, забыв о тетрадях и завтрашних уроках женщина, не воюет, а сидит в палатке, а по палатке дождь-джонджей. И думает обо мне и про то, что крышу дома увидит издалека, приметная крыша, он ее перед войной выкрасил в этот лучший на свете оранжевый цвет, цвет удачи. Бог! Если ты выполнишь мою просьбу, я клянусь не говорить ученикам, что тебя нет,— я могу бросить школу, чтобы никогда никому не говорить, что тебя нет, я могу ходить каждый день в церковь и слушать, как поют попы, и зажигать перед иконами свечки,— только сделай так, чтобы он вернулся, я прошу.

К вечеру уши ныли от песен дождя, глаза ненавидели улицу и прохожих. Она кормила кота и выпускала его на улицу, затем ужинала чаем и сушками,— больше ничего есть не могла,— и после ужина запирала двери, гасила свет, раздевалась и ложилась. Она лежала, тихо дыша и слушая. Она долго не могла уснуть. Она лежала и вслушивалась. Было страшно, и ноги мерзли. В доме было тепло, а ноги мерзли. С тех пор, как мужчина ушел на Восток, ноги всегда мерзли в постели. И казалось, что дом стоит посреди леса, и кто-то бродит вокруг дома, постукивает когтями по стеклу, царапает дверь.

«Неужели на самом деле есть женщины, всю жизнь живущие без мужчины? — спрашивала она себя.— Ведь плохо одной, и ноги зябнут в постели».

Китайцы говорят... О чем это я думала? А, ну да, о том мертвом мальчике, вспомнила она, лежа с открытыми глазами в темной комнате.

Год назад она вышла утром из дому и увидела человека в канаве возле соседнего дома, это был светловолосый подросток, у него были худые плечи и длинные ноги, куртка в грязи.

Мир был грозен всегда; как только она начала кое-что понимать, почувствовала это, а потом осознала. Мир был грозен и тогда, когда рядом был мужчина,— да. Но — у него были твердые плечи и крепкие кулаки, спокойный взгляд и низкий уверенный голос,— между нею и миром был он. А потом его увезли на Восток, и мир надвинулся и стиснул ее.

А китайцы... Что китайцы? А китайцы говорят: инь и ян, все сущее — инь и ян, женское начало и мужское. Ян — все мощное и яркое, солнечное. Инь — все слабое и тусклое, лунное. Боже, как верно. И спать одной ведь холодно, как будто и впрямь в тебе течет лунный свет, а не кровь... Бог-бог! Верни мне ян!..

Полторы недели минуло после его последнего письма. Женщина каждый день чистила гнездо, и каждое утро украшала голову коронами и змеями, и школьные донжуаны продолжали волочиться за нею, похожие на крыс, зачарованных волшебной дудой Нильса. И вот-вот должен был пойти снег, люди, собаки, деревья и птицы ждали его. А женщина из дома с оранжевой крышей ждала мужчину. Она была инь, и по ночам ноги ее были ледяными.

И наконец в понедельник ранним утром полетели хлопья, лоскуты и клочья, и земля отделилась от черного неба и тускло засветилась. Снег.

У женщины в этот день не было уроков, но она поднялась рано и увидела, что небо отлипло от земли. Она накинула мужской полушубок и вышла на крыльцо. Кот, всю ночь гулявший где-то, пропел короткий и хриплый гимн и юркнул в дом. Снег падал ломтями. Ломти летели и летели вниз и повисали на сучьях яблонь и слив, шлепались в лужи, прилипали к оранжевой крыше, мостили клейкую жирную дорогу, округляли и смягчали крыши с трубами, деревья, грядки, поленницы. Сердце женщины вдруг замерло, дыхание перехватило, на миг она почувствовала жуткую легкость, как если бы оторвалась от крыльца и чуть-чуть повисела в воздухе.

Это сразу и прошло. Женщина, горя лицом, вернулась в дом. Она поняла — сегодня!

Кот капризно заблеял: ме! ме-у! ме! — и женщина покормила его. Самой есть нисколько не хотелось, она напилась холодного чаю и сжевала конфету.

В печи уже пухал огонь, на плите стояли ведра с водой. Женщина всюду зажгла свет и внимательнейше осмотрела комнаты. Она убрала постель, сложила стопкой тетради и книги на столе. Вымыла полы. Лицо полыхало, сердце тяжело билось, гудя, и голова кружилась.

— Да что я? — спросила вслух женщина и подумала: да что я? может, не сегодня, с чего это я... может, завтра... или через два, три, четыре дня.

Но лицо было огненным, сердце бухало, как после долгого бега, и в голове время от времени цепенело и млело. На улице сыпался снег, крупный и белый. В печи играл огонь... как-то празднично играл, как-то не так, как всегда, и все было не так, и даже бродяга на картине Ван Гога шел по жидкой и прозрачной дороге веселее, и эти женщины с огромными задами бодрее обрывали гроздья с лоз и клали их в большие корзины. Женщина обмылась и надушилась зеленым ароматом, надела платье и сделала прическу.

Медленно рассветало. Слишком медленно. Женщина не знала, что ей теперь делать. Все было готово, дом с оранжевой крышей ждал хозяина с Востока,— ждало крыльцо, ждала печка, ждали комнаты, и французские виноградари торопились снять все гроздья до его прихода.

Рассвело. Снег все падал. Земля была бела и нежна, были нежны и белы крыши, ветви яблонь и слив и округлые холмы с крошечными домиками и маленькими садами за рекой, и купол церкви Иоанна Богослова, а заборы и стены броско и траурно чернели.

Женщина прошлась по дому, наклонилась и рассеянно погладила кота. Она взяла с полки какую-то книгу, полистала ее, прочла, ничего не понимая, несколько строчек, захлопнула и сунула в книжный ряд. Часы показывали десять. Снег все летел за окнами.

Может, блинов напечь? Нет, блины остынут, а разогретые не так вкусны. Может, накрасить губы? Но он не любил, когда она красила губы. А вдруг теперь это ему понравится? А если не понравится? Женщина накрасила перед зеркалом губы. Улыбнулась. Нет слишком ярко. Она потерла легонько губы ватой. Теперь вроде бы ничего.

Снег шел за окнами.

Ей почему-то казалось, что он придет не сейчас. В одиннадцать не придет, в двенадцать не придет. Придет через три часа или через шесть часов, но сейчас этого не может быть,— чтобы он появился так скоро, так не бывает.

В двенадцать часов снег поредел, и постепенно воздух очистился и стал ясен и морозен, но небо не было синим, оно оставалось серым. Мир был свеж и пухл.

Женщина улыбнулась — она придумала себе работу. Она скинула платье, надела шерстяное трико, свитер и лыжную вязаную шапку, взяла рукавицы, обулась и вышла на улицу. Щурясь от белизны, она пробрела по снегу к сараю, отворила дверь и вынесла из сарая деревянную лопату.

Она расчищала дорожки. Снег был легок, но его нападало много, и женщина раздышалась и раскраснелась. Она убирала с дорожек снег и думала: вот — белый праздник. И еще думала: хорошо, если в эту минуту — он, у меня щеки розовы, я чувствую, что я свежая, и он увидит меня свежую посреди этого свежего сада. Жаль только, что снег залепил оранжевую крышу.

Но ни в эту, ни в другие минуты, что она провела в саду с лопатой, он не пришел.

Расчистив все дорожки, женщина нехотя направилась в дом. У крыльца остановилась, обернулась, оглядела сад... На дальней яблоне сидела сизая птица. На дальней яблоне висело несколько гнилых черных сморщенных мелких яблок, и сизая птица прилетела их расклевывать. Женщина стояла не шевелясь. Птица была похожа на голубя, только она была изящнее. Женщина следила за дымчатой птицей и вспоминала, как зовется птица. Лесная гостья повертела головой, вытянула шею и клюнула черный плод, и тут же пугливо заозиралась. Ничего страшного не произошло, по саду никто не крался к ней, и птица уже смелее ущипнула яблоко, и еще, и еще. Тут неслышно появилась вторая птица, она села на ту же яблоню, и тогда первая издала тихий картавый горловой звук, и женщина вспомнила, как зовутся эти птицы — горлицы. И опять у женщины закружилась голова, и тело стало невесомым. Сегодня. И, быть может, сейчас.

Было два часа дня. Горлицы покинули сад, сад был пуст. По улице изредка проходили люди: мужчины, женщины, дети и старики — все чужие и постылые.

Когда наступил вечер, женщина поджарила на электрической плитке вчерашнюю картошку и согрела чай. Картошку так и не смогла есть,— попробовала и накрыла сковородку крышкой. Выпила чашку чая и съела немного белого хлеба с маслом. Ни в семь часов вечера, ни в десять часов вечера, ни в час ночи крыльцо не заскрипело под мужскими шагами. Женщина погасила свет, разделась и легла. Шерстяные носки не снимала, чтобы ноги не зябли, но и в шерстяных толстых носках они мерзли, и лицо мерзло, и редкие теплые капли скатывались по холодному лицу.

Утром она проснулась и почувствовала какую-то сухую ясность в душе, и подумала: не сегодня. И сны какие-то были, какие-то такие, которые то же говорили: не сегодня. Но прическу она сделала. Позавтракала и накормила кота.

И, собирая тетради, увидела из окна идущую вдоль забора почтальоншу в фуфайке и платке, с сумкой на боку. Почтальонша дошла до калитки, сунула в плоский металлический ящик газеты и конверт и неторопливо зашагала дальше по жидкой и грязной дороге.

Просто почтальон принес свежие газеты, медленно подумала женщина. А в конверте письмо от какой-нибудь подруги, медленно подумала она, завороженно глядя из окна на синий почтовый ящик.

Она встала. Спустилась с крыльца и по скользкой тропинке сквозь холодный туман пошла к почтовому ящику на темных крестах калитки.

Это просто кто-то письмо послал. И все. Вот и все, пьянея, думала она.

Она вынула из ящика газеты и письмо.

Сереющую кожу лица порвали морщины, на виске вспучилась жила, под глазами расплылись темные полукружья,— женщина с обезьяньим лицом вскрыла конверт.

Варлам Шаламов

ИЗ «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ»

ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал,— воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтобы ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной — скалу, высокое дерево; человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд, плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

<1956 г.>

ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения,— раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотня голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочалась, истекая потом на полу — на нарах было слишком жарко. На комендантские поверки арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на оправке, бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. «Поднарники» сделались вдруг обладателями лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборив», и острили, по-тюремному мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарии», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных круглых глаз говорил, беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп:

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.

— Если дадут больше десяти,— продолжал он раздумывать,— то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере,— мулла помолчал,— на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня. когда перечитывал «Записки из Мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах,

а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в лагерном забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок поменьше — от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, при побоях десятников, старост, блатарей и конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается 15 мая и кончается 15 сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Арестанты, получившие «срок», рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щелей дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толкались пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух, который был не похож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть. По простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решеток,

без унизительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья кленов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые тучки, еще не пахнущие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка, еще один «маршрут» к северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным, и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов,— пароход был неожиданно маленьким, слишком много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесных сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой все леденело. И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным.

Летом воздух был слишком тяжел для сердечнобольных, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки было нельзя сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее было нельзя из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак и развод на работу, и ходьба на место ее занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — 300 граммов хлеба в день и без баланды.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму,— остальные подвергались конфискации. Все это не носило характера произвола — отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата-начальника — это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались — можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину все же получить,— то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими «Ванечками» и «Сенечками». Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том, и в другом

случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев, но это была единственная возможность спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. По многим бригадам бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальных двадцать — тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встретить кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства или это просто какое-то психическое расстройство «на фоне упадка питания»? Последнее более верно.

Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя осталось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную

и бласиую эпидемию, уносившую десятки жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия, начиная от Р. Ф. И. — таинственных букв в диагнозах истории болезни, переводимых как резкое физическое истощение, или чаще полиавитаминоза — чудного латинского названия, говорящего о недостатке нескольких витаминов в организме человека, успокаивающего врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода.

Если вспомнить неотапливаемые сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака... Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение — это ведь мучение навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов — членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность, то легко видеть, насколько «чистый воздух» был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимуществ «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинств «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла...

1955

ПЛОТНИКИ

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом — сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице 40 градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще нетрудно — значит 45 градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — 50 градусов. Свыше 55 градусов плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз; он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до 40—45 градусов, дня два будет тепло, а дальше, чем на два дня, не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело «до костей» — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед — пресловутая «юшка» и две ложки каши — мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, — печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало — за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности.

Вверху было теплее, хотя, конечно же, все спали в том, в чем работали,— в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающим, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это — смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, на морозе, не в бараке, под сапогами, среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и, бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отмороженью, или разрушения были навечны. Так и душа — она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше — теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было немного. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около

начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятья. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядом ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке и якутских торбазах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке.

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич,—одно мучение.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь,— хрипло сказал он.

— Воля ваша, Александр Евгеньевич.

— Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

— Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

— Вот, гляди. Эй, ребята, внимание.— Человек в оленьей шапке встал перед бригадой.— Управлению нужны плотники — делать короба для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич,— зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос:

— Есть. Я плотник,— и сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это был Григорьев.

— Ну,— человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру.— Ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти,— прохрипел он,— мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем,— закричал Григорьев.— Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба,— сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут «получать» инструмент — выписывать, искать кладовщика. А к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето, он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это, плотничать? — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли,— весело сказал Григорьев,— аспирант московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топор и развести пилу. Тем более, это надо делать рядом с горячей печкой.

— Значит, и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.

— Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту они сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

— Вы зачем? — недружелюбно спросил их столяр.
— Мы плотники. Будем работать тут,— сказал Григорьев.
— По распоряжению Александра Евгеньевича,— добавил поспешно Поташников.
— Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры,— сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.
— О нас, о нас...
— Берите,— недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем.— Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорища.— Арнштрем улыбнулся.— Дневная норма мне на топорища — тридцать штук,— сказал он.
Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.
— Теперь ты,— сказал он Поташникову.
Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.
— Хватит,— сказал Арнштрем.
Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого кроме трех людей не было.
— Возьмите вот два моих топорища,— Арнштрем подал готовые топорища Григорьеву,— и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.
Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до 30 градусов — зима уже кончалась.

1954 г.

ПОЧЕРК

Поздно ночью Криста вызвали на «конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь «по особо важным делам», как острили в лагере, ибо в лагере не было дел не особо важных — каждый проступок и видимость проступка мог быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании? Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет — это хлеборез, наверное, сейчас начнет на-

резать пайки к завтраку. К завтрашиему завтраку. Будут ли завтрашинй деиь н завтрашний завтрак у Крнста? Он этого ие знал и радовался своему иезнаиию. Под иоги Кристу попалось что-то, ие похожее иа снег нли льдннку. Крист иагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это — шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, н Крнст затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, иачнная от края бараков, поннмая, что ои, Крнст, проходит первым по этой длиниой сиежной дороге, что еще иикто до него не проходил здесь по краю поселка к следователю сегодня. По всей дороге к снегу прнмерзлн, как завериутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков — одии больше, другне меньше. Давио уж Крист ие видел людей, которые бросали бы в сиег коркн от репы. Это был не заключеиный, вольионаемиый, конечио. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти коркн — во рту его запахло чем-то давио забытым — родной землей, жнвымн овощами, н с радостиым настроеинем Крнст постучал в дверь домнка следователя.

Следователь был иевысок, худощав, иебрнт. Здесь был только его служебный кабииет и железиая койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол — самодельиый пнсьмеиный стол с перекошенными выдвижнымн ящикамн, туго иабнтыми бумагами, какими-то папками. На подокоинике ящик с карточками. Этажерка тоже завалеиа туго иабитымн папкамн. Пепельиица из половины коисервиой банкн. Часы-ходики на окне. Часы показывали половнну одиииадцатого. Следователь растапливал бумагой железиую печку.

Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни диевального, нн револьвера.

— Саднтесь, Крист,— сказал следователь, иазывая заключеиного на «вы», и подвииул ему старую табуретку. Сам ои сидел на стуле — самодельиом стуле с высокой спинкой.

— Я посмотрел ваше дело,— сказал следователь,— и у меня есть к вам одио предложеине. Не знаю, подойдет ли это вам.

Крист замер в ожндании. Следователь помолчал.

— Я должеи знать о вас еще кое-что.

Крист поднял голову и ннкак ие мог сдержать отрыжкн. Прнятиой отрыжки — иеудержнмого вкуса свежей репы.

— Напишите заявление.
— Заявление?
— Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.
— Заявление? О чем? Кому?
— Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или птичку пушкинскую:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей...
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей,

— продекламировал следователь.
— Это не пушкинская птичка,— напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.
— А чья же?
— Туманского.
— Туманского? Первый раз слышу.
— А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных?
— Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют.— Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.
— Да,— сказал следователь, поймав этот взгляд.— Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.

Крист подумал о репе. Витамины — их больше в корке репы, чем в мякоти,— достались Кристу, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обглаживал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.
— Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.

Крист все еще ничего не понимал.
— Пишите! — диктовал следователь.— «Начальнику прииска. Заключенного Криста, год рождения, статья, срок. Заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу...» Достаточно.

Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.

— Садитесь к столу. С краюшка.

У Криста был каллиграфический, писарский почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.

Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.

— У меня беспорядок, хаос,— говорил следователь.— Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

— Конечно, конечно,— сказал Крист.

Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло.

— Закурить бы...

— Я некурящий,— сказал следователь грубо.— И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.

Так несколько месяцев, раз в неделю, Крист приходил в нетопленое, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.

Бесснежная зима тридцать седьмого-восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам «в этап». Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах — этап так этап,— работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Увеличивались часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки пачку дел, которые возни-

кали неизвестно откуда, без Криста, и, торопясь, диктовал списки, а Крист писал.

В двенадцать диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал — завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.

И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста, и спросил:

— Как ваше имя, отчество?

— Роберт Иванович,— ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его «Роберт Иванович» вместо «Крист» — это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Кристу. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тоненькие бумажки, подшитые в папку,— их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста:

— Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются.— И твердыми глазами посмотрел на Криста.— Продолжаем писать. Вы готовы?

— Готов,— сказал Крист и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.

Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда — не реже раза в несколько лет — вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское дело,— подарок обреченному от обрекающего.

Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.

1964 г.

ХЛЕБ

Двустворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две

тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку и сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем, как солнце, дубленом овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половинке. Какие расчеты белков и калорий были тут произведены — этого не знал никто, да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбного мяса, но зато голова давала гораздо больше удовольствия. Процесс поглощения пищи длился, пока обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищеной, и это все одобряли: ведь ели со всеми костями и шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло: хвостики были данностью, фактом. К тому же поднос приближался, и наступала самая волнующая минута — какой величины обрезок достанется,— менять ведь было нельзя. протестовать тоже: все было в руках удачи — картой в этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или быстро забыл), что десять граммов больше или меньше, кажущихся на глаз десять граммов, могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются.

Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтобы определить — сухая или жирная досталась порция (впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), человек не может удержаться, чтобы не обвести быстрым взглядом руки

тех, которые окружают его и которые тоже гладят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться и проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки с утра,— отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко, и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натянуть на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой, и надо торопиться, ибо двери вновь распахнуты и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки...

Мы — в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас «гоняют» на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та работа, куда берут мало людей — двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто,— это тяжелая работа, земляная большей частью. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы,— он узнает об этом уже в пути,— удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод,— словом, все те места, где работа связана с едой,— будущей или настоящей,— там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не

обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться,— воспаление легких, скажем,— привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали. «На хлебозавод, слышь вы, на хлебозавод» — есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее, и их сангвинический темперамент в самом тяжелом положении, всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью. Для других, напротив, события развиваются к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от личного опыта — она как бы дается в детстве — на всю жизнь...

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя в сторону, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и подошел к нам. Медленно он обводил взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо было сообразить в одну минуту очень много. Среди двадцати оборванцев надо было выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в «цехах». Надо, чтоб эти люди были покрепче прочих, чтоб они могли таскать носилки с битым кирпичом, оставшимся после перекладки печи. Чтоб они не были ворами, «блатными», ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив» — записок, а не на работу. Надо, чтоб они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их ведь никто караулить не будет. Надо, чтоб они не были «склонны к побегу». Надо...

И все это надо было прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту, тут же выбрать и решить.

— Выходи,— сказал мне человек без шапки.— И ты,— кликнул он моего веснушчатого всеведущего соседа.— Вот этих возьму,— сказал он конвоиру.

— Ладно,— сказал тот равнодушно.

Завистливые взгляды провожали нас.

У людей никогда не действуют одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Я не слышу радио, когда внимательно читаю. Строчки прыга-

ют перед глазами, когда я вслушиваюсь в радиопередачу, хотя автоматизм чтения сохраняется, я веду глазами по строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что прочитанного я не помню ничего. То же бывает, когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом — это уж действуют какие-то внутренние переключатели. Народная поговорка «Когда я ем, я глух и нем» известна каждому. Можно бы добавить «и слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредоточивается на помощи вкусовому восприятию. Когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев, я ничего не вижу и не слышу — все вытеснено напряжением ощущения осязательного.

Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие, и сущие заключенные), и не слышал слов мастера — знакомого человека без шапки, объясняющего, что мы должны вытащить на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так,— я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко натопленного цеха, тепла, по которому так стосковалось за долгую зиму тело.

Я вдыхал запах хлеба, густой аромат «буханок», где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть этого подавляющего все аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной «пайки». Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои бедные ноздри.

Мастер прервал очарование:

— Загляделся,— сказал он.— Пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой напарник. Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печи, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало пламя — то красное, то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, положил буханку белого хлеба.

— Напои их,— сказал он кочегару.— Я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука,— сказал кочегар, вертя в руках буханку.— Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди,— и он вышел вслед за мастером, и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая,— сказал он, бросая буханку веснушчатому парню.— Из тридцаточки. А то, вишь, хотел полубелым отделаться. Дай-ка сюда,— и, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воющий огонь. И, захлопнув дверцы, засмеялся.

— Вот так-то,— весело сказал он, поворачиваясь к нам.

— Зачем это,— сказал я,— лучше бы мы с собой взяли.

— С собой мы еще дадим,— сказал кочегар.

Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханки.

— Нет ли у тебя ножа? — спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломанной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец,— похвалил он.

Но нам не было времени доискиваться — кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьями. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты, и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно тяжелы, что они тянули жилы, а руки внезапно слабели, лишаясь сил. Кружилась голова, нас пошатывало. Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит,— сказал веснушчатый парень. Он был еще бледнее меня, или веснушки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята,— весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждых двух носилок садились снова — куча мусора не убывала.

— Покурнте, ребята,— сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам по цигарочке. Только надо выйтн. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, н каждый закурил свою папиросу — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медлеиных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завериул ее в бумажку н спрятал за пазуху.

— Правильно,— сказал веснушчатый парень.— А я и не подумал.

К обедениому перерыву мы освоились настолько, что заглядывалн и в соседние комнаты с такимн же пекарнымн печами. Везде нз печей вылезали с визгом железные формы и лнсты, и иа полках везде лежал хлеб, хлеб. Время от времени прнезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузнли н увозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру,— это был белый хлеб.

В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместнлось к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носнлки оставьте на мусоре. Маловато сделалн. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работннчки.

Нам далн по буханке хлеба, мы изломалн его на куски, набнли карманы... Но сколько могло войтн в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки,— командовал веснушчатый пареиь.

Мы вышли на холодный вечериий двор — партия уже строилась,— нас повелн обратно. На лагерной «вахте» нас обыскнвать не стали — в руках никто хлеба не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намокшие, застывшие ногн.

Всю иочь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швыряющего хлеб в огненное жерло печкн.

1956

ТЕРМОМЕТР ГРИШКИ ЛОГУНА

Усталость была такая, что мы сели прямо на снег у дороги, прежде чем идти домой

Вместо вчерашних сорока градусов было всего лишь двадцать пять, и день казался летним.

Мимо нас прошел в расстегнутом нагольном полушубке Гришка Логун, прораб соседнего участка. В руке он нес новый черенок для кайла. Гришка был молод, удивительно краснорож и горяч. Он был из десятников, даже из младших десятников, и часто не мог удержаться, чтобы не подпереть собственным плечом засевшую в снегу машину или помочь поднять какое-нибудь бревно, сдвинуть с места примерзший короб, полный грунта,— поступки, явно предосудительные для прораба. Он все забывал, что он — прораб.

Навстречу ему шла виноградовская бригада — работяги не бог весть какие, вроде нас. Состав ее был точно такой, как и у нас,— бывшие секретари обкомов и горкомов, профессора и доценты, военные работники средних чинов.

Люди боязливо сбились в кучу к снежному борту — они шли с работы и давали дорогу Гришке Логуну. Но и он остановился — бригада работала на его участке. Из рядов выдвинулся Виноградов — говорун, бывший директор одной из украинских МТС.

Логун уже успел отойти от того места, где мы сидели, порядочно, голосов нам не было слышно, но все было понятно и без слов. Виноградов, махая руками, что-то объяснял Логуну. Потом Логун ткнул кайловищем в грудь Виноградова, и тот упал навзничь... Виноградов не поднимался. Логун вскочил на него ногами, топтал его, размахивал палкой. Ни один человек из двадцати рабочих его бригады не сделал ни одного движения в защиту своего бригадира. Логун подобрал упавшую шапку, погрозил кулаком и двинулся дальше. Виноградов встал и пошел как ни в чем не бывало. И остальные — бригада шла мимо нас — не выражали ни сочувствия, ни возмущения. Поравнявшись с нами, Виноградов скривил разбитые, кровоточащие губы.

— Вот у Логуна термометр так термометр,— сказал он.

— Топтать — это «пляска» по-блатному. Или «ах, вы сени, мои сени»,— тихо сказал Вавилов.

— Ну,— сказал я Вавилову, приятелю своему, с которым приехал я вместе на прииск из самой Бутырской тюрьмы,— что ты скажешь? Надо что-то решать. Вчера нас еще не били. Могут ударить завтра. Что ты сделал бы, если Логун тебя, как Виноградова? А?

— Стерпел бы, наверное,— тихо ответил Вавилов. И я понял, что он уже давно думал об этой неотвратимости.

Потом я понял, что тут все дело в физическом преимуществе, если это касается бригадиров, дневальных, смотрителей — всех людей невооруженных. Пока я сильнее — меня не ударят. Ослабел — меня бьет всякий. Бьет дневальный, бьет банщик, парикмахер и повар, десятник и бригадир, бьет любой блатной, хоть самый бессильный. Физическое преимущество конвоира — в его винтовке.

Сила начальника, который бьет меня,— это закон и суд, и трибунал, и охрана, и войска. Нетрудно ему быть сильней меня. Сила блатных — в их множестве, в их «коллективе», в том, что они могут со второго слова зарезать (и сколько раз я это видел). Но я еще силен. Меня может бить начальник, конвоир, блатной. Дневальный, десятник и парикмахер меня еще бить не могут.

Когда-то Полянский, физкультурный деятель в прошлом, получавший много посылок, и не поделившийся никогда ни с кем ни одним куском, укоризненно говорил мне, что просто не понимает, как люди могут довести себя до такого состояния, когда их бьют,— возмущался моими возражениями. Но не прошло и года, как я встретил Полянского — «доходягу», «фитиля», сборщика окурков, жаждавшего за суп чесать пятки на ночь каким-то блатным «паханам».

Полянский был честен. Какие-то тайные муки терзали его — настолько сильные, острые, извечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх.

Как-то настал праздничный день, а нас в праздники сажали под замок — это называлось праздничной изоляцией,— и были люди, которые встречались друг с другом, познакомились друг с другом, поверили друг другу именно на этих «изоляциях». Как ни страшна, как ни унизительна была изоляция — она была легче работы для заключенных пятьдесят восьмой. Ведь изоляция была отдыхом — пусть минутным, а кто бы тогда разобрался, минута или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело — в прежнюю свою душу мы не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся. Так вот, Полянский был честен, мой сосед по нарам в изоляционный день.

— Я хотел давно тебя спросить одну вещь.

— Что же это за вещь?

— Когда несколько месяцев назад я смотрел на тебя, как ты ходишь, как не можешь перешагиуть бревна на своем пути н должен обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда ты шаркал ногами по камням и маленькая неровиость, чуточный бугорок на пути казался препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиенне, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на тебя и думал — вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт, лодырь.

— Ну? А потом ты понял?

— Потом я понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все сталн толкать, бнть,— а для человека нет лучше ощущення, чем сознавать, что кто-то еще слабее, еще хуже.

— Почему ударнников прнглашают на совещаиия, почему физическая снла — нравствеииая мерка. Фнзически снльней — значит лучше, моральнее, нравственней меня. Еще бы — он поднимает глыбу в десять пудов, а я гнусь под полупудовым камнем.

— Я все это понял — и хочу тебе сказать.

— Спасибо и на том.

Вскоре Полянский умер — упал где-то в забое. Бригадир его ударнл кулаком в лицо. Брнгаднр был не Гришка Логун, а свой, Фирсов, военный, по пятьдесят восьмой статье.

Я хорошо помню, когда меня ударили первый раз. Первый раз нз сотен тысяч плюх, ежедневных, еженощных.

Запомннть все плюхн нельзя, но первый удар я помню хорошо — был к нему даже подготовлен поведением Гришки Логуна, смирением Вавилова.

Средн голода, холода, четырнадцатичасового рабочего дня в морозной белой мгле каменного золотого забоя вдруг мелькнуло что-то нное, какое-то счастье, какая-то мнлостыня, сунутая на ходу,— милостыня не хлебом, не лекарством, а милостыня временем, отдыхом неурочным.

Горным смотрителем, десятником на участке нашем был Зуев — вольняшка, бывший зэка, побывавший в лагерной шкуре.

Что-то было в черных глазах Зуева — выражеиие какого-то сочувствня, что ли, к горестиой человеческой судьбе.

Власть — это растленне. Спущенный с цепн зверь, скрытый в душе человека, ищет жадиого удовлетворе-

ния своей извечной человеческой сути — в побоях, в убийствах.

Я не знаю, можно ли получить удовлетворение от подписи на расстрельном приговоре. Наверно, там тоже есть мрачное наслаждение, воображение, не ищущее оправданий.

Я видел людей — и много,— которые приказывали когда-то расстреливать,— и вот сейчас их убивали самих. Ничего, кроме трусости, кроме крика — тут какая-то ошибка, я не тот, которого надо убивать для пользы государства,— я сам умею убивать.

Я не знаю людей, которые давали приказы о расстрелах. Видел их только издали. Но думаю, что приказ о расстреле держится на тех же душевных силах, на тех же душевных основаниях, что и сам расстрел, убийство своими руками.

Власть — это растление.

Опьянение властью над людьми, безнаказанность, издевательство, унижения, поощрение — нравственная мера служебной карьеры начальника.

Но Зуев бил меньше, чем другие,— нам повезло.

Мы только что пришли на работу, и бригада теснилась в затишке — спрятались за выступ скалы от режущего, резкого ветра. Укрывая лицо рукавицами, к нам подошел Зуев, десятник. Развели по работам, по забоям, а я остался без дела.

— У меня к тебе просьба,— задыхаясь от собственной смелости, сказал Зуев.— Просьба! Не приказ! Напиши мне заявление Калинину. Снять судимость. Я тебе расскажу, в чем дело.

В маленькой будке десятника горела печка, и туда нашего брата не пускали — выгоняли пиками, плюхами любого из работяг, посмевшего отворить дверь, чтобы хоть на минуту вдохнуть этот горячий воздух жизни. Звериное чувство вело нас к этой заветной двери. Придумывались просьбы — сколько времени? Вопросы — «Вправо пойдет забой или влево?» — «Разрешите прикурить?» — «Нет ли здесь Зуева? Добрякова?»

Но эти просьбы не обманывали никого в будке. Из открытых дверей пришедших возвращали в мороз пиками. Но — все же минута тепла...

Сейчас меня не гнали, я сидел у самой печки.

— Это что, юрист? — презрительно прошипел кто-то.

— Да, мне рекомендовали, Павел Иванович.

— Ну-ну,— это был старший десятник, он снизошел до нужды подчиненного.

Дело Зуева, он кончил срок еще в прошлом году, было самым обыкновеиным деревенским делом, начавшимся с алиментов родителям, которые и определили Зуева в тюрьму. До окончания срока оставалось недолго, но начальство успело переправить Зуева на Колыму. Колонизация края требует твердой линии в создании всяких препятствий к отъезду, государственной помощи и постоянного внимания приезду, завозу на Колыму людей. Эшелон заключенных — просто наиболее простой путь обживания новой трудной земли.

Зуев хотел рассчитаться с Дальстроем, просил снять судимость, отпустить на материк по крайней мере.

Трудно было мне писать, и не только потому, что загрубели руки, что пальцы сгибались по черенку лопаты и кайла, и разогнуть их было невероятно трудно. Можно было только обмотать карандаш и перо тряпкой потолще, чтобы имитировать кайловище, черенок лопаты.

Когда я догадался это сделать — я был готов выводить буквы.

Трудно было писать, потому что мозг загрубел так же, как руки, потому что мозг кровоточил так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни, и, как я считал, навсегда.

Я писал эту бумагу, потея и радуясь. В будке было жарко, и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.

К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и всунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра — этому я был обучен.

День уже кончался — по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой утром, и в полночь, и в полдень,— и нас повели домой.

Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон — буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.

Утром я ждал встречи с Зуевым,— может быть, закурить даст.

И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:

— Ты обманул меня, сука!

Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобри-

ли заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.

Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранятся прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после Мертвого дома писал скорбные, слезные, унизительные, но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В Мертвом доме не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.

— Ты обманул меня, сука! — ревел Зуев.— Я покажу, как меня обманывать!

— Я не обманывал...

— День просидел в будке, в тепле. Я сроком за тебя, гадину, отвечаю, за твое филонство! Думал — ты человек!

— Я — человек,— неуверенно двигая синими обмороженными губами, прошептал я.

— Я покажу тебе сейчас, какой ты человек!

Зуев выбросил руку, и я ощутил легкое, почти невесомое прикосновение, не более сильное, чем порыв ветра, который в том же забое не раз сдувал меня с ног. Я упал, и закрываясь руками, облизал языком что-то сладкое, липкое, выступившее на краю губ.

Зуев несколько раз ткнул меня валенком в бок, но мне не было больно...

1966 г.

«КАНТ»

Сопки были белые с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством — процвести поскорее для него всеми цветами — в одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах — и руку подымать не надо — наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки единственные цветы здесь, которые имели запах,— все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз,— то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелье и утрамбовали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту — так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и ложился снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный

ветер, но стланнк не ложнлся,— можно было быть твердо уверенным, что снега не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло н воздух был по-знмнему разрежен н сух, стланнк вдруг подннмался, стряхнвая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струн воздуха прнноснли весну.

Стланнк был ннструментом очень точным, чувствнтельным до того, что порой он обманывался — он подннмался в оттепель, когда оттепель затягнвалась. Перед оттепелью он не подннмался. Но еще не успевало похолодать, как он снова тороплнво укладывался в снег. Бывало н такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ногн н рукн, заложншь побольше дров н уходншь на работу. Через два-трн часа из-под снега протягнвает ветвн стланнк н расправляется потнхоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложится на снег.

Знма здесь двуцветна — бледно-сннее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, н долго-долго земля одета в этот ннщенскнй убор, пока новая зелень не наберет силу н все не станет цвестн — тороплнво и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной знмы — ярко, ослепнтельно зеленый, сверкал стланнк. К тому же на нем росли орехн — мелкне кедровые орехн. Это лакомство делнлн между собой людн, кедровкн, медведи, белки и бурундукн.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопкн, мы натаскалн сучьев, мелкнх н покрупнее, нарвали сухой травы на прометннах — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы прннесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу нз топящейся печки,— спнчек здесь не было.

Головешкн носнлн в большой консервной банке с прнделанной ручкой из проволокн, тщательно следя, чтобы головнн не погаслн дорогой. Вытащнв головнн из банки, обдув нх н сложнв тлеющие концы вместе, я раздул огонь н, положив головнн на веткн, заложил костер — сухую траву и мелкне сучья. Все это было закрыто большнмн сучьямн, и скоро снннй дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я ннкогда раньше не работал в брнгадах, заготовляющих хвою стланнка. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щнпалн, как перья у днчи, руками, захватывая побольше в горсть, набнвалн хвоей мешкн и вечером

сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный «витаминный комбинат», где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом «лечении» дополнительное средство лагерного «воздействия». Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обеда — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Возде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с «материка», но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Представителем витамина «С» инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья — я ослабел и из золотого забоя был переведен «щипать стланик».

— Походишь на стланик,— сказал утром нарядчик.— Дам тебе кант на несколько дней.

«Кант» — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.

Работа на стланике считалась не только легкой — легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ и ты — и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, «заработок» был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать,— сказал он.— И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее,— сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой.— Плохо, брат!

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.

— Пора домой,— сказал он вдруг.— А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит.— И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок.

— Там не развязывают,— сказал он, хмурясь.— Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне навалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.

— Волоком волоки,— сказал товарищ.— Вниз ведь тащить, не наверх.

Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

1956 г.

СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы все четверо пришли на ключ «Дускаиья», мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда — чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши «чуни» не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника; на земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и «магар». У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Щапов — легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе — не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться и дышать, и даже пилить бревна и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор,— в этом мышечном слое размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие — приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть — пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара,— наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы — все четверо — были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле пре-

кратить эту жизнь хоть завтра же, и иногда решались сделать это, и всякий раз нам мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба,— просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми — думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли — это было самое главное,— что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку — арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами «оружия» делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», т. е. исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам, он об-

ращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Афоризм Павла Первого: «В России знатен тот, с кем я говорю — и пока я с ним говорю» — нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы и судили его за незаконный убой скота — единственной их овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду, помогали ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному — к Ивану Ивановичу.

Савельев был студент московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо «вождю» партии как верный комсомолец, уверенный, что до «вождя» не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным — переписка с невестой, где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же все думали, что кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма в один из «заявительных» тюремных дней Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его

дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор «особого совещания» — десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень скоро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее улицы, памятники, Москву-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановичу мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубаху и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, на утро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали здесь густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три — они сгорели бы. Этот закон я и Саве-

льев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще...

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На «материке» давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником — дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные — зимой для отдыха заключенных «в счет выходных».

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы — все четверо — приняли мудрое решение — варить два раза в день — на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы,— сказал Иван Иванович.— Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов,— сказал Савельев,— как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и в крайнем случае — разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме — тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты,— всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных — без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои «жиры» в виде комочка «гидрожира», сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб, липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера «привеса», кормившие начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе неизвестных нам в

течение всей нашей жизни: «магар», «пшеничная сечка» — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным «таблицам замены» мясо,— ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью «нормы» не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили «нормам» — и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых,— не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзался и укреплялся там тончайшими волосками щупальце-корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства — даже на Севере, не требовательном к материалу для возведения здания. Эти крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись

золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что в воротах немецких лагерей выписывался девиз: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее, как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой — но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексу лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились,

кому становиться под комель бревна, а кому под вершину при переноске их в штабеля — «трелевке», как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы «филонили».

Утром мы с Савельевым свалили кое-как огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву — пила зазвенела о камни — и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот,— сказал Савельев.— Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк; быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит — все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы — бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров,— все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел «профилонить» в лагере.

— А «честный труд»? — сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт — одет по сезону...

— А что это значит — одет по сезону? — спросил Федя.

— Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли,— робко сказал Федя.— Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи про метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя,— говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен,— на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет — трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь,— все было отвергнуто Магометом... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала поездам выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово».

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит это нужда не крайняя, и беда не большая. Горе — недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну,

с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально — и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе «Дусканья» — мы знали все, что не для дружбы собрались сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы,— буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим уменьем забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе «Дусканья», не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим стараньем, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из «перекуров». «Перекур» — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листы черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему — брусничный или смородинный лист «вкуснее». Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для «перекура»-отдыха смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление, но ежечасная «перекурка» — в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван,— сказал Савельев.— Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге, на «вторых путях» мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма

двадцать пять кубометров. Меньше полнормы сделаешь — штрафной паек — трнста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немыслимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное — десятник был душа, он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

— Что ж, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

— Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

— А вы?

— Нам, милый, все равно.

— Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, т. е. десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК,— важно пошутил десятник.

— Да,— сказал Савельев.— Сначала ОП, потом ОК, на ногу бирку и — пока!

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Щапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенца, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выжарил вшей, чиненые ватные брюки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело

всегда и везде «на воле» вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимают интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, читавший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова,— бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве. Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное:

«Мама,— писал Федя,— мама, я живу хорошо . Мама, я одет по сезону...»

1959 г.

ЧЕЛОВЕК С ПАРОХОДА

— Пишите, Крист, пишите,— говорил пожилой, усталый врач. Был третий час утра, гора окурков росла на столе в процедурной. На стеклах окон налип мохнатый толс-

тый лед. Сиреневый махорочный туман наполнял комнату, но открыть фортку и проветрить кабинет не было времени. Мы начали работу вчера в восемь вечера, и конца ей не было. Врач курил папиросу за папиросой, быстро свертывая «флотские», отрывая листы от газеты, либо — если хотел чуть отдохнуть — вертел «козью ножку». По-крестьянски обгоревшие в махорочном дыме пальцы мелькали перед моими глазами. Чернильница-непроливайка стучала, как швейная машинка. Силы врача были на исходе — глаза его слипались. Ни «козьи ножки», ни «флотские» не могли победить усталость.

— А чифирку. Чифирку подварите...— сказал Крист.

— А где его возьмешь, чифирку-то...

Чифир — особо крепкий чай, отрада блатарей и шоферов для дальней дороги,— пятьдесят граммов на стакан — особо надежное средство от сна, колымская шоферская валюта, валюта длинных путей, многодневных рейсов.

— Не люблю,— сказал врач.— Впрочем, разрушительного действия на здоровье в чифире я не усматриваю. Повидал чифиристов немало. Да и давно известно это средство. Не блатные придумали и не шофера. Жак Паганель варил чифир в Австралии, угощал напитком детей капитана Гранта. На литр воды полфунта чая — и варить три часа,— вот рецепт Паганеля, а вы говорите... водилы! Блатари! В мире нет новостей.

— Ложитесь.

— Нет, после. Вам нужно научиться опросу. И первому осмотру. Это хотя и запрещено медицинским законом, но должен же я когда-нибудь спать. Больные прибывают круглые сутки. Большой беды не будет, если первый осмотр сделаете вы. Вы — человек в белом халате. Кто знает — санитар вы? фельдшер? врач? академик? Еще попадете в мемуары, как врач участка, прииска, управления.

— А будут мемуары?

— Обязательно. Если что-нибудь важное — разбудите меня. Ну, начнем. Следующий.

Голый грязный больной сидел перед нами на табуретке, похожий не на учебный муляж, а на скелет.

— Хорошая школа для фельдшеров, а? — сказал врач.— И для врачей также. Впрочем, медику нужно видеть и знать совсем другое. Все, что перед вами сегодня,— это вопрос узкой, весьма специфической квалификации, и если бы наши острова — вы поняли меня? — наши острова проваливались сквозь землю... Пишите,

Крист, пишите. Год рождения — 1893. Пол мужской. Обращаю ваше внимание на этот важный вопрос. Пол — мужской. Этот вопрос занимает хирурга, патологоанатома, статистика морга, столичного демографа... Но вовсе не занимает самого больного. Ему нет дела до своего пола. Пишите...

Непроливайка моя застучала.

— Нет, пусть больной не встает. Принесите ему горячей воды напиться. Снеговой воды из бачка. Он согреется. И тогда мы приступим к анализу «вита». Данные о болезнях родителей,— врач пошуршал печатным бланком истории болезни — можете не собирать. Не тратить время на чепуху. Ага, вот. Перенесенные заболевания — «алиментарная дистрофия, цинга, дизентерия, пеллагра, авитаминозы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я... Можете прервать перечень в любом месте. Венерические заболевания отрицает, связь с врагами народа отрицает. Пишите... Поступил с жалобами на отморожение обеих стоп, возникшее в результате длительного действия холода на ткани. Написали? На ткани... Закройте вот одеялом,— врач сдернул тощее одеяло, залитое чернилами, с койки дежурного врача и набросил на плечи больного.— Когда же принесут этот проклятый кипяток? Надо бы чаю сладкого, но ни чай, ни сахар не предусматриваются в приемных покоях.— Продолжаем. Рост — средний. Какой? У нас нет ростомера. Волосы — седые. Упитанность,— врач поглядел на ребра, натянувшие бледную, сухую грязную кожу.— Когда вы видите такую упитанность, надо писать «ниже среднего».— Двумя пальцами врач оттянул кожу больного.— Тургор кожи — слабый. Вы знаете, что такое тургор?

— Нет.

— Упругость. Что в нем терапевтического? Ну, это хирургический больной, правда? Оставим место в истории болезни для Леонида Марковича. Он завтра, вернее, сегодня утром, посмотрит и запишет. Пишите русскими буквами: Статус локалис. Ставьте две точки.

— Следующий.

<1970—1973> гг.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Книга исчезла. Огромный тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто ви-

дел кражу — не скажет. На свете нет преступлений без свидетелей — одушевленных и неодушевленных свидетелей. А если есть такие преступления? Кража романа Марселя Пруста — не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенной походя, без адреса и все же действующей безошибочно. Кто видел — будет молчать «за боюсь». Благодетельность такого молчания подтверждается всей жизнью лагерной, да и не только лагерной, но и всем опытом жизни гражданской. Книгу мог украсть любой фраер по указанию вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать к преступному миру, к хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так, потому что книга плохо лежит. Книга действительно плохо лежала: на самом краю скамейки в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной — фронт. Разговор, печальный и тревожный, кончился давно.

В солнечный день больных выводили на прогулку — женщин отдельно; Нина как санитарка караулила больных.

Я проводил Нину до угла, вернулся, скамейка все еще была пуста — гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это — скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя.

Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью,— все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я — ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках гольф, с трубкой в зубах, уносящей неправдоподобный запах кэпстена. И кэпстен, и брюки гольф присланы были в посылке вместе с «Германтом» Пруста. Ах, жены, жены, дорогие наивные друзья. Вместо махорки — кэпстен, вместо брюк из чертовой кожи — бархатные брюки гольф, вместо шерстяно-

го, широкого, двухметрового верблюжьего шарфа — нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку,— шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку толщиной в карандаш.

Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в тридцать седьмом году Фрицу Давиду, голландцу-коммунисту, а может быть, у него была другая фамилия, моему соседу по РУРу — роте усиленного режима. Фриц Давид не мог работать — был слишком истощен, а бархатные брюки и шелковый пышный галстук-бант даже на хлеб на прииске нельзя было променять. И Фриц Давид умер — упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно,— все спали стоя,— что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц Давид сначала умер, а потом упал.

Все это было десять лет назад — при чем тут «В поисках утраченного времени»? Калитинский и я — мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк гольф, но Пруст был, и я был счастлив читать «Германта». Я не пошел спать в общежитие. Пруст был дороже сна. Да и Калитинский торопил.

Книга исчезла. Калитинский был взбешен, был вне себя. Мы были мало знакомы, и он был уверен, что это я украл книгу, чтобы продать подороже. Воровство походя было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка — отсыпа, откачка — исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мнению Калитинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и «дунет», скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров, и следы «Германта» исчезли.

Если не продадут любителю — любители Пруста из лагерных начальников!! — еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но Пруста!! — то на карты: «Германт» — это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты... Изрежут — и все.

Нина Богатырева была красавица, русская красавица, недавно привезенная с «материка», привезенная в нашу больницу. Измена родине. Пятьдесят восемь один «а» или один «б».

— Из оккупации?

— Нет, мы не были в оккупации. Это — прифронтовое. Двадцать пять и пять — это без немцев. От майора. Арестовали, хотел майор, чтоб я с ним жила. Я не стала. И вот срок. Колыма. Сижу на этой скамейке. Все правда. И все — неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой...

— Я занят, Нина.

— Слыхала.

— Трудно тебе будет, Нина. Из-за твоей красоты.

— Будь она проклята, эта красота.

— Что тебе обещает начальство?

— Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру.

— Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока.

— А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.

— Кто такой?

— Тайна.

— Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер — все равно. Это не приисковая больница.

— Все равно. Я счастливая. Абажуры буду делать. А потом поступлю на курсы, как ты.

В больнице Нина осталась делать абажуры бумажные. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап.

— Твоя баба, что ли, едет с этим этапом?

— Моя.

Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер без медицинского образования. Какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом.

Володе было далеко за сорок, и Колыму он знал давно. И Колыма знала Володю давно. Делишки с блатными, взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы, подкрепить должность знанием. Была у Володи и фамилия — Рагузин, кажется, но все его звали Володей. Володя — покровитель Нины? Это было слишком страшно.

За спиной спокойный голос Володи:

— На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут «дуть», что живешь с бабой, я ее в список — вурх! — и на этап. И новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке.

Уехала Нина. В больнице оставалась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом — выгодная дружба — Золотниц-

ким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу, на должность хлебореза, сулящую и дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком, требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев, но успел заразить только одну женщину — Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону.

Больница всполошилась. Весь медицинский персонал — на анализ, на реакцию Вассермана. У фельдшера Володи Рагузина — четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы.

А через несколько месяцев в больницу конвой привез больных женщин и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо — в больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую венерическую зону.

Я вышел к этапу.

Только глубоко запавшие крупные карие глаза — больше ничего от прежнего облика Нины.

— Вот, в вензону еду...

— Но почему в вензону?

— Как, ты фельдшер и не знаешь, почему отправляют в вензону? Это Володины абажуры. У меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.

— Да. Теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда?

— Нет, не нашел.

— Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать.

1966 г.

ЗА ПИСЬМОМ

Полупьяный радист распахнул мои двери.

— Тебе ксива из управления, зайди ко мне! — И исчез в снегу, во мгле.

Я отодвинул от печки тушки зайцев, привезенные мной из поездки: на зайцев был урожай, едва успевай ставить петли. Крыша барака была застлана наполовину тушками зайцев, замороженными тушками. Но зай-

цев надо было сначала оттаять. Теперь мне было не до зайцев.

Ксива из управления — телеграмма, радиограмма, телефонограмма — на мое имя. Я пошел к радисту в его укрепленный замок-радиостанцию с бойницами и тройным палисадом, с тройными калитками за щеколдами, засовами, запорами, замками, которые один за другим открывала передо мной жена радиста, и я протискивался вперед, приближаясь к жилищу хозяина. Последняя дверь, и я шагнул в грохот крыльев, в вонь птичьего помета, наступая на хлопающих крыльями кур, на кукарекающих петухов, потерявших представление о времени суток, о времени года. Сгибаясь, оберегая лицо, я шагнул еще через один порог — но и там не было радиста. Там были только свиньи, молчаливые, вымытые, ухоженные,— три кабанчика поменьше и матка побольше. И это была последняя преграда.

Радист сидел, окруженный ящиками с зеленой огуречной рассадой, ящиками с зеленым луком. Радист собрался быть миллионером. На Колыме обогащаются разными способами, ловят длинный рубль. Один путь — это высокая ставка, полярный паек, проценты за выслугу лет. Торговля махоркой и чаем — второй. Куроводство и свиноводство — третий.

Притиснутый всей своей фауной и флорой к самому краю стола, радист протянул мне стопку бумажек, чтобы я, как попугай на ярмарке, сам вытянул свое — не чужое счастье.

Я порылся в телеграммах, своей не нашел, и радист снисходительно, кончиками пальцев извлек мою телеграмму.

«Приезжайте письмом», то есть приезжайте за письмом, почтовая связь экономила смысл, но адресат, конечно, понял, о чем речь.

Я пошел к своему директору и показал телеграмму.
— Сколько километров?
— Пятьсот.
— Ну, что ж.
— В пять суток обернусь.
— Добро. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное — добраться до центральной трассы.
— Хорошо, спасибо.

Я вышел от директора и понял, что даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка. Попросить на пять дней у кого-нибудь — над такой просьбой на Колыме будут смеяться. Оставалось купить себе полушубок в считанные часы в поселке. И верно, нашелся и полушубок, и продавец, Иванов по фамилии. Иванов был холост, молчалив, мрачен Полушубок — черный, с роскошным огромным овчинным воротником — чуть застегивался у талии, у него не было карманов, не было пол, только воротник, широчайшие рукава. Полы он, наверное, отрезал на краги, соображал я, модный, вечно модный товар Крайнего Севера. Пар пять таких краг вышло из пол тулупа, и каждая пара стоила целого полушубка. То, что осталось, не могло, конечно, называться полушубком.

— Что ты, отрезал полы, что ли? — спросил я у продавца.

— А тебе не все равно. Я продаю полушубок. За пятьсот рублей. Ты его покупаешь. Этот лишний вопрос — отрезал я полы или нет.

И верно, вопрос был лишний, и я поторопился заплатить Иванову. Принес домой полушубок, примерил и стал ждать ночи. Собачья упряжка — быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарту, полет, поворот — речка какая-то, лед, кусты, бьющие по лицу больно, но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета — и почтовый поселок, где...

— Марья Антоновна — меня не подбросят?

— Подбросят.

Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок. И я, и Марья Антоновна пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на нас с Марьей Антоновной.

— Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это — его земля.

А вот и олени-бубенцы, нарты, палка у каюра. Только палка называется хореем, а не остолом, как для собак.

Марья Антоновна, которой так скучно, что она каждого проезжего провожает далеко — за околицу таежную — что называется околицей в тайге?

— Прощайте, Марья Антоновна.

Я бегу рядом с нартами, сажусь, цепляясь за нарты, падаю, снова бегу... К вечеру — огни большой трассы, гул ревущих, пробегающих сквозь мглу машин.

Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке — дорожному вокзалу. Печка там не топится — нет дров. Но все-таки крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машины к центру, к Магадану. Очередь невелика — один человек. Гудит протяжно машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь моя очередь выбегать на мороз.

Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль в такой мороз.

— Куда?

— На Левый берег.

— Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

— Я оплачу тебе до Магадана.

— Это — другое дело. Садись. Таксу знаешь?

— Да. Рубль километр.

— Деньги вперед.

Я достал деньги и заплатил.

Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход. Нельзя дальше ехать — туман.

— Будем спать, а? На еврашке. Что такое еврашка? Еврашка — это суслик. Сусликовая станция.— Мы прижались друг к другу в кабине при работающем моторе. Пролежали, пока рассвело и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

— Теперь чифирку подварить и едем.

Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил, в снегу, выпил, еще вскипятил вторячок, снова выпил и спрятал кружку.

— Едем.

— А ты откуда?

Я сказал.

— Бывал у вас. Даже работал недолгое время шофером. Есть там у вас один типяра. Иванов. Тулуп у меня украл. Попросил доехать — холодно было в прошлом году — и с концами. Никаких следов. Так и не отдал. Я через людей передавал. Он говорит, не брал, и все. Собираюсь все сам туда, отнимать тулуп. Черный такой, богатый. Воротник шалью. Зачем ему тулуп? Разве порежет на краги и распродаст. Самая мода сейчас. Я бы и сам мог эти краги пошить — а теперь ни краг, ни тулупа, ни Иванова.

Я повернулся, сминая воротник своего полушубка.

— Вот такой черный, как у тебя. Сука. Ну, выспались, надо прибавить газку.

Машина полетела, гудя, ревя на поворотах,— водитель был приведен в норму чифирем.

Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло, и наша машина остановилась, причаливая к обочине.

— Все — к черту! — плясал водитель.— Уголь — к черту! Кабина — к черту! Борт — к черту! Пять тонн угля — к черту!

Сам он не был даже поцарапан, и я не сразу понял, что случилось. Нашу машину сбила встречная чехословацкая «татра». На ее железном борту и царапины не осталось.

— Посчитай быстро,— кричал водитель «татры»,— что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

— Хорошо,— сказал мой водитель.— Это будет...

— Ладно.

— А я?

— Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок.

Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой приятелю Иванова. Еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить — мост. Левый берег. Я слез. Надо было найти место ночевать. Там, где ждало меня письмо, ночевать мне было нельзя.

Я вошел в больницу, в которой я когда-то работал. И в лагерной больнице греться посторонним нельзя, и я только на минуту — постоять в тепле зашел. Шел знакомый вольный фельдшер, и я попросил ночлега.

На следующий день я постучал в квартиру, вошел, и мне подали в руки письмо, написанное почерком, хорошо мне известным, стремительным, летящим и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.

1966 г.

Андрей Битов

ФОТОГРАФИЯ ПУШКИНА (1799—2099)

Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет.

А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.

А сегодня опять «еще не вечер».

А позавчера, «между собакой и волком» (надо же! одним присваивают героя, а другим — «часть речи»..), позавчера, в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел» — скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.

Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения), у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то

не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушеиия своего маленького временн, как раз будто очеиь захотев подняться н продолжнть работу... я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне н вывалит преисполиенный скорбн, понгрывая то желваками, то быстроватымн взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая... Тут-то он: «Это что же выходнт? опять война?..»

А я только третьего дия отмахал по иашнм дорогам за пятьсот кнлометров, за Ярославль, за Кострому, за Суднславль и Галнч — наконец вырвался нз столнцы, к сыну, к чердаку... Быстро домчал, без поломок н аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?

А он мне, без обиды, а с огорченнем, как недоумку — все в подробностях. Как ехал нз райцентра последним автобусом, как у одного парня транзнсторный прнемннк был, как все в автобусе мужнкн слышалн... как все это случилось, что война... Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробностн этн воспроизводнть. «Это что же,— мотает он головой, как лошадь,— только внуков народилн и поднять не сможем?»

И впустнл, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она й требовалась... Только уселся он прочно, как навсегда. «Что,— думаю,— сейчас нх всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать — ннчего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжнть... А как же?..» Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы наплел... И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробиость? Гипноз одии... однако опять верю. Потому что страшно.

«Что это я тебя не знаю?» — опять говорнт он, это у меня-то в доме, мною впущенный, сндючи!.. «А я тебя»,— говорю. «Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я — Чнстяков! У меня брат иа железной дороге...» И так далее.

Понял я про него: такой мужик — то он сидел, то воевал, то у него ордеиа, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше — пьянь, поэтическая натура, я такнх миого не в деревне видел, а — ИЗ Понял я про него, да не все: «Ты меня не зиаешь, а зиаешь лн ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?» Историю покупки нзбы моим тестем я зиал смутно— может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вооб-

разить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели... и вот на пороге где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках («Почему у тебя усы, а у меня нет?» — в частности, спросил он меня с наигранной социальной злобой, а про очки — нет, ничего не сказал...), сидит на родимом пороге и в дом не пускает, и даже воды не подаст... И вот я и впустил, и подал (за войну-то!) а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.

А наутро та же трава и погода — ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело — теперь война; подождем, сообщат... Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.

Подождали еще денек — и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась — сено ворошить.

А мне — сено не ворошить. Я — на свой чердачок-с. У меня творческий процесс. А только чего — не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не суметь описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стороне развели. Отсюда не видно, кто. Наверно, Молчановы — их угол...

По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой... Вот ведь, думаю, ни живопись и ни фото — никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух — уже дальний лес и само небо...

Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то было пропавший, затоптал костерок да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.

А теперь оглянусь и — ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменился. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью? Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках... а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли как душа, уже сам, без мужика — от порыва, от ветра — и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет тоже обедать, тоже кормить... сейчас и меня позовут снизу суп есть и — пропал пейзаж!

Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков — загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота... Пейзаж не пейзаж... а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стукаются через стекло о пририсованных наспех овечек... Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро наворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь...), а — лет!! Лет, минут — какая разница! Мне было тридцать... Разница — НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж...

— ...для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина...

Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника... Даже, быть может, голос его... Но нет, представить головокружительно — охватывает трепет... Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудээ и его бессменных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисмен-

ты). Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга...

Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас, как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчика, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античегота (чтобы нам было понятно: род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика); «хрустальное облако Петербурга» — не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир, венецейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы в тщательные складочки бронзы не забивались пыль и зелень; эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой пастперфектум, и как-то напоминают мне — и я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно-временной точки модели «Адлер» (то есть стуча сейчас на машинке) — «напоминают мне оне»... что на «хрустальном облаке Петербурга», с внутренней стороны колпака были тоже пятна голубой эмали, прикрашенные (приторочениые, приуроченные) к золоту шпилей Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского, наподобие живых штилевых облачек...

И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней ...господи! это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем... итак, пока не кончится завод, мы продолжим пояснения, ибо чувствую (будто слышу), что докладчик

сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории.

— ...Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников! (Я был прав: докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь...) И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В гамбургском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась Земля с кооперативных спутников: глубокого черного цвета, с серебряными пузырьками музейных центров, она выглядела теперь, как ночное звездное небо,— да и была ночным небом — так смотрели на нее люди, снизу вверх. Они смотрели на Землю, как на небо...

А на трибуне новые ораторы...

—...но у нас, господа-товарищи, досадный пробел,— это, без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому (факты и только факты!) говорил русского происхождения академик Прынцев.— Первая фотография, как известно, появилась в России в 40-х годах XIX века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели... Мы должны исправить эту ошибку времени! И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык,— запел академик.

Ах, Александр Сергеевич! Зачем же так?..

Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время... Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах — они заняты. То ракурс, то необходимый делегат — и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавши в кадр тем, что оно будто бы было... И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем

крупным планом того, другого — совершенно произвольно (вдруг понадобятся нам в дальнейшем повествовании в качестве героев — такое пошлое лукавство!).

Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай — сессия на Земле, на которую вообще нужен пропуск, виза (а Петербург, как в наше далекое время, зал публичной библиотеки со спецдопуском): чтобы пройти все это, нужно, скорее, совпасть, чем выделиться. Это понятно: земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице... Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора: предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено... Но — вдруг! — некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя, нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека (и невдомек-то потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он по-своему даже пользуется), это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем... и тут нам приятно отметить, что юноша этот не кто иной, как отдаленный потомок Льва Одоевцева и Фанны — незаконная ветвь, Игорь.

У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений — жаждет. Да, да так все переменилось: именно — сухость. Когда, в день открытия сессии, Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же (и как он прошел все проверки?!) представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский,— у него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то, нелепо, он ее ощупал, свою голову...

Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч и теперь (она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная) повертывал в руках, с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою... Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляет-

ся взор и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком (миии-репродуктор) за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готтентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно...

— ...всего сто и три дня отделяют нас от великого события — трехсотлетия со дня Александра СерГ(г — фрикативное) еевича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке оГромноГо политическоГо и трудовоГо подъема,— говорило фрикативное Г.— Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческоГо энтузиазма наших людей..

Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г.

— ...вся Вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. (Бурные аплодисменты.) Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделан и первый шаг к покорению пространства — первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и так же естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту! (Б-урные аплодисменты.) Времелет «Аутлей-1», пилотируемый первым в мире времепроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века при... при... временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года! (А-плодисменты.) Восполнен досадный пробел в исторической науке: нами получена пропущенная фотография — величайший триумф...

Игорь судорожно сглотнул; казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха: на трибуне был его шеф, научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов:

— ...дух, друзья, захватывает от перспектив, открывающихся ныне перед мировым литературоведением! — Учитель Игоря представлял собою фигуру, несколько отличную от остального собрания: его амплуа бы-

ло — старый чудак профессор,— такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо; говорит «батенька»; охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений; недослышивает, приставляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрятся на нем клееная бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец — тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал:

— ...мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеком, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос... представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей... Гомер нам споет Илиаду... Шекспир расскажет наконец автобиографию...

Головенка Игоря соскользнула с ладони — этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степей. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно: он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе... Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил.

...Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным Советом Концерна «Березка» (ГКБ), а также перед Верховным Председателем Общества охраны природы и памятников (ООПП), о распоряжении Институту истории (НИИИ) и Совету Министров — послать следующий времелет «Расход-3» в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос...

Заседали. Узко.

— Тише, тише, товарищи! — стучал по графину Председатель (графин не изменился).— Пора иаконец четко определить границы обсуждеиия и четко же поставить вопрос: КОГО мы посылаем во время — ФОТОГРАФА или ФИЛОЛОГА?

Голоса (недружно, лениво и вразнобой):

— Филолога!

— Фотографа!!

Обе профессии внушали одинаковые опасения.

— Кадрового работника!

Но кадры решали на этот раз ие все.

Нужен был ОДИН человек, ио делать он должен был уметь даже не одно, а ТРИ как минимум дела: снимать, записывать и ПОНИМАТЬ.

Чем надежиее были кандидатуры, тем меньше они умели из этого.

Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет, предположение, что лететь Игорю Одоевцеву, из тех самых Одоевцевых, молодому и подающему, хотя и иичем себя не зарекомеидовавшему но и ни в чем пока не замеченному. Зато ои умел записывать (опыт фольклорных экспедиций: легенды о мясе и рыбе), фотографировать (не вполие профессиоиальио, ио современная техника...) и был потомствеииый пушкинист, причем почтн без сомиения русский. Это-то н внушало. Потомственный, мало ли что... А его пра-пра-Фаина, кажется, была на четверть... как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонио отметил кто-то. Но тут и еще всплыло.. Сначала как плюс: у него же даже есть предки в пушкинской эпохе и уж точно, русские... и тут же:

— Так у него же прямые родственники в том времени!!!

Молчали долго. Опыта полета в столь славную эпоху еще не было.

Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено... Это был такой глубокий старик, что помнил в раинем детстве похороны его пра-пра-Левы, дожившего до 200-летия восстаиия декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им — рискнули.

Молодость не подвела, и медики не возразили.

Как билось его сердце! Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в ворoику, грибовидные облака, и вылетали обратио бомбы, зарубцовывалась Зем-

ля, покрывалась мегаполисами и иаселялась человеком, рассыпалась на города, городишки н деревеньки, зарастала травой н лесом, оживала птицей н зверем... Заходы солнца смеиялись восходами, и солице с частотой велоснпедных спиц мелькало с запада иа восток. Нам не поиять, что с ннм творилось, когда, косо чирикнув (звук был «кирич-кирич»...), нспуганио влетела в ЕГО, Игорево, созиаиие первая птица!.. и уже под ее крылом — распалась дамба, заболотившая отчий город, опустелн водохранилища н всплыли утопшие деревии и колокольии, зазвонили с дон... днов... дией... («Дои-диинь» — слышал он обратиый звои...) — стали з е м л е й.

Не следует преувелнчивать: не так трудио вообразить н а м в реальности, к а к он летел, чем представить себе, к т о летел. Что это была за бедиая голова! Какие мысли занималн ее... какие там мыслн! Более века прошло после нас, не то что после Пушкиuа (тут иам самим легче подсчитать...). Подсчитать-то нам легче, ио понять еще трудиее. Ему иас понять еще трудиее, чем нам Пушкина. Тут только мы и равиы. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть поиимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот мнг как раз над головою своего автора и что-то крякает в этой авторской голове, одаряя вывернутой наизнанку, вспятной мыслью о том, что такое «и не мертв, и не чет, н не в лоб».

«Подлинное течение времени»,— наконец догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел! Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны, летнт где-то меж двух революций: там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь... рождусь... роднтся автор. Но голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! двадцатого...),— а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать первом, а — девятнадцатом!) путает восьмндесятые с шестндесятымн, пролетая над деревней Голузнно, не послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, ие отметнв под собою... Вот он я... вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине СЕГОДНЯ?

Но зато я сейчас вам точио скажу, иад чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: НАС С ВАМИ. И тут вы мне ие сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил н говорю, ПРАВДА. Вот, что я вижу перед собой: трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежнт, а он еще ходить не может: снится ему бег, он

ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует? — этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего до него существовавшего прошлого... Котенок бежит во сне... сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, неспособный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более, чем котенка? в какой невнимательности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу?.. Ну, отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаясь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой: там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью, у нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности...— так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю: что подо мною родился мой сын, восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну восемь... и стоит мне эту дефомацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице и вот он уже тут. «Кто пришел?» — говорю. «Мешатель»,— говорит он и смеется. Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли САМ передвинусь. Боже упаси...

«У тебя есть цветная копировка?» — спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нету»,— говорю я и более синхронизировать события уже не могу.

У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу и будет там еще один Одоевцев или нет, уже не от меня зависит.

Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, Крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва (Толстого...). Не заметил в дыму мечты о своей Наташе... «И щей горшок и сам большой»,— бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в Николаевскую, в плотные слои пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы... Он жмет со всей силы на кнопку (очень напоминает она мне мамин дверной звонок, я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели) — стукается от перегрузки торможения затылком о предыдущее десятилетие (сороковые девятнадцатого...) и Гоголя тоже не отметил

(как он сидит, застыв и не мигая, перед фотоаппаратом в Риме), и пока он м е д л и т...

За окошком моим совсем темно, да еще и лента, не только не цветная, но и бледная, не вижу и в настоящем, не только в прошлом из будущего (время до которого и английский не додумался), надо идти не в зримое, а в знаемое — вниз, где сын: там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится...

Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час — часом, и солнце снова взошло с востока, то значит, он уже ж и в е т в т о м времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны: у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня... но это значит, что он уже второй день, как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не подимался, а п р о с п а л.

Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений, на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть д е й с т в и е.

Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Одоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретятся. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла этого явления — можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой чересполосицы была крайне субъективна: помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и, даже неосознанно, поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько

грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл «живым». Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижно и мертво, как разрисованный слайд, а живое-то как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло — аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения некстати, ибо вся пластинка крутнулась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную.

Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов, время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги, но разглядеть в этой мощи то, что, единственное, от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху «модерн», рисующего Врубеля или пишущего Блока,— это ни за что То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Одоевцев по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними УЖЕ ЗНАЛ, что НА САМОМ ДЕЛЕ с ними происходит, они — нет, но именно им, незнающим, дано было видеть (хоть бы и не узнавать) то ЖИВОЕ, что так хотелось повидать ему на правах очевидца: им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим: он видел только то, что знало ЕГО время Он хотел поглядеть, чего оно не знало,— тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, «эффектом Одоевцева», что ли.

Не только не видимо, но и глумилось над ним... под ним...

Зачем на сто четырнадцатом году пролета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенную в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животное, крупное и рогатое, с упорством под дождем жующее как бы по слогам («Корова! Это же корова!» — догадался он); значит, кто-то

здесь еще, последний, жил, с чердака покосившегося домика доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, аритмичный, предынфарктный будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма... «Это я, это я»,— ни с того, ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца; бессмысленно и обиженно заглянул он в чердачное окно: темно, никого, только в стекло билась бабочка... при чем тут это? Что там обронили в трех веках? Ее уже давным-давно не было, той покинутой деревеньки: она заросла крепкими избами, людей набежало, все они шли к восставшему из праха храму, в красных рубашках под малиновый звон.

Шел ко дну «Цесаревич», капитан один оставался на своем мостике... Ага, русско-японская... «Цесаревич» всплыл на его глазах, заметалась муравьино команда, капитан приставлял ко рту рупор... Игорь метнулся через всю империю, к другому берегу, финскому, чтобы застать... серые тона, вечерние цветы... Сердце выпрыгивало из груди, когда он наконец поспел ВОВРЕМЯ. Ялик с прекрасным гребцом... белая рубашка, отложной ворот, кудри, высокомерный взгляд... на корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком... бочком, как амазонка, лица под полями не разглядеть... лодка с разгона, шурша, ткнулась в песок, юноша выпрыгнул и подтянул ее к берегу... стройный! подал руку, и дама подняла лицо... заплаканное! Там они расстались, под соснами, на песчаной тропе... Игорь, как мог, остановил мгновение: Александр Александрович!.. чтобы в лицо... но это был уже кто-то вовсе другой, хоть и тоже в белой рубашке, но с ракеткой под мышкой: стоял поближе к кустам и озирался направо и налево...

Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы и остановилось от скорости, как солнце в вечном закате. Странны были его лучи! Он их видел, а они светили другим. Какая-то серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. «Время?» — подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на нее ему захотелось плюнуть, но он не был с в е р х у, вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был.

И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте... И дама будет не та, и собачка. Последовательно и ровно миновал он десятилетия. И тут едва не прозевал, замечтавшись (он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюшины...) — остановиться-то хоть следо-

вало точно. Не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше.

Тут-то с особой убедительностью и проявился «эффект глумления». Уж больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года, Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург...

А тут вдруг Гоголь сидит, как кукушка на елке, и выражается нецензурно. Из-под елки выходит дамочка, скверно хихикая, с тазом в руках. «Мерсикала,— говорит,— мерсикала...» «Так он же в Италии!» — сообразил Игорь, рванул маятник на себя, с треском проскочила вниз медная гиря с добавленной к ней для весу шашкой,— и вдруг видит то, что хотел: Пушкин! Он лежал на подоконнике в гостинице Гальяни, что в Твери, и ел персики (не сезон!..— подумал Игорь). Игорь вылупился во все глаза и онемел, а как готовил первую фразу!.. Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И рассмеялся довольный. Тут и Жуковский, как назло, тащит свои, не по карману, часы: «Пушкин! Пушкин!» Тот кладет часы Жуковского, как известно, на табурет и говорит: «Стоп, машина!» Это они про НАС, думает Игорь, подтягивает гирю до конца и на этот раз, кажется, поточнее — прямо к дому на Мойке подлетел, заглянул в окно: лампа горит, дети его, мал мала меньше, рядком сидят и чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают, то один упадет, то другой...

Тут и «мешатель» на голову сел, я ему какую-то чушь плету про слетевшихся на мой свет насекомых, что это знаки препинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стукается то о лампочку, то о белый лист,— то Муза моя... «Кто Муза? — резонно ставит меня на место Мешатель.— Кстати,— говорит он,— некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» (Его сегодня укусила пчела.) «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец осерчал я на Мешателя...

Очнулся Игорь на кушетке, думки были подпихнуты со всех боков... Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать нашатыря. Хозяйка в чепце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце.

— Глаз открыл...— ужаснулась хозяйка.

— Вот и хорошо-с. Вот и слава богу-с. А то смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с. В какой гостинице изволили-с остановиться, позвольте спросить-с?

Игорь сел и потер под полотенцем лоб.

— Я сразу понял, что вы нностранец-с,— с гордостью сказали бакенбарды Что-то пародийно-пушкинское было в его лице: все так же, только нос пуговкой.— Апушкин Никандр Савельич, позвольте представиться... С кем имею честь-с?

— Что! как?! — встрепенулся Игорь.— Опушкин??

— Изволите говорить по-русски? Не О-пушкин, а А-пушкин,— сказал человек оскорбленно.— Сходно-с с известным нашим сочинителем.

Игорь вскочил. Бред продолжался!.. он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой... он все еще в полете!

— Спасибо-с, не извольте беспокоиться-с,— лепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, некстати вставляя, на всякий случай, повсюду-с это дикое «с»...— Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас-с год?

— Что-сс?? — Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу.

— Извольте-с ваш сундучок-с и тросточку-с...— холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру.

Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице...

И только тут, выскочив из двора на набережную — Фонтанка? Мойка? — и понял, он, что уже СЕЛ. В Санкт-Петербурге. Но — когда?

Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была с л о ж е н а! Это была такая старинная трость для пожилых или больных грудной жабой с откидывающимся плетеным сиденьицем. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял, на нее опираясь, чтобы не упасть. В сундучке-с находились аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя.

— Пишу, читаю без лампады...— бормотал он, потрясенный.

И шагнул в белую ночь.

Но и следующий его адресок оказался неточен. И сложенность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором Непушкиным (как на будущей картине Федотова «Утро майора» — в халате, колпаке и с чубуком...), Игорь перестал верить себе еще больше, чем Гоголю на елке.

— Да, да,— гордо сказал майор.— Не Пушкин. К сочинителям, по своему достоинству, никакого отношения не имею. И не только НЕ Пушкин, а Непушкин, фамилия совершенно отличная. И извольте-с выйти вон.

Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю-таки выдал, а именно: нос к носу они оказались как раз 23 мая 1836 года.

Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы.

Он вышел в белую ночь. И это была т а с а м а я белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять т а с а м а я.

Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский?.. Левочке было восемь, Федору — пятнадцать, Михаилу Юрьевичу — двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один!

Он чувствовал себя на вершине времени.

И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно.

Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич.

«Никифор! Что ты там грохочешь! Наталью Николаевну разбудите!..— Он таращил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный! С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления...

«Сделайте одолжение, умоляю,— писал Игорь в своем хлестаковском чердачном нумере, ровно два месяца спустя,— Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? поверите ли, сто раз не употребишь: Ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство!! Ваше сиятельство!!! Сиятельнейший князь!!!!! и выше......., то кажется и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба...»

Теперь он подделывался под графомана (прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи...), пытаясь (в который раз!) «выйти» на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты, подкрадывался — хоть краешком глаза... мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету... так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин

оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь, лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал — тот и не заметил. Единственный и был у него трофей Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому...» — чуть не плакал Игорь. (Наталью Николаевну он видел уже четырежды: дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз ослепила, а в четвертый, самый невзрачный,— он уже влюбился без памяти, но все ж меньше чем в с а м о г о...)

Письмо он отправил, но ответа не получил (да и не ожидал, признаться).

Многому он научился за эти два месяца, много познал!

Во-первых, что бы он ни думал о своем времени (втайне от других и втайне от себя), как бы ни любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время о п е р е ж а ю щ и м времена предшествующие. Он спустился с в е р х у, с форой в три века. Он был на триста лет с т а р ш е, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними б у д е т. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства — силы и снисхождения.

Какой там наблюдатель! Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их было пропасть, он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со «Спецкурсов вживания». Как приблизительно оказалось все, что они преподавали! И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов XIX века (буквально твердой: монеты эти были еще и тяжестью, золотые десятирублевки),— из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгую отчетность и расписку? что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика?.. Какая каша! Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претен-

зиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу эту хватнло бы ему и на десять лет, но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека...— не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения! но в долг ему бы ннкто не повернл, вот что.

Итак, он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щн, как Хлестаков, н ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому, что они могли всерьез понадобнться, а взять... Откуда взять-то! — вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевнзне ТОЙ жизнн. И деньги — они здесь такими новенькими не бывали... на ннх коснлись, а на него и так косилнсь, но на зуб — сходнло: золото! А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер!.. как раз чем точиее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрнтельнее. Шов был не тот! На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматрнвал: застегнут лн, не измазался ли... Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумення, не выражал: все так, но что же не так? Ей-богу, спустнсь он, в чем был, меньше бы прнвлекал вннмання. Голос его не так звучал, слова... профессор фонетнки преподал ему пронзношенне по церковным службам, а он выдавал себя за дворяннна! В общем, проколов была бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадения, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно прнблизительно! он бы беды не знал. Выныривал бы чудаком, иностранцем, сумасшедшим... провинциалом. Провинциал! — вот было откровение н спасение. Он был провинциалом в эпохе, а не в пространстве и наконец научился, пообносившись, носнть именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор.

Нет, это не он смотрел, а его показывали XIX веку.

Странное чувство (даже закон!) — он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым — так ннчего такого не было. Он вндел лишь цнтаты из того, что знал, остальное (все!) складывалось в сплошной н опасный бред совершенно иной и недоступной реальностн, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цнвнлизацню... «А что, ведь это так и есть...» — догадывался он. Реальность, сплошная, как забор с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь — а там картинка,

еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать: своими глазами видел... Что от того Кремлю или Пизанской башне? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно оказалось для него и более неведомым. Прошлое было НАСТОЯЩИМ со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял.

И он начал ж и т ь в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но — жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни т а м. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт — здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас — одарит еще однажды...) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому неведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало.

Пушкин и Петербург заполнили его, и — хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом; гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок...); ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой... возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась... проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду... начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: не за эту и не за ту не брался... Ведь Игорь все это ЗНАЛ, он все это изучил и любил, и теперь — каким же смыслом наполнялось все это, отрывочное, от параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего нумера пушкинские вздохи и шаги.

Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕпушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него,— и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетал. Вневременность его,

как, впрочем, и самого Петербурга (вот город — пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но — иначе: кто-то здесь только что был? — никого. Он стал тень Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дождаться...

Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский... да, да! тот самый... сын друга... «Душа моя Павел»... как много про него знал Игорь, пока тот про него — ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял...

У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить... то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек,— они спят, но покрытые страницей начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; кромешный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком... кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам сама оставила. Вы и из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей частной жизнью, скрытой от глаз посторонних,— это и есть история. Она недоступна. Подглядывать в эпоху — опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них — ни слова об Игоре.

Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой... Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой «Памятник» прочтет... и Муханов не заподозрил, расположился... И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который необязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее. Но вперед — не назад.

Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве — значительным, внушал большое... Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов... Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы... ни слова о Пушкине!

И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.

— Опять! — сказал Муханов с мягкой досадой.

Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многости того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное.

Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколол, как бабочку. Однако, показалось, Игоря не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну...» — тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости.

Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.

— И вы в это верите? — спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.

— Я — нет,— сдавленно ответил Игорь.

— Еще бы! — непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать.

— Дерзкий пуф,— заключил он.— Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.

Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий...

Возникло неловкое молчание.

— Значит, необитаема? — спросил Александр Сергеевич.

— Лет через двести она, наверно, будет заселена...— как мог уклончиво отвечал Игорь.

— Что, на Земле уже не хватит места?
— Не будет,— сказал Игорь и испугался.
— Так, значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? — спросил он внезапно, как выстрелил.
— Бальзам? Какой бальзам...— лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.
— Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?
«Вот он, момент! Гений...» — устало подумал Игорь.
— Нет,— сказал Игорь.— Я не писал.
— Ах, да, простите.— Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти виноградины...
— Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?
Отступать было некуда.
— Так, я писал,— согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же Он не оценить...
— Весьма любопытные грамматические ошибки,— одобрительно сказал поэт.
— А стихи?
— Там были стихи? — искренне удивился Александр Сергеевич.— Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?
Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград... А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову...
— А что в ваш век думают про рога?
Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз...
Боже мой! он же ВСЕ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя... Рога!
Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:
— Рога...— И зная наперед всю эту историю, пытаясь как-нибудь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона.— Как сказать... Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения...

Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше.

— Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца...— лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну.— Это тоже можно отчасти отнести... Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки... Хвост павлина, фазана...

Он смолк.

— Забавно. Продолжайте.

Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко — лицо к лицу. На него смотрел негр.

— Я, впрочем, филолог. Я не в курсе,— вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь.— Мне даже ближе точка зрения не вполне научная...— И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясиной собственной речи.— Что избыток этот — рога — в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил... прекрасными рогами...

Он ждал пощечины, и ее не последовало.

Над ним стоял Муханов со свечой и колодой...

— Вы что-то сказали?

Александра Сергеевича не было.

— Ушел,—сказал Муханов.— Добрый малый. Но часто весьма.

И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького... А ЧТО Муханов?! Господи, пыль с его сапог... дышать одним воздухом... видеть издали. Шпион, сумасшедший, графоман... что такого?

Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться — преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики... И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи: тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя,

то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике — будущего ее мужа... Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны...

Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской — не агент ли?.. уже из 22-го.

Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и Конюшенной церкви, не он... Тройка с А. И. Тургеневым и гробом умчала без него... только снег завился... Игорь, было, погнался... но,— видно, еще в бреду — почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из Пушкинской смерти.

Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку...

Он здраво рассудил, что Пушкин т о г д а еще его не знал.

И т а м он был все еще жив!

И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.

Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон, к высшему, как он исчислил мгновению... а там — будь что будет! Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалась... Ложился... на поля... туман... Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками... Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас «Медный всадник»!

Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну: вот оно!..

Да, горела свеча... да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией,

как младенец... Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом... Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.

Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.

В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.

— Кто здесь?

— Это я,— по-детски сказал Игорь.

Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.

Оба молчали.

— Бедный...— с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач.— Бедный... Не дай мне Бог...— И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая и сухая! Мокрая... Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь — в ней лежала золотая монета.

. . . .

Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин... Всего три года, а как он постарел! эти седые патлы... И эта безумная бледность, и глаза... «Вот и точная датировка «Не дай мне Бог сойти с ума...» — ухмыльнулся Игорь.

Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделывался от него Александр Сергеевич.

Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедом. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она: не такая.

Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил — до. Потому что, если арба и впрямь была, то вряд ли удастся «войти в контакт» после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда?.. Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге...

Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его — в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундуком — странный странник! — вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены... Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани, Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе... Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)... Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.

— Что это? — рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль и поверх.

— Обратите внимание на год!

Пушкин посмотрел с досадою на монету.

— Так ведь сейчас двадцать девятый! — с отчаянием воскликнул Игорь.

— Конечно. Постойте... — И он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.

Арба — была.

И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1825 года...

Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелетчику... А что если... Нет, быть не может! Однако...

Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить... Так, значит, так, может... Так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он все лучше распознает меня... Тогда, в 36-м, у меня было больше шансов... Я был моложе, неузнаваемей... И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, «обязательно будет заяц», он разрыдался.

И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. «Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет,— рассуждал он, отважно путая времена.— Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения...»

И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе — молодого, хорошенького, в красной рубашоночке... Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость: закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется... Сорвалась, ах, черт, в кусты... Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую: ах, черт, чуть не прямо в голову попал... Где же она... господи прости! — ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, не наблюдаемый, то есть не наблюдаемый уже никем... как жук в траве, ползает гений, только что отписавший «Цыган».

Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус: одежда его распалась, и деньги исчезли — они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой. И что было ему делать?

Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до III отделения. Там несоотвествиями пренебрегут, зато предложат дружбу.

«Как они, однако, логичны! — думал Игорь.— Обнаружить себя на службе именно в III отделении! Провинциал, на возрасте, без состояния, без определенного места жительства...» Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором.

И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака... «Гений! — восхитился Игорь.— Как он был прав с самого начала! Сразу распознал, что шпион...» Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин наконец протянул ему руку.

Игорь руку ту ухватил, подтянулся, и из ямы выбрался... А Пушкина и след простыл. «Как хорошо! — радостно вышагивал на воле Игорь.— Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м!..» Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся.

Представьте себе не то что конец двадцать первого... современного интеллигента... Как беззащитен!.. что̀ он может, что̀ он умеет, что̀ он даже знает вне круга столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния.

А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет! И каких! Так или иначе разделенных с Пушкиным. До̀ма, в двадцать первом, назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсион, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь...

Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора.

Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту... Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты! А делить и умножать в столбик... Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. «Откуда цифра?» — спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок?.. хозяин хочет сам убедиться. Как музыку, слушал Игорь собственное щелканье костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не

лучшим, но и тут он преуспел: говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про «ять».

По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик — «светелку, три окна, крыльцо и дверь» — нашел он, хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловата и мила — она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась, споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго ухмылялся, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тезку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм: Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочки и прежде всего ее приданым, а потому при всей подозрительности, а может, и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партии дочери и не сыскать. Что ж, что немолод и со странностями... Странность была — долгие прогулки по городу и бормотанье: не то напевает, не то сам с собою разговаривает — для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки — проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась: никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает... что ж еще? И он бродил, бормоча *будущие* строки, например, все те же:

И щей горшок и сам большой...

И ухмылялся, довольный.

Так он обрел свое скромное, эмигрантское счастье.

И еще вот что: он начал писать.

Нет, не стихи... Стихами при Пушкине не побалуешься. Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из двадцать первого века, но даже пробовал из современной жизни 20-х годов девятнадцатого. Не хуже уже получалось: вся русская проза была еще в будущем.

Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину!

Но и тут досадный анахронизм: рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж назвал он Зимним стадионом, а Петровскую площадь — даже не Сенатской, а — площадью Декабристов...

Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания.

«Странен без Пушкина Петербург! Будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра до Пушкина — и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки. Одновременно начали строить все, что казалось нам потом построенным последовательно: и Биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий — росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые трех-четырехэтажные дома — те просто как грибы.

Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м, на каких-то двенадцать лет младше: ни здания Сената и Синода, ни Сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других Триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше... почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя: ни Александринки, ни Пушкинского Дома. Будто все стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре.

Нет! Он мог не умереть! Я же вижу, вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837-м, вижу, как он прямехонько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. «Ему и больно, и смешно...» Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает. Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенициллином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой, и мимо меня и прямо к той же двери... Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос — Никифор меня не подвел... А повар мальчишку выпихивает: Пушкин занят, говорит. И дверь закрыл.

Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегкая — все запутал. Однако мальчишку жалко: шагнул понурый, и личико у него, как фамилия. Ну, и поделом, однако, думаю, он и блоковских (моих) стихов читать не стал, что ему облачкинские! Тут дверь распахивается, я возликовал: это Никифор, за мной! А это все тот же Василий... Меня отпихнул, бежит, кричит: «Господин Облачкин! Господин Облачкин! Вернитесь!» Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять дверь закрыл. Я уж и закоченел совсем, а — ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась со счастливым Облачкиным в проеме, за ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит... «В следующий раз, барин»,— говорит. Что делать? Я — за Облачкиным. Придушить его готов. Так и так, ему говорю, такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил, да вот ему повезло, а не мне... какой он, мол, спрашиваю, очень строг? «Что вы? — отвечает Облачкин.— Душа! Я уж кому ни носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку, и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел». Не утерпел я: «Покажите!» — говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю: это же надо! Ну, ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет! И чтобы сам Пушкин... «А что же он вам еще сказал?» — домогаюсь я. «Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия...» «То есть как, своя ли?» «Ну, не псевдоним ли я такой выбрал...» «Ну?» «Ну, я и говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец! — говорит». Что поделать, гений! Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчики-поэты такие фамилии носить могут...

Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а — быстро! И все время — что-то. А там, у нас, все быстро, а — ничего. За двенадцать лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить! И все это *будет* построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать! А у нас... И описать-то нечего: ни одной детали, хотя все одни детали. Вон охтинка идет с бидоном, так она в голландском чепце, а у нас — порошковое из отдельного краника со счетчиком льется — и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются, и у ямщика, что кушак, что

морда краснее некуда, а у нас — залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже «алло» не скажет, а — в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за четыреста тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос, и балдей, если можешь, вот уж «неалло», так «неалло»... У них — так я сейчас, от обиды на Облачкина, в трактир зайду, и меня «человек» обслужит, человек — это у них презрительно почти звучит, потому что не господин, а человек всего лишь, а для меня то, что мне не механическая рука мечет, то, что таракан и муха, только что живые, в тарелке плавать могут, что человек живой и салфетка его грязнее улицы — все это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостиные, да столовые. И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение: воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию... как умирающий в реанимации — отключи проводки, и где ты, человек? А тут: эй, человек! что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду...

Как медленно все тогда строилось, как быстро! И все это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Примитивны орудия, и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны... Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями? Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока...

Вот кого я еще не прощаю, так это Брюллова! Ну, что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить... Тоже мне Рубенс, европеец дутый! Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал... а тот: потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится, а тот: ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел — и ни шутки, ни грусти его не понял!

А ведь правильно не подарил! Потому что откуда же знал, что тот погибнуть может. И ехал бы живой Алек-

сандр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку с собою, подаренную Брюлловым, увозил с собою...»

«Так он писал темно и вяло...» Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить... Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников — не только по Петербургу пушкинского времени, а даже и простого томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая: сена так и не просушить. Источников нет — прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит — из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло. Если печь протопить. А если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней — по дождю и глине. Глины по пуду на сапог, и скользко. И свет отключился, а трансформаторная будка — через все поле. Далеко, и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошки поглядывают: кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться: прав он про реанимацию... Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми, да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен — к батарее, унитазу, телевизору... о шнуры спотыкаюсь. А если, не дай бог, то, чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит — раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а «обстановка в мире», вроде мебели: там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит... А отключи меня... Да что говорить, тут однажды не то чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих кранов кипяток пошел... три дня рук не помоешь, не то что лица не сполоснешь. В городе — страшно, если без телевизора да чистяковские мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно. Потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, и на него ящик с гвоздями... Был я в той деревне. Красивая деревня, много красивее нашей, как и название ее. Сама — на холме,

вокруг — луга, вокруг лугов лес — высится деревенька над нашей, как храм божий. И жила она лучше нашей, видимо. Потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту — признак крестьянской цивилизации! Дома стоят почти целые, вселяйся и живи, ну, подремонтируй слегка и живи — а только жить некому. Я в дом один вошел: в буфетике — и стаканы, и ложки, не то чтобы ценные, но годные, а в шкафу — даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно: ножовку хорошую, или молоток, или косу... Будто бежали отсюда наспех, будто от проказы или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, край: ни климата, ни почвы — север да глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили же! Не одно поколение, если уже наличники вырезать стали... В какое время сбежали они? В завтрашнее.

Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за связи с миром, не с делом, а со всем миром, с теле-миром:-фоном и -визором. Деталь там живая не водится.

Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. Не вчера и не завтра. Если поставить времени запруду, пытаясь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потопе настоящего.

Игорь, конечно, знал про наводнение. Но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают Гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона... Зато они и жили в Коломне, которая, он не помнил, чтобы так уж пострадала. А в Гавани он работал, следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать. Правда, лишь временами... Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего «Медного всадни-

ка», словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании.

День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул проницательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу — полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего, волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг; вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что все дорогое оставалось в тылу: и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною, и вдруг тою же спиною понял, что это не угроза наводнения и даже не день, ему предшествующий,— а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящею пучиною. Над нею клочьями носился туман из брызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми, треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут он увидел огромную барку, несшуюся прямо на него; она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения.

Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад,— сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину.— Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы». «Да, одно я видел»,— согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру — вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать; к вечеру на улицах уже по-

явились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома...

На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок, вроде объявления. Машинально он отлепил его... Все строчки были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо! Волны, ветер, обломки, Кумир с занесенным победным копытом... «Он же сейчас в Михайловском! Откуда он все знал?..» — в ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка, вроде молнии, полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину... Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового — ни опекушинского, ни аникушинского... «Да ведь и сам «Памятник» еще не написан!» — История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой... Он прятался от Пушкина за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь.

Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но — в наше с вами время: мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки...

Там он и сидит, кончая свой двадцать первый...

За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетие; спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.

Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым: он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону — все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом по-

лете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Герман — тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:

Дар напрасный, дар случайный...
Посадят на цепь, как зверька...
Похоронили ради Бога...

Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!

Все большее бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевает.

Слайды Игоря проявили, пленки прослушали. Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соответствии с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка: «Последняя туча рассеянной бури...»; молодой лесок, тот самый, который — «Здравствуй, племя, младое, незнакомое...»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы... и дальше все — вода и волны.

И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»

И здесь мы ставим точку, как памятник,— памятник самой беззаветной и безответной любви.

И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.

Виталий Москаленко

ДИКИЙ ПЛЯЖ

— А ну, вылезай! — кричит сторож. Он стоит около горы пустой тары в углу базара.— Вылезай, кому говорю, ядреный корень!

Из-под ящиков не раздается ни звука.

— Филя, слышишь? Не сопротивляйся! Опять нарушаешь, да? Лучше давай по-хорошему. Или сейчас позову дежурного милиционера.

Солнце заливает базар, дробится в листьях клена, что стоит посреди пустых ящиков.

— Что молчишь, дурак? Застукал я тебя, понял? Я слышал, как ты пел. Нарушитель!

Возле ствола клена появляется мужская голова. Самого нарушителя за ящиками не видно.

— Ну, ладно, хватит тебе сопротивляться,— говорит сторож.— Вылезай, не трону.

Нарушитель не двигается. Они долго смотрят друг на друга.

— Молчишь? Чувствуешь свою вину! Ладно, я дальше отойду.

Сторож пятится назад и после гаркает повелительно:

— Филиппыч! Я не шучу с тобой! У меня дюжина дел на базаре, мне некогда с тобой вожжаться!

Голова исчезает и появляется в соломенной шляпе. Потом нарушитель поднимает глаза вверх.

— Фьюить-фьюить-фьюить,— подражает он чириканью воробьев.

— Ты что издеваешься, паскуда! — багровеет сторож.— Я тебя в милицию сдам!

Нехотя, цепляясь за сук дерева, на ящики вылезает мужчина неопределенных лет. Штаны и рубашка на нем измяты. Когда нога его касается земли, сторож срывается с места, бежит, выхватывая из-за спины палку, кричит:

— Ну, держись! Будешь знать, как издеваться над пожилым человеком!

От удара мужчина увертывается, сторож по инерции пробегает мимо, но все-таки достает палкой по спине, вторым ударом промахивается и чуть не падает от усердия. Мужчина отбегает в сторону и, вихляясь, кричит тарабарщину:

— Кэрн-мэри-дэрн-фэри! Дурак бьет дурака! Дурак бьет дурака!

— Пшел отсюда! — притопывает ногами сторож.

— Все Вовику скажу! — становится на четыре точки мужчина и вываливает язык.— М-м-м! Ты у меня поработаешь на базаре!

При упоминании Вовика пыл сторожа охладевает:

— Сам нарушает, а я виноват.

— Все! Ты у меня больше не работаешь на базаре! Пиши заявление! Собака! Все! Я в базарком пошел! Увольнять тебя! — Мужчина решительно направляется к двухэтажному зданию в углу базара, подходит к двери с вывеской «Дирекция рынка», смотрит на запястье левой руки, где нет часов, так же решительно, круто разворачивается и уходит в сторону ворот, всем своим видом показывая, мол, еще рановато, но попозже он обязательно вернется и уволит сторожа.

Это Филиппыч. Чокнутый. Он один из тех, которых бабки называют «божий человек», из тех, за которыми и сейчас в городах вроде Райцентра бегают мальчишки, жестоко дразнят:

— Эй, эй, дурачок — на за ум пятачок!

Филиппыч высокий, худой, с большой головой, вокруг лба вьются выгоревшие льняные, грязные волосы. Только глаза выдают его. Беспомощные, добрые и испуганные. Круглые, голубые глаза с увеличенными зрачками. Филиппыч, вихляясь и припрыгивая, выходит на площадь перед базаром.

— Кэри-мэрн-дэри-фэри! — на всякий случай взвизгивает он грозно, предчувствуя, что день сегодня выпал тяжелый.

Полдень. На городок опускается розовое марево. По огромной площади там и тут ходят люди, лениво, не спеша. Пыль и жара, словно кокон, окутали улицы и дома. Жизнь замерла и не дождется пяти часов, чтобы появиться из всех щелей и опять заявить о себе. Редко-редко, как будто перепугавшись чего-то, через площадь проносятся грузовики. Пыль торжественно и безмолвно опускается в гробовой тишине. Ни собак не слышно, ни птиц, ни вздоха не проронится... В центре площади сто-

ит милиционер. Он пристально смотрит в сторону пивного ларька, что прилепился на краю площади.

— Эй ты, халабудник! — проходя, говорит Филиппыч милиционеру.— Я ж тебя в запас уволил, а ты опять тут!

— Сейчас поймаю и так отделаю,— не спеша выговаривает слова милиционер, опускает голову и смотрит на перевернутое отражение площади в вычищенных сапогах.— Еще раз на базаре останешься — я тебя в психбольницу сдам. Обещаю.

Филиппыч визжит и уморительно подпрыгивает, подтягивает штаны и показывает милиционеру язык.

— Чеши-чеши отсюда. Вон Вовик у ларька заждался.— И опять внимательно оглядывает сапоги, особенно голенища сзади и пяточки.

Возле пивного ларька оживление. Вокруг стоят, лежат и сидят на корточках человек пятьдесят. Медленно и лениво перемещаются в пространстве ноги, руки, кружки и языки. Стойка у киноафиши сломана, желающим на ней не уместиться. Поэтому рядом, под тутовником, на газетках и просто на земле разложена таранка, расставлены кружки, ведется неспешная беседа. Здесь обсуждаются последние события в семье, в городке, области и во всем мире. Киноафиша — белый лист бумаги, на котором от руки химическим карандашом написано: «Фантомас разбушевался». Сюда и стремится Филиппыч.

— Мужики-и-и! Э-э-эй! Я к ва-а-ам! Щщас вам все покажу!

Филиппыч, приплясывая, подходит к стойке. Он улыбается, словно желая сказать что-то серьезное и важное для всех. Глаза его распахнуты. Они светятся, лучатся. Филиппыч смотрит на продавщицу Варю в засаленном халате и говорит торжественно:

— Здорово, мужики, я пришел к вам пиво пить!

— Ой как соскучились по тебе! — зевает Варя, щелкая во все окошечко золотыми зубами.— Ждем не дождемся...

— А я вот взял и пришел! — поворачивается на месте Филиппыч.— К вам!

— Покажи, как на параде ходят, Филиппыч,— кричит кто-то из-под тутовника. Филиппыч показывает. Смеются.

— А как собаки чешутся, покажи!

Филиппыч приседает, становится на четвереньки и ногой пытается чесать свой бок. Теперь смеются больше.

— А как баба до ветру ходит! Покажи, Филиппыч!

— А-а-а! Нет, нет, нет! — смеется Филиппыч.— В милицию заберут, я знаю, знаю!

— Так здесь ее нет же, милиции! Покажи!

— А-а-а! Вон стоит. Смотрит. Раздеваться надо! Нет! нет!

— Ладно, показывай, не ломайся! — надвигается на Филиппыча здоровенный детина с лицом, побитым оспой.— Давай, давай. Ты мне с прошлого раза кружку пива зажал!

— Когда зажал?! — кричит Филиппыч.— Ничо я не зажал! Я все сделал, не подходи!

— Не-е-ет, зажал! Обещал самбу сбацать и зажал. А пиво мое высосал!

Детина шутейно берет Филиппыча под руки и, приседая, танцует по кругу вальс, вдавливая его с силой в землю. Тот верещит и пытается укусить обидчика.

— Эй! Проехали! — кричит кто-то угрожающе.— Отпусти! Кости переломаешь, остолоп!

Детина отпускает. Оглядывается.

— Чё? — спрашивает он, выдвигая голову вперед.— Чё ты вякнул?

— Чё слышал.

— Эт кто там такой громкий? — произносит «громкий» как «хромкий» детина.

— Эт я такой хромкий!

— Ты, что ль, Вов? — заискивающе расплывается в улыбке детина.— Не угадал. Богатым будешь.

— Буду. Гуляй, фрайер, гуляй.

— Есть гулять! — отдает честь детина и, кривляясь не хуже Филиппыча, чеканит шаг к своей кружке.

— Варь! — властно зовет голос Вовика из-под тутовника.

— Чё? — высовывается Варя.

— Плесни дурачку.

Через полчаса Филиппыч сидит на солнцепеке, прислонившись спиной к ларьку. Шляпа его лежит на земле, взгляд затуманенный и осоловелый, как у всех. Возле его ног прилегла бездомная собака, которая кормится здесь остатками от закусок, рыбы и потом болеет, харкая костями. Собака положила морду на передние лапы и смотрит на Филиппыча. Тот на нее.

— Лежишь тут... А я сижу... Во как...— хлебает, шумно втягивая пиво, Филиппыч.— Ты рыбы хочешь, а рыбы у меня нет. Пиво есть, а ты его не пьешь.

— Пьет она пиво,— сверкает золотом из окошка Варя.

— Она?

— А кто? Я, что ль? Я на него смотреть не могу.

— Во... Кэри-мэри... На...— Филиппыч выплескивает на асфальт немного пива,— на, на...

Собака смотрит большими закисшими глазами на лужу пива. Смотрит внимательно, торчком приподняв уши.

— На, на, пей,— говорит Филиппыч.— И ты, и я будем пить... С кем же еще нам пить, да? На, на, пей!

Но собака ждет, когда лужа, растекаясь заливом, затечет поближе, к передним лапам. Потом склоняет голову набок и, не вставая, лакает пиво. Она хлюпает языком, смотрит на Филиппыча и редко, но сильно стучит хвостом по асфальту. Вылакав все без остатка и вылизав то место асфальта, где было разлито пиво, собака кладет морду на передние лапы и, по-прежнему не отрываясь, смотрит на Филиппыча. Пьянеет она сразу и сильно. Веки ее глаз начинают дрожать, хвостом она больше не стучит, но продолжает смотреть в то место, где должны быть глаза Филиппыча. А он смотрит в ее. Так они и сидят, молча уставившись друг на друга. Внезапно собака взвизгивает и, пошатываясь, отбегает в сторону. Филиппыч смотрит на нее, ничего не понимая. Собака, повизгивая, перебегает ближе к ларьку и начинает подвывать, поджав хвост.

— И вот так каждый день! — бубнит из-за окошка голос Вари.— Прогоните ее, сатану, сказилась! Споили, сволочи-алкоголики, собаку.

«Сволочи-алкоголики» Варя говорит, как «швеи-мотористки», вместе.

А собака выбегает на середину между ларьком, стойкой и тутовником. Она поднимает голову вверх и воет.

— Ну, что? Нравится вам, да? — не унимается Варя.— Вы ее поите, а она потом здесь гадит, а вот никто из вас не взял лопату и не убрал! Пшла, сатана, пшла отсюда!

— Чует она что-то,— говорит, выходя из-под тутовника, высокий молодой парень с копной вьющихся волос, стройной фигурой и накачанными бицепсами культуриста.— Неспроста она...

Он смотрит на собаку. Та шарахается от него и, поджав хвост, начинает лаять.

— Иди, иди отсюда,— мягко говорит культурист и замахивается на нее.

— Выгони ее, Володь, нет никакого моего терпения! — жалуется Варя.

— Пшла, пшла, дура,— говорит ласково Володя, прогоняя собаку. Вслед за ним появляется мужчина поменьше, как две капли воды похожий на Володю.

— Они предчувствуют всякое,— говорит мужчина, потягиваясь.— Землетрясение... И тому подобное.

— Это мой брат, Тимур,— с гордостью говорит Володя, показывая Варе на брата.— Мой старший брат. Он ученый и все такое — в Москве учится...

Они подходят к Филиппычу.

— Вставай,— говорит Володя Филиппычу.— Хочешь поехать с нами на речку?

— Пива хочу... Купи пива, а?

— Брось пиво... У нас водка есть. Поедешь?

— Водочка! — улыбается снизу вверх Филиппыч.— Поеду... Только все равно купи еще пива.

— Купи ему...— говорит Тимур, брезгливо рассматривая одежду Филиппыча.— Этот?

— Ну да...

— Ой, Вова, Вова! Думал, что-нибудь стоящее!

— Еще как стоящее, посмотришь! Надо ехать, а то будет дождь.— Володя смотрит на небо.— Да и ее надо забрать...

— Думаешь, она еще там?

— Обижаешь, начальник. Как в аптеке, мы ж договорились.

Тимур опять смотрит на Филиппыча.

— Будем знакомы. Я Тимур,— говорит старший брат Володи, протягивая руку.

— Купи пива, собака,— говорит Филиппыч и смеется.— Ха-ха-ха!

— Чего он? — удивляется Тимур.

— Да не обращай внимания — на него находит.

Володя берет кружку пива. Филиппыч выпивает ее, разглядывая Тимура.

— Собака, собака, собака! — говорит он, давясь пивом.— Вижу, что собака. Вон хвост, вон! Вижу!

— Боже мой,— тихо говорит Тимур.— Володь, он совсем того...

— Заткнись, Филя! — прикрикивает Володя, забирает пустую кружку из рук Филиппыча и подталкивает его под тутовник.

— Клыки, клыки, шерсть, шерсть! — уже выкрикивает Филиппыч.— Собака!

— Но-но у меня,— грозит пальцем Тимур и надевает шлем.

— Заводите тачки! — слышен голос Володи из-под тутовника.— Будет дождь!

Ревут моторы, и на площадку перед ларьком выезжают четыре мотоцикла без глушителей. Мотоциклисты в расписных шлемах с забралами похожи на средневековых рыцарей, только без копий и кольчуг, с маленькими тщедушными телами. Володя восседает на своем мотоцикле как исполин. Волосы торчат, завиваясь, из-под шлема, мышцы буграми вздулись, и майка, кажется, вот-вот лопнет. Он показывает на место позади себя:

— Давай, Филиппыч! Садись!

Мотоциклы рвут с места, поднимая пыль и вспугивая с тутовника воробьев. Весь пивной ряд смотрит в сторону отъезжающей кавалькады щуплых рыцарей двадцатого столетия в больших шлемах из плексигласа. А с заднего сиденья Филиппыч, повернувшись к толпе, кричит:

— Кэрн-мэрн-дэри-фэри!

Он показывает язык, ерзает на сиденье и улыбается. Все молча провожают его взглядом, а за последним мотоциклом увязывается собака. Она долго бежит и лает, лает, потом, выбившись из сил, останавливается и, подняв морду, опять начинает выть.

Высоко над водой стоит мост. Солнце, отражаясь в воде бегущими бликами, освещает его снизу. Вдоль реки влево и вправо от моста огромные, в несколько футбольных полей, песчаные пляжи. За ними виднеется жиденький лесок и потом степь. Метрах в ста от железной дороги пляжи перегорожены колючей проволокой. Это зона, которая охраняется, и сюда заходить нельзя. На мосту в выцветшей гимнастерке стоит часовой. На спине у него винтовка, в руках бинокль. Часовой внимательно наводит бинокль вниз, опираясь локтем на перила. Но в той стороне, куда он смотрит, в воде стоит бетонная опора от старого моста — бык. Он-то и мешает солдату. Солдат нервничает, переходит с места на место, но, как видно, ничего не получается. Солдат вытирает пот со лба и перевешивает с плеча на плечо винтовку.

Парит. Стрижи летают низко над песками. Там, внизу, где они летают, на пляже лежит женщина. Она загорает без купальника, а рядом около нее на белом кварцевом песке примостилась девочка, ее дочь. Мама залепила нос листком подорожника, положив под голову журнал «Работница». Наконец часовой поймал фокус,

высунул язык, от напряжения локти его соскакивают с перил, ноги дрожат.

Девочка не может больше лежать без движений. Она семенит ножками, поминутно встает, садится, загораживая маму. Часовой нервничает. Он вытирает пот и тихо ругается. Девочке не хочется лежать. Ей хочется разбежаться и прыгнуть в воду.

— Мам, а мам? Можно я побегаю...

— Нет, Оленька, лежи.

Оленька смотрит на пикирующих в воду стрижей. Кажется, что они так и войдут один за другим в воду, но в последний момент черными кривыми линиями стрижи взмывают вверх, сворачиваясь в спирали, по нескольку птиц сразу. Они ввинчиваются в тяжелый полуденный воздух, распадаясь вверху, словно лепестки мгновенно увядшего цвета.

— Мам, а мам... Я совсем чуть-чуть, а?

— Лежи.

Оленька отгребает в песке ямку и опускает в нее пальчик.

— А потом, когда дядя Володя приедет, можно будет, да?

— А откуда ты знаешь, что он приедет? — настораживается мама.

— Так если мы на дикий пляж идем — значит приедет, да?

— Не знаю, с чего ты взяла...

— Я взяла с того, что...

— Ну ладно, хватит! — одергивает ее мама.— Сильно умная стала!

Весной Оленька переболела воспалением легких. Все лето мама приводит ее сюда на дикий пляж прогревать, часто загорает сама нагая. Все лето солдат простоял в дневном дежурстве с биноклем у глаз и заработал конъюнктивит.

Оленька видит, как на маму садится овод, который хочет ее укусить. Пока она тянет к нему ладошку, мама вскрикивает, бьет себя, и овод падает к ней на обнаженную грудь. Солдат со стоном отводит глаза. Мама стряхивает овода в песок, величественно, с колыханием двух белых чаш переворачивается на живот. Оленька подбирает убитого овода, рассматривает его. Он разбит, раздавлен ударом чудовищной для него силы. Крылья мелко дрожат, лапки перебирают в судорогах пространство, в котором ему больше не летать. Часовой тщательно наводит бинокль и сразу опускает, подперев лицо рукой.

Губы растянулись в длинную полоску, обнажая зубы. Часовой с тоской смотрит в воду. С высоты видно, как в глубине ходят большие рыбы. Вечером они поднимаются выше. Вечером, пересекая течение, вспарывая толщу воды, выворачиваются мощные скользкие тела, медленно погружаясь обратно. И тогда часовому кажется, что они похожи на русалок.

Оленька садится, делает могилку, опускает в нее овода, втыкая сверху палочку. Потом опять разрушает холмик, достает овода, разглядывает...

— Мам, кто-то едет,— говорит Оленька.

Мама встает, прислушивается. Теперь отчетливо слышен нарастающий треск моторов. Словно лопнувший шар, раздается хлопок, звуки слышны громче вместе с голосами, перекрикивающими грохот. Мама надевает купальник. Солдат переводит бинокль на лес, сплевывает. Грохоча, зарываясь в песок, на пляж въезжает мотоцикл Володи, за ним Тимур, еще два мотоцикла.

— Вода, вода, вода! — соскакивает с мотоцикла Филиппыч и бежит, опережая всех. Он с разбега обрушивается в воду, переворачивается на спину, потом на живот и ныряет. Шляпа его плывет по течению вниз. Филиппыч догоняет ее, хватает и, поднимая высоко над головой, кричит:

— Кэри-мэри-дэри-фэри!

— Филя, Филя, покажи что-нибудь, покажи что-нибудь! — бежит Оленька к воде, умоляюще оглядываясь на маму.

Филиппыч становится в воде на четвереньки, заливается протяжным лаем, вылезает на берег. Он брызгает в сторону Оленьки водой, улыбаясь и урча. Оленька визжит от восторга, прижимает ручки к груди, оглядывается на маму. Мама, выгнув спину, не глядя в сторону подъезжающих, втирает в кожу крем для загара. Володя глушит мотор, ставит мотоцикл на подножку, подходит к ней.

— Привет! — улыбается он, на ходу снимая шлем, встряхивая волосы одним движением головы.

— Здравствуй, Володя.

— Как договорились... Три часа. Нет, прошу прощения, опоздал на семь минут.

Она втирает крем в живот и бедра. Молчит.

— Что-нибудь случилось?

— А что случилось?

— Не знаю... Какая-то ты не такая.

— Какая не такая?

— Лен, в чем дело?

Лена не отвечает. Володя сжимает тонкие губы. Смотрит на нее в упор. Лена поднимает на него глаза, вдруг улыбается.

— Вовик, а один не мог приехать? Зачем притащил всех? Кому они нужны — тебе, мне? Не понимаю...

Глохнет последний мотор. Тишина. Над диким пляжем повисло обморочное марево. Ни звука. Только в голове у Володи стоит гул и треск то ли от бешеной езды, то ли из-за слов, которые хочется ей наконец высказать... Капризничать в последнее время стала много...

Володя смотрит на любовницу, барабаня по шлему костяшками пальцев, делает жест рукой:

— Это мой брат. Познакомься. Ученый. Он сегодня утром только что из Москвы. Тимур. Елена... Моя хорошая знакомая.

— Очень приятно.

— И мне.— Лена долго завинчивает тюбик с кремом, встает, идет к воде.

— Ну, так мы остаемся? — спрашивает ей в спину Володя.

— Оставайтесь,— не оборачивается Лена.

— Значит, ты не против? — барабанит по шлему Володя.

— Я не против,— останавливается Лена и смотрит таким взглядом, от которого все остальные суетливо начинают снимать шлемы и переговариваться.— Это, может быть, и к лучшему, что он узнает, да? Как ты считаешь?

— Может быть...

— Вот и я говорю.— Лена, осторожно ступая по раскаленному песку длинными ногами, уходит. Бедра покачиваются, тело отливает бронзой. Красивая спина, красивые ноги, красивое тело.

Около воды творится невообразимое! Филиппыч стоит на руках, болтает в воздухе ногами, кукарекает.

— Петух, петух, а почему ты на руках стоишь? — кричит Оленька.

— Я петух наоборот! — подпрыгивает на руках Филиппыч, падая в песок.— Ку-ка-ре-ку!

— Ко-ко-ко-ко! — подражает курице Оленька, заливаясь от смеха.

Мама одним движением отрывает дочь от земли. Тихо говорит ей:

— Поди ляг на песок... Не вставай, к воде не подходи!

— Кэри-мэри-дэри-фэри! — кричит, улыбаясь, Филиппыч в лицо Елене.

— А ты такой же... Не меняешься. Хорошо тебе: «дэри-мэри», и все дела...

— Ха-ха-ха-ха! — смеется в лицо ей Филиппыч.— Ха-ха-ха-ха! Не то, что вам! У вас-то дел мно-о-го!

Все собрались и усаживаются в круг.

В центре расстелены газеты. Это стол, на нем лежат помидоры, яйца, сало, хлеб, стоит бутылка водки. Садятся на песок, поджав под себя ноги, и солдату издалека кажется, что это туземцы на острове приступили к трапезе. Вот только мотоциклы, что стоят в воде, прикрытые одеждой,— их присутствие разрушает фантазию солдата.

— Едят и пьют медленно, не спеша. Ритуал.

— Прими на грудь,— протягивает Тимуру стакан Володя.

— Не буду, не хочу.— Тимур берет стакан, передает следующему по кругу.— Поможешь мне?

— Помогу,— говорит следующий и помогает.

На другой стороне реки обрыв. В нем много-много норок, из которых вылетают стрижи, камнем падая к воде. Оленька жует яйцо, смотрит на обрыв. Часовой смотрит в бинокль на то, как едят и пьют, тихо насвистывая. Ему осталось служить четыре месяца. Вчера на перилах моста он вырезал перочинным ножом: ЮРА ЛИХАЧЕВ. ДЕМБЕЛЬ. НОЯБРЬ 19... ГОДА. ПРОЩАЙ, МОСТ! НИ ВИРНУСЬ НИКОГДА!

Тимур делает бутерброд, подает его Лене:

— Давайте я за вами поухаживаю... Будете пить?

— Нет,— смотрит Лена на Володю.— Я вообще не пью.

— Правильно. В такую жару пить водку равносильно самоубийству.

— А мы пьем! — улыбается Володя Тимуру.— И ничего — живем!

— Пока,— пододвигается ближе к Лене Тимур.— Курите?

— Нет.

— Хотите очищу огурец?

— Мы их нечищеными едим.

— Налей-ка нам, Володя.

— Ты же говоришь «самоубийство»!

— С такой роскошной женщиной грех не выпить!

Лена польщенно улыбается. Володя тоже. Чокаются. Выпивают.

— А вы в самом деле ученый?

— В некотором роде... Аспирант.

— Он уже пятый год аспирант! — хохочет Володя.— Где у нас еще водка, Тим?

— Под сиденьем. Кстати, поставь в воду!

— А почему я о вас ничего не слышала? Мне Володя ничего не говорил.

— Я так давно отсюда сбежал, что обо мне просто-напросто забыли.

— Это, наверно, вы их забыли.

— О-о-о! Кусаетесь! Может быть, и так! А если серьезно... Не вижу смысла ухайдакать свою жизнь в Райцентре.

— А там?

— И там бывает иногда не сахар.

— Здесь тоже не мармелад.

— Язычок-то у вас остренький.

— Какой есть.

— Да-а! Как говорится, там хорошо — где нас нет. А я вас помню. Вы Лепилиных дочка, что жили по Коммунистической?

— Да.

— Сейчас вспомнил, вспомнил... Еще у вас мотоцикл был с коляской...

— Был.

— Сестра старшая... Красивая была.

— Была. Уехала, как и вы, в Москву. Душераздирающие письма пишет. Вернуться хочет.

— Так Люба в Москве? Надо телефончик взять, может, когда звякну.

— Не советую. У нее ревнивый муж.

— А у вас?

— Ну не надо так сразу, не надо...

— Вы правы, неесло. Извините.

— Чего вы все извиняетесь... Нормалек. Живем-живем. Оленька, надень панамку, припекает.

— Да. Тяжело плыть в соляной кислоте. Против течения. Это только вон ему трын-трава.— Тимур показывает на Филиппыча.

— Думаете?

— Убежден. Одни безусловные рефлексы. Животное.

— А чего вы такой злой?

— Я? Вот уж никогда не думал...

— Подумайте. Оленька, я кому сказала! Возьми панамку и надень!

— Да нет, какой я злой... Нет. Просто ненавижу болезнь, уродство, слабых ненавижу.

— Ну вот, видите — ненавижу. Это ваше слово.

— А ваше?

— А мое — люблю.

— Тим! — кричит Володя.— Не могу открыть! Иди сюда!

— Сейчас! Значит, «люблю», понятно. И любите вы мужа?

— Скажите, а там в Москве все такие, как вы?

— Какие?

— Не знаю... Такие... Юркие.

Повисает молчание. Тимур и Лена смотрят на Володю, который присел около мотоцикла и возится с замком. Двое других сидят по другую сторону стола, охмелевшие, ведут беседу. Они неразлучны. Друзья. Большого зовут Дрын, того, что поменьше,— Лёлик.

— Цепь у тебя проскакивает,— говорит Лёлик.— Надо подтянуть.

— Надо,— отвечает Дрын, высокий, голенастый, в веснушках.

— Проскакивает, я слышу,— говорит Лёлик.

— Проскакивает,— отвечает Дрын.

— А ты ее в бензине промой... Или звенку одну выбей. Растянулась цепь.

— Да ее вообще надо заменить.

— А может, и вообще... заменить. Это мысль.

— А мужа я не люблю...— вдруг тихо говорит Лена.— Я Володю люблю, а он меня нет.

— Может, не надо ее менять? — говорит Дрын.

— Кого?

— Ну эту... цепь...

— А может, и не надо.

— Тимур! Ну иди сюда! Не могу открыть!

Тимур встает и идет к Володе.

— Ну что? — спрашивает он со злостью.

— Да вот... заедает... Давно хотел сломать.

— Так давай сломаем!

— Жалко.

— Да чего там жалко! — Тимур отодвигает Володю, берет двумя руками сиденье и с силой рвет на себя. Внутри что-то лопается, Тимур чуть было не падает с сиденьем на песок.— Вот и все.

— Это проще простого.

— Зато надежнее. Сменишь замок, и все дела. Как делить будем?

— Что?

— Не «что», а «кого». Классная телка.

— Не-е-ет, Тим, не получится. С ней не получится.

— Да ладно! Все получится.

— Нет, Тим. Ей через час дома быть надо. Не уложимся. Завтра, все завтра. Как у нас по плану: возьмем палатку, двоих девочек... Я уже договорился...

— Это будет завтра. Я сегодня хочу.

Володя не отвечает. Он вталкивает в воду бутылку с водкой. Тимур смотрит бесцветными глазами в сторону моста.

— Ну тогда давай вдвоем,— озорно морщит он нос.

— А? — поднимает голову Володя.

Тимур смотрит сверху вниз на брата с сожалением. Володя смотрит на Тимура. Тимур смеется, потом ерошит пятерней волосы брату:

— Ладно, ладно, пионер. Сколько тебе лет?

— Двадцать один.

— Двадцать один,— повторяет Тимур.— Лады... Значит, завтра?

— Завтра, Тимур.

— Хорошо, тогда, значит, завтра,— Тимур смотрит на мост, меняет тему разговора.— Отсюда он прыгает?

— Кто? Филиппыч?

— Да.

— Нет, вот с этого быка.

— Высоко...

— А ты думал. Метров тридцать.

— Не разобьется?

— Он? Никогда.

Тимур поворачивается, идет к столу, останавливается.

— А может, передумаешь? — озорно морщит переносицу Тимур.

— Нет, нет. Это все без кайфа... А потом... Привязалась она ко мне...

— Понимаю...

— Нет, Тим, понимаешь...

— Да все я понимаю! Что ты так раскраснелся?! Я пошутил! Пошу-тил! Юмор пропал?!

— Я просто не понял...

— Надо понимать такие вещи! Какой ты пионер! Ты еще октябренок! Значит, так. Я сейчас прилягу, посплю,

потом придурок прыгнет — и домой! Надоело все! Устал в поезде... И вообще устал я от вас!

— От кого? — переспрашивает Володя. Раздевшись, в узких плавках телесного цвета он похож на греческого бога, может быть, только чуточку подкачанного воздухом.— От кого ты устал?

— От всех вас устал! Вот вы у меня где все!

— Кто, Тимур, не понимаю?

— Все! — яростно огребает руками воздух Тимур. Он делает это так резко и неожиданно, что Володя отшатывается от старшего брата, худосочного, с брюшком, с маленькими руками и ногами.

— Не бойсь: прорвемся,— затуманенным взглядом сверлит Володю Тимур.— Прорвемся, братан...

— Да я, собственно... я...

— Расслабься, расслабься...— хлестко стукает маленькой ладошкой в живот брату Тимур. Володя, даже не почувствовав комарнного удара, глуповато таращился на старшего. Тимур успокоился. Он плотно сжал рот, застыл. Смотрит на мост, на солдата на мосту, на солнце, смотрит не прищуривая глаз.

Становится душно. Звуки в воздухе звенят, как в парной, отчетливо и слишком ясно. Слова приобретают вес и, вздрагивая, повисают в воздухе. Филиппыч сидит возле воды в черных сатиновых трусах, сидит давно. Вокруг себя он выстроил настоящий город из песка, с улицами, площадями, и этот город похож на тот, откуда его привезли. Филиппыч берет мокрый песок и сыплет его вниз. Вода мгновенно уходит, песок застывает. Филиппыч опять берет, опять сыплет. Делает он сосредоточенно, отрешенно.

Тимур лежит возле стола, за которым сидят все, кроме Филиппыча. Тому кинули кусок сала с хлебом, и он их мгновенно проглотил.

— Лови! — крикнул Дрын, с силой швырнув сначала сало, потом хлеб. Филиппыч поймал, съел и теперь сидит, ковыряется в песке. Лена укладывает Оленьку спать. Володя, Лёлик и Дрын разливают. Володя не пьет, искоса поглядывает, как Лена укладывает дочку. Он под впечатлением разговора с братом, разливает водку, передавая друзьям.

— Прими на грудь,— говорит Дрын своему другу.

— Интересное предложение... Принимаю.

— Ну? — морщится Дрын.

— Тепловата.
— Пей, пока дают.
— А я не отказываюсь.

Тнмур лежит на животе, голову положнл на журнал «Работнпца». Иногда он открывает глаза, смотрнт над песком в сторону леса. Верхняя половнна деревьев неподвнжная, зелено-голубая. Ннжняя медленно плывет в танце, плавнтся в горячем песке. И над всем этнм летают стрнжн. Онн летают над песком, но отсюда кажется, что над лесом.

«Будет дождь,— думает Тимур.— Будет снльный дождь!»

— У меня все время на правой нагорает. Что делать? — доноснтся до него.
— Ннчего не надо делать. Выброснть ее надо и уменьшнть впрыскнванне.
— Что уменьшнть?
— Впрыскнванне. Подачу топлнва.
— А может, масло пробивает? Тогда что?
— Надо посмотреть. Может, сальнпк пора менять. Прнмн на грудь!
— Прнннмаю!
— Вес взят?
— Вес взят!
— Надо глянуть, сколько ты залнваешь в бак масла... Какая пропорцня?
— Чего?
— Какая пропорцня у тебя?
— Где у меня пропорцня?
— В баке.
— В мотоцнкле, что лн?
— А мы про что? Про фунпкулер?
— Какой фунпкулер?
— Дубнна, я о пропорцнн говорю... Соотношенне масла и бензнна! В баке!

Тимур закрывает глаза. Хочется спать.

«Да, надо что-то делать...— думает он.— Сколько можно: там — пить, ходнть, сндеть н говорнть, говорнть. Здесь то же самое: сндеть, ходнть, пнть... И опять — говорнть, говорнть н ннчего не делать! Надо что-то делать... Пустота... Господн, какая пустота..,»

Тнмур берет на ощупь со стола помндор, прокусывает в нем дырочку, тянет нз него холодную кнсловатую жндкость.

«И что удивнтельно — ннкакнх желаннй! Ни-ка-кнх...»

Он чувствует, как холодная жидкость проникает к нему в желудок. Высосав весь помидор, он вяло отбрасывает в сторону сморщенный остаток.

«Будет дождь...»

— Уложила? — слышит он осторожный голос Володи.— Пойдем.

— Не засыпает,— отвечает Лена.— И мы никуда больше не пойдем.

— То есть?

— Хватит.

— Не понял.

— Все понял.

— А он пошел на обгон...— вклинивается пьяный голос Дрына.— Выскочил на левую сторону и прямо в лобешник самосвалу. Вдребезги. Три часа собирали. Руки с одной стороны полотна, ноги с другой.

— Я что-то не понимаю тебя в последнее время! — кипятился Володя.— Что-то не пойму ничего!

— А что здесь понимать? Что?! Зачем ты его сюда привез?!

— Он с быка прыгать будет.

— Кто?

— Филиппыч.

— Я не про него! Я про брата! Зачем ты его привез, а?! О чем вы там около мотоцикла говорили?!

— Так, перекинулись...

— Перекинулись? Видела я, с каким лицом ты оттуда шел! Оленька, закрывай глазки! Часочек поспишь, и поедем домой! Кому я говорю — закрывай глазки! Ты слышишь меня или нет?!

— У нас тоже один случай был,— вступает Лёлик.— Мужик вез со свадьбы полный кузов, пьяный, так перевернулся и всех поубивал. А сам остался жить. На суде ему говорят — вышка. А он говорит...

— Ладно, ладно, не кипятись...— вкрадчиво звучит голос Володи— пойдем в лес погуляем, цветов нарвем Ольге. Пойдем поговорим спокойно.

— Знаю я, как это спокойно. Ты будешь спать или нет?!

— Нет,— говорит Оленька.— Мам, пойдем домой, скоро дождь будет.

— Ты давай не рассуждай, а закрывай глазки и поспи немного... А я тебе цветочков из лесу принесу.

— Ландышей?

— Ландыши весной были.. Васильков каких-нибудь принесу. Все, спи.

— Да что там мужик! Свадьба! Чепуха! — говорит Дрын.— Вот я знаю в Америке!.. Над каким-то городом столкнулись два грома-а-аднейших транспортных самолета! В одном был порох, а в другом... Вот не помню, что было в другом...

— Тоже порох?

— Не-е... Сейчас вспомню.

— Нитроглицерин?

— Да нет! Сейчас, сейчас...

— Тринитротолуол?

— Не-е. А что это такое?

— Ну, это тоже, что бы убивать...

— Нет. А в другом была тяжелая вода!

— Вода?! Тяжелая? А что это?

— Это... Ты слушай... И вот произошла такая реакция... Ну это, конечно, на грома-а-аднейшей высоте! Так вот, произошла какая-то странная реакция, что разнесло все!

— Вообще все?

— Вообще! Все к чертовой матери!

— И ничего не осталось?

— Ничего.

— А воздух?

— Так в том-то и дело, что и воздуха не осталось. Над тем местом авиакомпании запретили летать своим летчикам, потому что день ничего, два ничего, месяц... А потом рррраз! И с концами. Вот так иногда вода на порох действует...

— Тяжелая вода...

— Ага, тяжелая.

Тимур засыпает. Мысли в голове его мешаются, путаются, превращаясь в кашу из воспоминаний, жестов, восклицаний. Он отбрасывает этот груз, словно избавляясь от балласта, но последняя навязчивая мысль остается. Мысль: «И все-таки они пошли! И дочку она не уложила! Пусто-та...»

Оленька сидит на песке, смотрит в сторону леса, куда ушла мама с Володей. В нескольких метрах от нее спит Тимур, накрывшись журналом «Работница». Дрын и Лёлик ушли купаться. Солдат на мосту снял винтовку и от нечего делать целится в пролетающих птиц. Филиппыч сидит около воды. Городок из песка разрастается все больше и больше. Теперь ему приходится ползать между домов осторожно, чтобы ненароком не зацепить какой-нибудь дом, улицу или площадь, по которой он сегодня утром ходил. Оленька встает и подхо-

дит к Филиппычу. Шляпа, штаиы и рубашка высохли и теперь валяются иа окраиие городка. Оленька садится иа корточки, удивлеиио обводя глазами базар, кииотеатр, улицы.

— Это все ты, да?

— М-м,— ие оборачивается Филиппыч.

— И здесь можио жить, да?

— М-м.

— А кто же здесь будет жить?

Филиппыч ие отвечает.

— Стрижи здесь будут жить, да?

— А? — спрашивает Филиппыч, оглядываясь,— стрижи?

— Ну да, стрижи...

Филиппыч смеется, начиная повторять слово «стрижи»:

— Стрижи-стрижи-стрижистрижистрижистри - жистри-жистри-жистри! Ха-ха-ха! Жистри-жистри.

Олеиька тоже смеется и повторяет:

— Жистри-жистри-жистри!

— На! — говорит Филиппыч Олеиьке, подавая в руке песок. — Давай!

— Что? — спрашивает Олеиька.

— Давай... Со миой!

— Строить, да? — Олеиька осторожно переступает ближе к воде, зачерпывая мокрый песок ладошкой.— А где, Филя?

— Здесь,— показывает рукой Филиппыч.— Здесь твой дом.

— А где твой?

— Вот. Я к тебе буду приходить в гости. Я иду, иду, иду, прихожу к тебе, стучу... А где дом?

— Сейчас построю! — И Олеиька начииает строить. Свой дом. На песке.

Часовой смотрит вдоль рельсов за горизоит, куда ои уедет поздией осеиью. Солдат хочет улыбиуться, ио улыбка ие получается, а вместо этого хочется зевиуть. Зевает. «Давлеиие меияется»,— думает ои, иачииая считать шпалы вслух.

— Одии, два, три, четыре... Двадцать одии, двадцать два, двадцать три...— две последиие уже ие видиы, но ему все-таки хочется побольше.— Двадцать четыре, двадцать пять...— дальше все сливается в сплошную серую полосу, и мыслей больше иет. Душио. Жарко. И иет мыслей.

— Тяжело, когда нет мыслей,— говорит вслух часовой, прислушиваясь к собственному голосу. Голос ему не нравится. Какой-то трескучий, противный.

«Здесь можно и немым стать!» — думает он. Потом повторяет вслух:

— Можно стать немым! Можно стать немым! Стать немым! Немым!

Теперь он долго стоит, глядя перед собой, удивляясь тому, как долго может человек смотреть перед собой. Но он смотрит, смотрит... Проходит минута, другая... Стоять надоедает. Он закрывает один глаз. Стоит еще несколько минут. Потом закрывает второй.

«Вот такая смерть»,— думает он.

— Смерть! — произносит солдат и быстро открывает глаза. Вдали перед ним появляется поезд.

«Буду стоять, пока поезд меня не переедет,— думает он.— Раньше на четыре месяца домой попаду. И без головы. Голова будет лежать внизу под мостом. Ее съедят эти большие рыбы. И станут еще толще и длиннее... Нет, буду стоять. Домой охота...»

Тепловоз уже так близко, что за стеклом виден машинист. Оглушительно гудит сирена. Ноги сами собой переносят солдата со шпал в сторону, к перилам.

С грохотом проносятся мимо колеса, и что-то больно бьет по плечу. Уменьшаясь в размерах, машинист что-то кричит, размахивая рукой. Стакан, который он бросил в часового, разбивается о ферму моста. Осколки его медленно падают в воду.Машинист вертит возле виска пальцем, которым только что придерживал стакан. Осколки тонут в воде, покачиваясь из стороны в сторону. К одному из них в глубине подходит большая рыба, всасывает в рот и сразу же далеко перед собой выплевывает. Разворачивается и уходит в глубину. Туда, где могла лежать голова часового. А он как ни в чем не бывало вертит этой самой головой, выходит на шпалы и смотрит в сторону уходящему составу. Последний вагон пустой. Он болтается из стороны в сторону. Солдат трет ушибленное плечо, смотрит, пока последний вагон, взбрыкнув, не исчезает за поворотом. Потом переходит к перилам, наводит бинокль. Комок подкатывает к горлу солдата. Двое вышли из леса. Не спеша идут по песку к остальным. В руках у нее охапка полевых цветов, походка сонная и грациозная.

— Сука,— говорит вслух солдат.— Проклятая сука! Так бы и пристрелил тебя!

Не двигаясь, припав глазами к биноклю, он мысленно срывает с плеча винтовку, вставляя патрон, целится. Лена подпрыгивает, попадает в прорезь прицела. Она вся умещается в прорези, кроме отставленной в сторону руки с цветами

— Щщелк! — говорит солдат, глядя в бинокль,— и нет еще одной суки!

Теперь очередь Володи. Мысленно солдат расправляется с ее избранником тем же способом. Вот только его кудрявая голова не умещается в прорези. Торчит.

— Ладно, живите...— шепчет он, сплевывая в воду.— Пока.

— Ну, и теперь последний номер нашей программы! — кричит издали Володя.— Тимур, просыпайся!

— А? — вскакивает Тимур. По всему видно, что снился ему тяжелый сон. Лицо помятое и бледное.— А-а-а... Это вы... Пришли..— Он устало ложится опять на песок.— Мне приснилось такое!.. Нельзя спать на жаре, пить водку... Нельзя.

— Ну что, последний номер нашей программы, да? — повторяет Володя, присаживаясь к столу.— Где орлы?

— Кто? — закрыв глаза, спрашивает Тимур.— Какие орлы?

— Где ребята?

— Откуда я знаю... Слушай, поехали домой. Я так устал. По-моему, я обгорел, да?

— Есть малость.

— А вот и мы! — громко говорит Лена голосом снегурочки, неожиданно выскочившей из-за елки.— Вот мы и пришли! Оленька! Ты что там делаешь?! — Голос у нее мягкий, бархатистый.— Вот, паршивка, опять в воду полезла. Опять кашлять будет. Фу ты! Перепачкалась, как кикимора!

Оленька бежит к маме, размахивая руками по локоть в мокром песке.

— Мамочка, мамочка, мы строили город, представляешь? Мы построили город и будем в нем жить! Представляешь?

— Ты посмотри, на кого ты похожа! — говорит Лена.— Нет, ну ты только посмотри!

— Мы строили...

— Что вы строили?

— Город, мамочка! С улицами, с площадями! Настоящий город!

— Теперь тебя иадо купать. Бери мыло, пошли. Домой пора.

Леиа н Оленька идут к воде. Со стороны быка по косе подходят Дрын и Лёлик.

— Мы там были,— говорит Лёлик,— нельзя прыгать. Обмелела река.

— Да, мы проверили.— Дрын саднтся на песок.— Нельзя прыгать.

— С какой стороны смотрели? — спрашивает Володя.

— Со стороны моста.

— Здравствуйте! Он прыгает в обратиую сторону! В том-то н дело! Рыжий, который голову пробнл, прыгал иа ящнк пива в стороиу моста, а Филиппыч прыгает сюда, к иам! В нашу сторону.

— Да? — смотрит иа бык Лёлик.— Все равно там одни камни торчат. Там до воды лететь и лететь. Разбегаться надо. А где там на быке разбежишься?

— Так в том-то и дело, что этот прыгает в обратную сторону! — повторяет Володя, глядя на бык.— Пойду у него спрошу. Фнлнппыч!

Володя ндет к воде.

— Связываться неохота...— подбрасывая в руке камень, говорит Дрын.— Он лямзиется — потом отвечай.

— Перед кем? — спрашивает, не поднимая головы, Тимур.

— Что?

— Перед кем ты собираешься отвечать? — зевает Тимур.

Дрын отворачивается. Замолкает.

— Найдут перед кем,— резко отвечает Тимуру Лёлик.— Скажут, заставнли. Рыжий нормальиый был, ои за себя отвечал, за пачку сигарет прыгал.

— Ясно — нормальный был! — говорит Дрын, отвернувшись н подбрасывая камень.— Тот отвечал за себя! А за этого точно... Могут припаять.

— Припаять не припаять,— тнхо говорнт Лёлик.— Да жалко его, и все!

— Да... Он же не соображает... Ои за бутылку побежнт. Это точно!

— Нет, не надо ему прыгать,— говорит через минуту Лёлнк.— Вы как хотите, я его с собой цепляю и кручу педалн. Домой.

Тимур лежит без движений. Лёлик смотрит на то, как Володя уговаривает Филиппыча. Дрын смотрит на Лёлика.

— Ну чё ты, Дрын, уставился на меня? Давай одевайся. Сматываемся.

— Подожди... Может, ничего не будет.

— Ну как же! Если Вова захотел — он мертвого заставит. Смотри!

Филиппыч трясет головой, берет бутылку водки, смотрит на солнце, скалится, пританцовывая. Володя забирает водку у него из рук, показывая на бык. Филиппыч хохочет, прыгает, подражая спортивной разминке, еще раз берет в руки водку, целует ее. После этого ставит около своей одежды, поворачивается в сторону ребят, грозит, чтобы не украли.

— Да нужна она нам! — тихо говорил Лёлик.— Поехали, Дрын. Я тебе говорю, дубина.

Филиппыч уходит в сторону быка, оглядываясь и поднимая в воздух руки.

— Ну вот и все! — говорит, подходя, Володя.— Вся любовь и титьки набок.

— Договорился? — поднимается с песка Тимур.— Пошел?

— Конечно, пошел, а чего ему?

— Да,— говорит Лёлик,— чего ему! Он и на лед может прыгнуть, не только в воду! Дрын, ты как хочешь, а я кручу педали!

— Ну езжай, езжай! — резко поворачивается к нему Володя.— Чё ты расхныкался — езжай!

— Ты не ори на меня! Понял? Не надо меня глоткой брать! Ты лучше бы сначала сходил, посмотрел, где вода! Лучше бы туда сходил, чем в лес!

— Что? — Володя идет на Лёлика.

— Ничего! Проехали! — отскакивает в сторону тот.— В прошлый раз вон где вода стояла, и то Рыжий голову проломил! Искали его вон сколько, чуть откачали! Ты не видел, да?! А я видел!

— Ладно, ладно, петухи! — разнимает Тимур.— Может, действительно не надо, Володя?

— Да что я, не знаю, что ли? — кипятится тот.— Он, как кошка! Он зимой без пальто ходит! В сорокаградусный мороз в штиблетах на босу ногу! Все! Пусть прыгает! Я отвечаю, понял?!

— Понял! — кричит Лёлик.— Только я в этом не участвую! Мне, может, его жалко! Филиппыч! Филиппыч! — вдруг кричит он и бежит в сторону быка.

— Стой, ур-рою! — бросается за ним Володя, догоняет, сбивает с ног. Прижимает к песку, держит.

— Филиппыч! Не прыгай, не пры...— Володя вдавливает Лёлика лицом в песок.— Молчи, тварь, удавлю!

Филиппыч не слышит. Он входит в воду и плывет, пересекая по диагонали течение, выгребая к быку.

— Отпусти,— подходит Тимур.— Все равно он уже не поверит.

Володя отпускает. Тимур смотрит на Лёлика. Тот, не вставая, прищурившись, смотрит ему в глаза снизу вверх.

— Ненавижу вас! — говорит он.— Всю вашу породу ненавижу! И тебя ненавижу, понял! Приехал сюда — концерт для него устраивают!

— За что же ты меня ненавидишь, малыш? — улыбается Тимур.— Если он разобьется, ты будешь в таком же положении, как и я, и он.— Тимур показывает на всех.— Это соучастие, малыш, понимаешь? Вставай, не смотри на меня так. Все равно около пивной видели: ты вместе с нами поехал. Так что не рыпайся.

Лёлик встает, садится на песке, вдруг начинает плакать.

— Дрын, ну а ты чё стоишь, ты же видел... Как Рыжий... Ты же видел — там воды по пояс. Разобьется он.

Подходит Лена

— Что такое? — испуганно спрашивает она.— Что случилось?

Лёлик кидается к ней.

— Лен, ну хоть ты скажи им...— Потом машет рукой, отходит, садится на песок.

— Что случилось, Володя? — говорит Лена.

— Ничего! Сейчас поедем!

— Что случилось, спрашиваю?

— Ну, прыгает он, прыгает! — кричит ей Лёлик, показывая на бык.— Разобьется он! Там в пяти метрах около быка воды нет! А они послали его! Концерты для этого устраивают!

Повисает молчание.

— Дрын! — вдруг кричит Лёлик и бросается к другу.— Почему ты молчишь?! Скажи им — ты же сильный, дубина!

— Ну, ладно, ну чё ты...— бубнит тот.— Да не разобьется он. Чё ты...

— А если разобьется, а если разобьется?

— Ну... скажем, сам, полез, свалился!

Лёлик стоит перед Дрыном, глядя в упор.

— Да? — и с силой бьет его по лицу.— На!

Тот хватает Лёлика за руки, выворачивая их, как прутья лозы, за спину.

— Вломи ты ему наконец! — смеется Володя.— Получил по морде от лучшего друга?

Дрын несильно бьет Лёлика по шее. Тот падает в песок.

— Ты, кончай это! — говорит он другу в спину.— У тебя удар, как у комара. А если я дам — так я дам...

— Прекрати сейчас же, слышишь?! — подходит Лена к Володе.— Ты что, сесть хочешь?

— Ну ладно, ладно, ладно!.. Погоди! Прыгнет, и поедем! — не оборачивается Володя.

— Мам, а что будет, а? — прижимается Оленька к Лене, одетой в цветастый летний сарафан.

— Прекрати сейчас же, слышишь?

— Да слышу, что я, глухой?

— Ну что вы за люди такие?! — громче говорит Лена.— Неужели вам его не жалко?

— Кому — им? Жалко? — кричит Лёлик.— Жалко у пчелки под хвостом!

Лена прикладывает ко рту ладони, кричит:

— Филя-а-а-а! Не прыгай! Не прыгай!

— Гай-гай-гай! — несется эхо над лесками, рекой, над мостом.

— Ну тогда я пойду туда и стащу его! — говорит Лена.

Володя берет ее за руку, останавливает.

— Пусти,— вырывает Лена руку.

Володя держит.

— Пусти, я сказала!

Володя не отпускает руку, вглядываясь против солнца на верхушку быка.

— Что это значит? Я же тебе сказала — пусти! Слышишь?

— Слышу. Сейчас поедем. Прыгнет, и поедем. Я так хочу.

— А еще чего ты хочешь? А?

— Хочу, чтобы ты заткнулась.

Рука Володи держит ее на запястье. Кисть у Лены посинела.

— Пусти, больно! — выворачивается Лена.— Пусти!

Филиппыч уже появился на верхней площадке быка.

— Не прыгай! — кричит Лена.

— Гай-гай-гай! — несется эхо над пляжем, над лесом, и только стрижи, пугаясь, вспарывают душный воздух.

— Мама, мамочка! — хнычет Оленька, прижимаясь к ней.

— Да что же это такое?! Ну чего вы истерику устраиваете! — не выдерживает Тимур.— Вы посмотрите лучше, какая красота! Солнце! На фоне его фигура! Такого, может быть, не увидишь никогда! За это, кстати, деньги большие надо платить! А мы задарма, можно сказать,— за бутылку водки.

— Все. Я поехал,— размазывая слезы по лицу, встает с песка Лёлик.— Можете хоть убить меня, но я не буду смотреть.

— Постой, Лёлик,— останавливает его Дрын.— Вместе поедем, чё ты?

— Убери руку, сука,— истошно вопит Лёлик.— Видеть тебя не могу, холуй! — Он выворачивается и быстро идет к мотоциклу. Он на ходу хватает с песка рубаху, натягивает ее, не останавливаясь, втискивается в штаны. Начинает заводить мотоцикл, но у него ничего не получается. Мотоцикл глохнет.

— На правой нагорело...— смотрит ему в спину Дрын.— Свечу прочистить надо... Или заменить...

«Интересно, смог бы или нет?» — думает солдат, глядя в бинокль на Филиппыча, который теперь совсем близко около него, на площадке старого быка.— «Смог бы или нет? Ин-те-рес-но... Два года простоять на мосту и...»

— Давай! Дава-а-а-ай! — доносится до него голос Володи.

— Вайвай-вайвай-вайвай! — бьется эхо о железные фермы моста, возвращаясь обратно.

«...И ни разу не выстрелить в человека! — думает часовой.— Смех, да и только! Нечего будет дома рассказать!»

Часовой опять мысленно вставляет маленькую пулю в магазин. Он представляет, как щелкает затвор. Представляет, как он целится. В Филиппыча.

— Солнце-солнце-солнце-солнце! — кричит Филиппыч, запрокидывая голову.

— Цесон-цесон-цесон-цесонце! — летит эхо над диким пляжем.

Синяя туча наваливается на огненный шар. На пляж опускается мрак и тишина. Стрижи улетели. Все попряталось. Сейчас будет дождь. Солдат мысленно нажима-

ет на курок, но выстрела нет. Он предусмотрительно поставил винтовку на предохранитель.

— Пьюу-у! — делает губами солдат и улыбается.— Ладно, живите. Пока.

Филиппыч прыгает.

На пляже все стоят, приставив руки к глазам. Смотрят. Лёлик у воды, рядом с мотоциклом, остальные чуть поодаль. Секунды кажутся минутами. Начинает дуть холодный ветер. Подпрыгивая, в сторону воды полетели газеты со стола. Легли на воду. Тонут.

— Ну что? Нет его? — наконец не выдерживает Володя.

Лёлик срывается с места и бежит в одежде к быку. Мотоцикл его, проваливаясь подножкой в песок, падает. За Лёликом вслед срывается Дрын. Потом Володя.

— Я плавать не умею...— извиняясь, поворачивается к Лене Тимур и бежит трусцой к воде. Потом вдруг останавливается, подходит к Лене.

— Ты поняла, да? — говорит он, заглядывая ей в глаза темными ямами зрачков.— Ты поняла, да?

— Что? — смотрит на Тимура Лена.

— Лишнего не болтай... Поняла, что я сказал?

— Нет.

— Будешь говорить, что я буду говорить, ясно?

— Нет.

— Что — «нет»?! Что?!

— Я сказала — нет!

Лена, запрокинув голову, яростно, сверху вниз смотрит на Тимура.

Ныряют вокруг быка уже минут пять. Володя, самый сильный из всех, ныряет чаще. Отдышавшись, он с силой уходит под воду. Его долго нет на поверхности. Дрын ныряет реже — слишком много сегодня было «взято на грудь». Лёлик, нырнув несколько раз, вылез на берег и стоит на четвереньках около воды. Его мутит.

Солдат со смехом смотрит на то, как они ныряют. Ему все видно. Все понятно. Несколько раз его подмывает крикнуть им, но он сдерживает себя. Начинается мелкий дождь.

Тимур внешне спокоен. Он ходит из стороны в сторону, поглядывая в сторону быка. Насвистывает.

— Ну ладно,— говорит он, решительно направляясь к мотоциклу.— Заявить надо первым.

Он с полуоборота заводит мотоцикл, подъезжает к Лене. Не спеша перегазовывает. Лена отходит в сторону, прижимая к себе Оленьку.

— Ты запомнила, что я тебе сказал? — говорит Тимур и надевает шлем.— Повтори.

Лена не отвечает.

— Повтори, сучонка. Я тебя так ославлю — до конца жизни не отмажешься.

Он рвет на себя ручку газа. Мотоцикл ревет и дальше слов не слышно. Только тонкие губы Тимура выталкивают изо рта что-то презрительное и ненавистное. По краешку губ запеклась белая пена.

Лена закрывает уши Оленьке. Прижимает лицом к себе. Оленька всхлипывает.

— Дура ты...— увещевает Тимур— Все равно тебе никто не поверит..

А на мосту солдат заходится от смеха. Ему видно, что человек, который прыгал, спрятался с другой стороны быка между камней.

Да, Филиппыч на свою беду решил пошутить. Он придумал спрятаться и посмотреть, что будет. Теперь ему и страшно, и надо вылезать. Начинается дождь.

Наконец он прыгает в воду. Течение быстро выносит его далеко в сторону от ныряющих. Раньше, чем они успевают его заметить, он со смехом вылезает на берег и идет к Тимуру.

— Ха-ха-ха-ха! Дурак надул дурака! Дурак надул дурака! — смеется он, отплевываясь от воды, тыча пальцем в Тимура.

— Опоздали домой,— тихо говорит Лена, сжимая худенькие плечи дочери.

— Мне холодно, мамочка, мне холодно...— шепчет Оленька, глядя на Тимура. Он глушит мотор, аккуратно ставит мотоцикл на подножку, снимает шлем, поправляет волосы. И только после этого идет к Филиппычу.

Он бьет его в лицо сильным прямым ударом. Тот падает навзничь в воду. Тимур ловит в воде его за волосы, повернувшись к нему спиной, вытаскивает на берег. Поднимает. Опять бьет. Теперь уже точнее, куда целился. Филиппыч падает сначала на четвереньки, потом, обессилев, на живот. Тимур отходит на шаг, изогнувшись, бьет ногой в живот, в лицо, опять в живот. Изо рта Филиппыча хлопьями идет розовая пена. Подплывают Дрын и Володя, покачиваясь, выходят из воды.

— Завязывай,—говорит Володя, хватая Тимура за руки.

Дрыи оборачивается и смотрит в стороиу, туда, где на песке лежит Лёлик. Думает: «Идти к иему или иет?»

— Эй! — кричит Дрын своему другу.— Мы уезжаем! Лёлик!

— Коичай, кончай,— говорит Володя, обхватывая Тимура, подиимая иад землей.— Если он не утонул, так ты его убьешь. Завязывай.

Филиппыч вскакивает, бежит к своей одежде, что лежит иа окраиие песочиого города.

— А-а-а-а! — кричит Филиппыч, выпучив глаза.— Спасите!

— Эй, там иа пляже! — кричит часовой.— А иу, прекратите!

Тимур вывертывается из объятий брата, догоияет Филиппыча. Подиожка обрушивает Филиппыча лицом вниз в песочиый город.

— А-а-а-а! — кричит Филиппыч, ио Тимур ловким ударом сбивает крик. Филиппыч замолкает. Подбегает Володя, оттаскивает Тимура. Тот извивается вьюном в крепких объятиях брата. Володя держит его крепко, но брат чуть ли ие бьется в истерике, и они падают вместе на песок.

— А иу, пре-кра-тить там!! — уже громче, приставив рупором ладоии ко рту, грозио кричит солдат. Но его по-прежиему иикто ие слышит. Далеко.— Э-э-э-эй! Щщас стрелять буду!

— Лёлик! Мы поехали! — кричит Дрыи.— Чё ты там разлегся? Коичай загорать, солице за тучку забежало! — Ои подходит к барахтающимся иа песке Филиппычу, Володе, Тимуру, миется, разглядывает, оборачивается, смотрит в сторону друга: — Коичай загорать, сказал!

Начииается ливеиь. Леиа подхватывает Олеиьку иа руки и бежит к лесу.

—Изверги, чудовища, изверги, чудовища!..— шепчет оиа, прижимая к себе дочь.

— Не слышио,— говорит вслух солдат и еще иекотое время смотрит на суетящиеся точки людей на пляже, смотрит глазами, ие приставляя бинокля. «Никто не слышит. Никто. Стоишь тут...— размышляет ои, поставив локоть иа перила, подперев скулу — Стоишь, даже выстрелить в воздух иельзя. Спросят: «Зачем стрелял?» «Драка была». «В зоне моста? Перед заграждеиием? Или за?» «За». «Устав зиаешь?» «Знаю». «На га-

уптвахту! Кру-у-угом! Шагом арш!» Служба есть служба. Присягу давал. Да-а-а... Вот и караулу конец, сейчас смена придет».

Солдат входит в будку на краю моста, прикрывает плотно за собою дверь. Он ставит в угол винтовку, поглаживая сталь, смотрит на нее долго, внимательно, словно только что увидел.

— Поехали! — заводит на пляже мотоцикл Володя.— Быстрее!

Тимур с трудом надевает мокрую рубашку, пытается застегнуть пуговицы, у него ничего не получается. Потом хочет надеть брюки, машет рукой и бросает сзади на багажник мотоцикла.

— Лёли-и-ик! — заводит мотоцикл Дрын и по косе подъезжает к другу. Тот лежит вниз головой, положив ее на руки.

— Лёлик,— говорит Дрын.— Хватит кукситься, поехали. Слышь, ну ладно, извини меня!

Лёлик не двигается.

— Ну, извини меня, слышь? Поехали... А то по лесу не проедем, затопит низины, слышь?

Не двигается.

— Давай, давай! — машет рукой Володя, подъезжай к лесу. За ним выруливает Тимур. Дрын свешивается с мотоцикла, протягивает руку и хочет тронуть друга, но передумывает, отдергивает руку и тупо смотрит ему в спину.— Ну ладно... Как хочешь... Лежи себе здесь... Хлюпик.

Разверзлись небеса! Начинается настоящий летний ливень с молнией и грозой! Становится темно, как ночью. Волны воды опускаются на пляж, поднимая над ним желтые смерчи песка. Гремит гром, молния в секунду освещает мост, огромную рыбу, вывериувшуюся на форватере: удар хвостом, еще удар, молния словно засвечивает бурлящую пену на воде, бык посередине реки, Лёлика, лежащего на песке, и Филиппыча, скрючившегося на краю своего песочного города. Город разрушен. Вода размывает остатки его, просачиваясь под Филиппыча, подмывая прижатые телом еще сухие его дом и дом Оленьки. И еще улицу, по которой они собирались ходить друг к другу в гости. Дождь несется дальше над пляжем, водой, лесом — дальше, дальше, к городу. И вот уже словно громадный перст вывалил из-за излучины реки и метнулся тыкать в воду, в песок. Это смерч, смерч! Он всасывает в себя листья, песок, легкие палки и мусор и возносит всю эту муть и грязь

выше моста, к фиолетовым небесам. Смерч, смерч! С воем ударился в мост в будку, в солдата, от страха присевшего в будке, и шарахнулся вдоль насыпи железной дороги — к городу. Смерч вскоре настигает в лесу женщину, что прилепилась к стволу огромного вяза и, прижав к себе девочку, плачет. Он настигает трех мотоциклистов, что несутся, пробуксовывая в низинах в грязи, настигает всякого: вдоль реки на пляже, в лесу, в городе. И грозно тычет в город, срывает крыши и выворачивает деревья, свистит, шипит огромной змеей, вставшей над землей на хвост, грохочет и бьет этим хвостом, на конце которого ослепительно блещет молния!

Гремит гром, раскатываясь далеко, на многие десятки километров, напоминая, предупреждая людей о серьезном и важном.

— Вставай,— говорит Лёлик, стоя около Филиппыча.— Поехали.

Лёлик смотрит на мотоцикл, засыпанный песком. Мотоцикл наполовину валяется в воде, наполовину на берегу. Филиппыч лежит без движения, потом садится, смотрит в мутную воду, которая несется перед глазами вниз, под мост. Лёлик садится рядом, около Филиппыча. Тоже смотрит в воду. По воде несутся листья, трава, пена. У противоположного обрывистого берега в омуте закрутило бревно. Они смотрят на это бревно. Стрижи летают над водой, далеко в лесу стучит дятел. Солдат выходит из своей будки. Он чуток вздремнул под грохот и дождь. Тело его затекло, он приседает, машет руками, разминая члены.

«Хорошо!» — думает солдат, оглядывая умытую землю.

— Ха-ра-шо-о-о-о-о-о-о!— кричит он во всю силу своих легких, выпятив грудь колесом.

— О-о-о-о-о-о-о-о! — бьется эхо между мокрыми фермами моста.

Ирина Полянская

ЧИСТАЯ ЗОНА

Рассказ

Не успела нянечка в приемном покое унести на плечиках в глубь коридора мою одежду, как со мной произошла странная перемена, метаморфоза, возможная только во сне, когда одна реальность легко переливается в другую и между ними не возникает никакого зазора: я впервые за долгие годы почувствовала свободу и безопасность, смиренное торжество над жизнью, оставшейся поджидать меня у входа в больничное здание. И я пошла за другой нянечкой, не оглядываясь, сложив с себя наконец все обязательства и ответственность, сосредоточившись на себе, на своем существе, свободном, как во времена младенчества, понимая, что тут никто не достанет меня, что я надежно ограждена своею болезнью и что я оказалась как бы на горной вершине. Давно пора было уйти сюда, ибо на так называемой воле тяжесть все накапливалась и накапливалась, и некуда было ее спихнуть, понедельник застревал в пятнице, октябрь в сентябре, ни одно дело не удавалось довести до конца, и все мое существование прочно оплела растущая, как снежный ком, неправда, в которой невозможно было отдать себе отчет, когда человек, чтобы выжить, подделывается под одного, другого, третьего, под всю систему существующих отношений, теснящих его существо, и мается бесплодным желанием куда-нибудь нырнуть, свернуть, нащупать боковое ответвление жизни, чтобы, метнувшись туда, пропустить мимо себя толпу других бегунов на длинную дистанцию, а самому пойти совсем в другую сторону, в неизвестном направлении, в полном одиночестве, неприкосновенной независимости, на одном лишь обеспечении личного времени, собственной судьбы, не слыша больше ни топота ног, ни ликующих криков победы, ни зубовного скрежета раздоров и ненависти.

Действительно, что делать, когда ложь разлита в воздухе, и не знаешь, где кончается общественная и начинается собственная, которая, впрочем, и не ложь даже, вы-

раженная напрямую такими-то и такими-то словами,— слова только огибают основную мысль, чтобы она могла существовать, невинно внедряться в сознание собеседника, пусть самого случайного, ибо и от него, случайного, существует томительная зависимость. Только в детстве всякое чувство окроплено искренностью, этой росой жизни, но чем дальше живешь, тем властнее вбирает в себя хитрый вымысел, лукавая игра, в которой страшно сделать неверный ход, поскольку кто-нибудь этим да воспользуется. И вот я нырнула в свою болезнь, которая чем не раковина,— она даст возможность окрепнуть и собраться с душевными силами.

Усталость и страх измучили меня. С одной стороны, это страх постоянного ожидания, что меня вот-вот разоблачат, выведут на чистую воду, догадаются, что я все время боюсь кому-то наступить на ногу, толкнуть локтем, с другой стороны, страшно, что меня толкнут, мне отдавят ногу, и я все это проглочу, как, впрочем, глотаю каждую минуту своего существования, будь то поход к сапожнику или разговор с соседкой по квартире. Из ее комнаты доносятся бодрые звуки радио. И я выскальзываю, приняв меры предосторожности, в коридор, и она вырастает передо мною, как колдунья в дурацкой сказке: выросла и впилась в меня всеми своими присосками, холодно поблескивая очками. Оказывается, и причина у нее серьезная — горе, сын женится. Взял не из нашего — вы меня понимаете? — круга, нищета, теснота, безотцовщина, где он ее только выискал. Что делать, я согласилась, пусть немного подженится, если мальчику надо. С природой не поспоришь. Во всем есть свои плюсы, а эта хотя бы прописку имеет. Ну, потрачу на них тыщу— все лучше, чем с проститутками. Так говорила она мне, сверкая стеклами очков, погружая меня по горло в мое же помойное ведро, которое тяжелило руку, и чтобы освободиться от этого чувства, надо было немедленно надеть ей ведро на голову. Но я стояла по стойке «смирно» и слушала завывание заносящей меня вьюги, скорбя в душе, пугаясь гладкого, серьезного, плоского лица, до тех пор, пока она величественно меня не отпустила, и я с полным ведром в руке метнулась в свою нору. А ведь я от этой женщины ни в чем не зависела: ее сыну со мной не надо, но укоренившийся во мне страх не спрашивает, страх, как цвет глаз, от него так просто не избавишься.

В палате, как по заказу, оказалась свободной кровать у окна: поздоровавшись с соседками, я уложила вещи в

тумбочку, потом подошла к окну и обратилась лицом к природе, состоящей из соснового леса, подернутого пеленой снега вдали, и группы темных, высоких елей.

Когда-то в этом городе жили мои родители. Собственно, города тогда еще не было, был поселок, куда отца, полуживого, привезли на санях; чуть позже ему разрешили выписать к себе маму, с которой они не виделись почти семь лет. Как они здесь жили, не знаю, знаю только, что отец, дорвавшись до своей любимой работы, ожил, ушел в нее с головой, закрывшись ото всего другого, что в молодости составляло его жизнь, и в непрестанных трудах провел многие годы, а когда очнулся от работы, получив передышку в виде тяжелой болезни, то увидел, что жена его состарилась, а дети выросли.

Моя сестра вернулась в этот город по распределению — она и уложила меня в больницу, где работала сама.

За спиной прялся тихий разговор тихих, как и я, свернувших свое существование, женщин. Когда я обернулась, перед моей кроватью стоял врач, как посланец снегов, из них и явившийся, он задал мне несколько вопросов, на которые я ответила с радостным чувством человека, наконец-то говорящего правду. «Вот тут болит,— утвердительно сказал он,— не бойтесь, я держу...» Я и не боялась, я рада была отдать в его руки давно надоевший груз. С первого взгляда мне стало ясно, что врач мой, Алексей Алексеевич, человек совсем другой породы, чем я. Глаза его смотрели спокойно и ясно, молодое его лицо казалось одновременно доброжелательным и безучастным; видимо, он умел держать дистанцию в отличие от меня. Только на больничной территории мы с ним могли существовать несуетно и на равных, так как собирались делать одно общее важное дело, на свободе я бы обходила его стороной, инстинктивно опасаясь уверенных в себе, доброжелательных людей. «Ну что ж, в понедельник прооперируем»,— легко сказал он и, накрыв меня до подбородка одеялом, ушел.

«О, вам будут делать операцию»,— почтительно проговорила одна из женщин, и тут я поняла, что здорово могу проехаться на этой своей будущей операции. Она дает мне право рассеянно смотреть в окно, не участвуя в общих разговорах, читать себе книгу, и при этом никто не упрекнет меня, что я ставлю себя выше других.

И я радушно распаковала в палате гостинцы, которые дала мне с собой сестра, это была моя плата за счастливую возможность одиночества. Мол, я всей душой и сво-

ими пирогами с вами, но мысли моей да будет позволено блуждать в сосредоточенности и покое.

Одну женщину звали Галя, другую Мария. Мария с недоумением подержала в руках книгу, которую я с любовью выбрала для себя. А я уже извинялась за эту незнакомую ей книгу, объясняя ее наличие в своей сумке крайней спешкой, в которой проходили сборы в больницу, а я уже печалилась, ибо и сейчас, даже сейчас не использовала открывшихся возможностей поступать так, как хочется, и читать то, что хочется.

На другой день мы уже подружились и многое узнали друг о друге. Мария оказалась веселая, разбитная, но с мечтой в душе, как героини многочисленных кинолент, которые тоже были разведены, имели случайные связи, пока не набредали на настоящего человека, в конце концов не замедлившего явиться. Мария говорила, что такой финал — большая неправда. Галя сказала, что у нее было, как в кино. Она совсем недавно вышла замуж за человека, с которым много лет трудилась в одном коллективе. Все, что Галя ни говорила, она начинала с праздничных слов, к которым ее губы никак не могли привыкнуть, и основная информативная нагрузка ложилась именно на них, а не на последующее сообщение. «Мой муж» с утра до вечера жужжало в палате, «мой муж» впивалось в незамужнее Машино ухо, и Маша, которая могла похвастаться всего-навсего «одним человеком», исправно навещавшим ее в больнице, делала вежливое лицо и подмигивала мне. Узнав, что я замужем, Галя всем сердцем переметнулась от Маши ко мне, как к человеку, с которым можно говорить на равных, обсуждая семейные проблемы. В любой ерунде она искала повод произнести заветные слова: пел ли Серов свою «Мадонну» — оказывалось, что муж Петрович этого певца уважает, давали ли на обед гречнху — выяснялось, что ее Петровича хлебом не корми, дай только гречневую кашу, заросло ли стекло морозными лилиями — надо продышать глазок, а то не увидим, как идет по тропинке Петрович. Пел Серов, пел Алибек Днишев, пела Ротару, и мне хотелось вытащить из раднотрещотки все ее внутренности, намотать на поганый веник, как паутину, все эти невозможные, скребущие слух песнопения, которые благоговейно слушали мои соседки, и разом вытряхнуть их в форточку. И где, скажите, скрываются изобретатели этих песен, где берут, из какой действительности черпают все эти завалинки, старые мельницы и малиновые

звоны,— причем даже сама музыка охотно идет у них на поводу,— эти чистые криницы!

И мне, раздраженной, озлобленной, хотелось сказать соседкам: женщины, ложь разлита в воздухе, в музыке витает, в облаке плывет. Вот один обольститель с невинной, должно быть, физиономией, выводит: «Я сажусь в машину, еду за тобой!», а другой ему вторит: «Вслед за мной на водных лыжах ты летишь!», а третий, четвертый, пятый приглашают вас на карнавал, которого сроду никто не видывал. Какое, скажите, все это имеет к вам отношение? Не ваш печальный силуэт отпечатывается на расшитых морозными королевскими лилиями окнах, не ваш, сутулый, с сумкой на колесиках, которую вы, пыхтя, вталкиваете в автобус. Разве можно сочинить песню про нашу великую радость, когда ухватишь десять пачек «Лотоса», а в руки дают только пять, но мы лихорадочно умоляющими голосами кричим кассирше: у меня там ребенок стоит,— и машем рукой в сторону действительно стоящего, уже измученного стоянием ребенка. Создайте гимн про радость починки зубов, которая все откладывалась за недосугом, пока есть стало нечем. Отдельно — про битком набитый троллейбус с припевом: езди на такси, раз такой умный. Много таких тем можно подбросить умникам, описывающим снегирей на снегу, зябликов на ветке и прочее великолепие. Но лучше заткнуть уши воском, дабы не слышать голосов этих сирен. Ан нет — музыка конвоирует наш слух, барабаня в перепонки, сохраняя внутри себя все это бесстыдство, пропитываясь им.

По утрам женщины готовили себя для врача, как наложницы для своего господина. Пристроив в кроватях на коленях зеркальца, клали тени на утомленные веки, красили ресницы и снимали свои верные бигуди, рассыпающиеся по склону одеяла, как стадо овечек. Чирикала радиоточка. Кто-нибудь высовывал голову в коридор: посмотреть, в какой палате сейчас Алексей Алексеевич. И дальше — все разговоры о нем: какой внимательный, молодой, но настоящий, и жена, наверное, хорошая, вон рубашечки накрахмаленные. Как о любимом повелителе — верные служанки: чисто, любовно, с заботой. Единственный для нас теперь мужчина: Петровичи наши и «один человек» там, на воле. К тому же мы знаем, чувство наше не безответно: Алексей Алексеевич влюблен в свою работу, в наши болячки, следовательно, и в нас. И

любовь эта лишена корысти, не то что на воле. А реснички-то у него длинные, как у девушки! Голос строгий, но добрый. Кофейку бы ему сварить на дежурство. Галя, скажи Петровичу, чтоб пирожка принес. Человек всю ноченьку глаз не смыкает. Знаете что, на радио надо о нем написать, чтоб передали песню «Люди в белых халатах». И в газету тоже. Говорят, им это зачитывается, хорошее отношение больных, глядишь, какую пятерку к зарплате прибавят. День и ночь, не жалея сил, сидит в больнице, душой за нас болеет, умница!

Я слушала их разговор, принужденно улыбалась, думая, где найти мне такую обитель, куда закатиться, чтобы ни в чем не принимать участия, дать отдохнуть лицу, горлу и душе, куда уйти, в какие снега?..

Но и это, и то, что я чувствовала в те первые больничные дни, все это оказалось выдумкой, обманом внутреннего зрения, принятым мною за некую открывшуюся истину. Больница, поменяв мое городское платье на халат, предлагала дальнейшее разоблачение, ибо на операцию человека везут голым, голым, укрытым по подбородок чужой хрустящей простыней, и вот к этому я еще не была готова, и вот в день операции на смену житейскому отвращению к мелочам жизни пришел чистый, я бы сказала, бескорыстный страх.

С наступлением страха ушла в тумбочку моя книга, рассыпалась на ненужные страницы, растеклась по буквам, и слова, умные, тонкие мысли и слова в ней уже не могли быть опорой моему смятенному сознанию; окно затянуло морозным рисунком, спрятавшим ненужный теперь пейзаж, и вошли люди — первые, точно увиденные после долгого пребывания на необитаемом острове люди, последние люди, которые проводят меня до лифта, передадут из рук в руки стерильным ангелам; ангелы вознесут меня на лифте до стеклянных врат, на которых будет написано: «Чистая зона»,— и передадут меня в руки самого бога, чтобы я вкусила наконец непредставимого, стерильного сна от черной резиновой маски. И что будет потом, я не хотела знать, не хотела опускать глаза на то место, которое сделает мое тело еще более голым, где раскроют его и раскупорят. Всем своим существом я приникла к этим первым и последним моим людям, соседкам, охотно поддерживала разговор, который вчера еще казался мне невыносимо скучным, вынуждала Галю лишний раз произнести «мой муж» и выпытывала у Маши подробности про ее «одного человека». Тогда же я вспомнила свою соседку, вспомнила о ней с ощущением

раскаяния, точно она, не я, завтра поднимется в чистую-чистую, озонную зону, и я дала себе слово, что, вернувшись из своей головокружнтельной высоты, распахну перед ней свою дверь и уступлю ей право любить своего сына так, как она его любит, потому что в конечном итоге всех нас ждет еще более чнстая, чем моя завтрашняя, зона, н уж она-то наверняка очнстит нас ото всех заблуждений жнзнн, потушит наши громкие, режущие ухо голоса, развеет тщеславие н обман, и наступит всеобщая братская нскренность.

...Сегодня, как всегда, был обход. Налетела стая белых халатов, повитала над соседннми кроватямн и спланнровала возле меня. Наш Алексей Алексеевич стоял впереди, как вожак, представляя меня остальным, но я уже смотрела не на него, я с надеждой вглядывалась в добродушное, бородатое лнцо завотделением, который н будет меня опернровать, косилась на его короткопалые, поросшие темнымн волосками, спокойные руки, и ближе его для меня сейчас человека не было. Он выступил вперед, я приподнялась на подушках, и он положил мне руку на плечо: «Как чувствуете себя?»—«Хорошо».—«Вашн роднтелн работалн в Центре?» — «Можно сказать и так».— «Попадали под облученне?» — «Отец кажется, в 51-м. Произошла какая-то авария, несколько человек хватилн рентген».— «Значнт, сестра роднлась до того, как отец попал в аварию?» — «Да, нам с братом повезло меньше».— «Про брата я знаю. Очень вам сочувствую... Ну что, готовы?» — улыбаясь, легко спроснл он, как будто речь шла о небольшом путешествии.

И тут прежняя жизнь, въевшаяся в кровь бравада отозвались на знакомый сигнал. «Всегда готова»,— произнесла я, занеся над головой руку. «И славно»,— как бы не замечая моих потуг, серьезно сказал он. Тепло, нсходившее от его рукн, было так убеднтельно н проникновенно, что хотелось потереться о нее щекой. Завтра несколько часов подряд он будет безраздельно принадлежать мне, а я ему, а потом мы расстанемся навсегда, и это достойно удивления. Он снял с моего плеча свою спокойную руку и, отвернувшись, сразу забыл обо мне, заговорил в дверях с Алексеем Алексеевичем о каком-то шведском препарате, и то, что он уже забыл обо мне, прибавило мне веры в его могущество.

В этот день женщины говорили приглушенными голосами.

— Александр Ивановнч — замечательный хирург,— сказала Галя,— мой Петрович слышал о нем много хоро-

шего. Лучше его никто здесь не оперирует. И человек прекрасный. Непонятно, почему от него жена ушла.

— Думай, что говоришь,— покосившись на меня, упрекнула Маша.

— А что? От этого его умения не убыло...

— Зачем ей это? Она,— кивок в мою сторону,— должна знать только хорошее.

— Я и говорю: хирург отличный, а жена дура. Я тебе ее после покажу,— пообещала она, и ее уверенность, что будет п о с л е, порадовала меня.— Она в гинекологии работает. Красивая!

Вечером пришла моя сестра. «Я смотрела твои анализы, все нормально»,— сказала она. «Ясно, что нормально, иначе бы не оперировали завтра. Ты утром не приходи, ладно? Я не хочу».— «Ладно». Она смотрела на меня умоляющими глазами, и я дождаться не могла, когда она уйдет. Моя сестра была теперь от меня дальше, чем Галя и Маша, и она ничем не могла мне помочь. К Маше уже пришел «один человек», а к Гале — Петрович, эти двое тут же свили в углу кровати гнездо, тихо переговариваясь о домашних делах. Сестра наконец ушла, а я выпила таблетку снотворного и все смотрела на Галю и Петровича, пока не очутилась в самой сердцевине их теплого гнезда — и незаметно уснула.

Утром меня разбудила медсестра. Я открыла глаза, и она еще раз тронула меня за плечо, сметая обрывки сна, еще цеплявшиеся за ресницы, и тогда я тревожно посмотрела на нее. У медсестры было отстраненно служебное лицо, как бы говорившее, что волноваться особенно незачем. Но доверительным движением, как священник, явившийся дать причастие приговоренному, она вложила мне в руку ключ от ванной комнаты и проговорила: «Можете не торопиться, вы — вторая на очереди». Я залезла под душ, размышляя над ее словами — вторая, это значит, у хирургов есть объект посерьезнее. Или наоборот, они хотят как следует разогреть руки передо мною. Когда я вернулась в палату, женщины уже встали. Радио предупредительно молчало. Соседки встретили меня подбадривающими улыбками, я тоже улыбнулась им замерзшими губами. Пришел Алексей Алексеевич, стал долго разговаривать с Машей, ощупывая ее опухоль. Я впилась взглядом в его аккуратно выстриженный затылок, гадая, что он мне скажет. Он приостановился у моей кровати и проговорил: «Кажется, мы спокойны...» — и мне ничего не

оставалось, как подтвердить его наблюдение. Снова вошла та же медсестра, сделала мне несколько уколов и сказала: «Девочки-милые, продукты с подоконника уберите, санэпидстанция ходит».— И я стала помогать убирать продукты.

Прошло полчаса. Я лежала, а снег за окном шел и шел и опускал меня все глубже и глубже, так что, когда медсестра привезла каталку, я почти спокойно перекочевала из одного сугроба в другой. Теперь я смотрела на лампу дневного света на потолке, чувствуя, как меня со всех сторон подтыкают простыней, ощущая себя кем-то вроде артиста изображающего короля,— самому ничего играть не надо, только важно присутствовать на сцене. Мы выехали из палаты. В коридоре у лифта стояла Маша и разговаривала по телефону. Прижав щекой трубку, она осторожно пожала мне плечо. И дальше пошли одни стерильные впечатления.

Два белых ангела в кабине лифта перепоручили мое тело двум другим белым. Мы поднялись на восьмой этаж и подъехали к стеклянной двери, на которой была табличка: «Чистая зона». Они переменили простыню, надели мне на ноги бахилы и повезли в операционниую. Потолок плыл, как снег.

В операционной никого не было. Я перекатилась на узкий операционный стол и стала смотреть на круг с лампами над головой, пока его не заслонила чья-то большая белая голова. Это был анестезиолог. Он по-домашнему произнес: «Здравствуйте». И я сказала: «Здравствуйте». Пока сестра устраивала капельницу и искала вену, мы с анестезиологом вели непринужденную беседу. «Вы похожи на актрису М.».— «Да, мне уже говорили».—«Вот видите, а я смотрю и думаю: на кого это она похожа? Сейчас примерим масочку,— сказал он, окуная мое лицо в резинку.— Особенно брови, глаза — точно, как у М.» — «Ну и ладно,— подумала я,— теперь все, больше от меня ничего не зависит: покой». И отвернув от него голову, ушла в уют операционного стола.

Когда все закончилось и меня привезли в палату, после пробуждения от наркоза со мной случилось третье за эти дни превращение: теперь мне не нужны были никакие люди, ни первые, ни последние, ни родные,— не нужны совсем. Душа была далеко, как снег, бредущий за окном, на кровати лежало пустое тело, чувствующее лишь его, тела, заботу, боль внутри него, а на поверхности боли не было, потому что когда сестричка вколола в руку несколько уколов, я их не почувствовала. Я лежа-

ла, окутанная смягчающейся болью, а потом дурманом, сквозь который слышала голос моей сестры, спрашивающей, не смочить ли мне губы, но голос ее уже гулко отдавался в коридорах сна.

В палате бубнила радноточка: «...развитне хлорных производств привело к накопленню полнхлорнрованных полицнклнческих соединенний, которые н в мизериых концентрациях подавляют иммунную снстему организмов, а в более высоких поражают центральную и перифернйную нервную снстему, печень, пнщевой тракт и другие органы...»

— Выключн, ради Бога, лучше иичего ие знать.

— В прошлом годе пошли кнслотные дожди, и всю картошку пришлось выкопать. По радио объявнли, чтоб выкопали. И капуста пропала. А на рынке дорого и одии ннтраты.

— Ты по осам смотри: я беру всегда те фрукты, где осы вьются, над нитратамн они ие станут виться.

— Скоро и ос не станет.

— А как прошли эти кнслотные дожди, у нас перед крыльцом ни с того ни с сего вымахали во-от такие грибы. Петровнч мой говорнт, ядовнтые.

...Ядовитые. Перед крыльцом нашего мира, в стране Восходящего Солнца тоже вырос гриб. Мама рассказывала—после сообщения народ высыпал на улицы, было всеобщее ликование... Так ты для этого, отец, ночей ие спал, света белого не видел, отдыха не знал, о самом себе позабыл и родиых позабросил? Горло, как ннеем, обложено наркозом. То, что сделал ты, можно было сделать только под иаркозом, в скорбном доме, где санитары двухметрового роста бьют по головам и вяжут в смирительные рубашки.

— Смотри, просиулась. Ты проснулась? Проснулась?

На следующий день Галю выписали, а на ее место положили старушку Марию Андреевну. Маша подсела ко мне н сказала шепотом: «Только этого нам ие хватало», ио, ие увидев сочувствия в моем лице, встала и занялась приборкой палаты к обходу. Старушка, в своей слабостн и беспомощности, на сегодняшнее утро была мне ближе, чем Маша. Ее появление точно укрепляло мое право на бесконечиое лежанне, иа онемевшее радио, завтраки в палату. Вошел Алексей Алексеевич — краснвый, медлнтельиый, спокойиый, склонился над старушкой и погрузил руки в ее шнрокнй, плашмя лежащнй жи-

вот. Я видела, как ходят ходуном под халатом его лопатки, точно он месит тесто, и видела бабушкин профиль, уставленный в потолок грезящий взгляд. Мария Андреевна ни разу не скосила на него глаза, точно тело было и не ее вовсе — и оно действительно ей почти уже не принадлежало. Его нечего было стесняться: оно до последней капли отдало все, что положено телу, и даже боль от пролежней была отдаленной и едва различимой. Осталась одна оболочка, в которую добросовестно и подробно вникал Алексей Алексеевич.

На другое утро я села на кровати, спустив ноги, лицом к старухе. Я смотрела на нее, не отрываясь, но не могла поймать ее плавающий, как у младенца, взгляд. Прибывало чувство вины, и это было признаком выздоровления. Я представляла, как трудно родственникам общаться с этой бабушкой, ведь что ни слово—то ложь, даже если чувствуешь в душе несокрушимую вину. Она была уже далека от земных притязаний. Болезнь освободила ее от забот о собственном теле. Это только в природе пораженное молнией дерево существует на равных с молодой порослью. В человеческом обществе на глубоких стариков часто смотрят с недоумением и снисходительной усмешкой — нам, дескать, до такого не доскрипеть.

Пришли ее родственники — с юристом. Двое мужчин крепко встали по обе стороны кровати, женщина-юрист, с ко всему привычным лицом, села, вынула из сумочки бумаги и разложила их на столе, третья родственница примостилась в ногах старухи и, чтобы как-то избавить себя от чувства жгучей вины, стала подрезать бабушке ногти. Мужчины то прибирали на тумбочке, то поправляли бабушке подушки. Им-то еще было жить да жить, тащить груз жизни и ее неистребимой лжи в гору, им еще надо было делать приличную мину при скверной игре, как того требовали условия игры, и они тащили свои цепи и вериги, насупившись, расставив ноги, выгнув тяжелые шеи, как волы. Бабушка, сделав над собой усилие, ответила на вопросы юриста. Юрист шуршала шариковой ручкой, обращаясь к бабушке ласковым и громким, а к родственникам — громким и официальным, пропитаным осуждением голосом.

Через день я уже ходила по палате, а к вечеру, услышав голос моей сестры, вышла в коридор. Моя сестра стояла, в своем белоснежном халате, с хирургом Александром Ивановичем. Он, как бы в удивлении, развел руками: «Ну, уже ходите вовсю! Хорошо». Теперь я смотрела на него с таким чувством, как смотрят на бывшего

возлюбленного, с которым давно все уже кончнлось, н не знаешь, как себя вести. Спохватившись, я сказала, глядя в его удаляющуюся спниу: «Славный человек, дай ему Бог здоровья. Непоиятно, почему от такого ушла жена». Сестра, нахмурившись, произнесла: «Прошу тебя, не собирай больничные сплетин». И добавила уже мягче: «Я прннесла хурмы н яблочиого сока: ешь и пей больше». Я проводила ее до лифта, а когда вернулась, в палате, осмелев, уже говорнло радно. Наглядно демонстрнрует. Убедительио доказывает. Постояино наращивать. Всемерно укреплять...

Маша кормнла с ложечкн Марню Аидреевну, а оиа, все так же грезя, смотрела в потолок, послушно, как ребенок, открывая рот. Маша говорила: «Ну еще одиу... вот умничка», а радио пело: «Что же нам с инми делать, с яблоками иа снегу?..» «У каждого свон проблемы»,— заметила Маша н подмнгнула мне, а я — ей.

Мы стали негромко, стараясь не беспокоить старуху, разгадывать кроссворд. И вдруг, когда с очередиым словом вышла замннка, бабушка отчетливым голосом сказала: «Резерфорд». Мы с Машей переглянулнсь. Бабушка снова иетерпелнво повторила: «Резерфорд»,— н Маша для верности прочитала еще раз: «Английский ученый-физик, один нз создателей учення о радноактнвиости и строенин атома» и, посчнтав буквы, сказала: «Правильно»,— и мы с ней снова переглянулись со смущенным видом, будто с намн в контакт вступил марсианнн. Жизнь не переставала уличать меня в самоиадеяиности. Маша ушла на процедуры, а я, желая загладнть свою внну, попыталась заговорить со старухой, но она сначала упорио молчала, а потом на мой вопрос: «Вы, навериое, местная?», пошамкав ртом, заметила, что в этой больинце кормят нсключительно одиой пшеикой.

И я опять сказала себе, отвериувшнсь к окну: думай, думай, проснись, просннсь, ведь ты только что вериулась из чнстой, где тебя как бы не существовало, зоиы, ие у всех есть такая возможность взглянуть на жнзнь со стороны, вернувшись, неужели н после этого все пойдет, как было, неужели н дальше пойдет эта же жнзиь с пробуждением в короткий ночной сои, перемежающийся бормотанием спящего ребенка, жнзнь со впаденнем в спячку, озаренную звоном будильнника, с теми же страхамн в душе, словио отовсюду горят, как фары, волчьи глаза опасности. И какая же может поджндать опасиость, еслн уравнение со многимн неизвестнымн заранее решено, решение есть, а что за сон там, в скобках, какая, в сущно-

сти, разница. Конечно, с точки зрения чистой зоны легко говорить, а вот когда живешь в скобках так подробно, не замечая знаков препинания, живешь, точно торопишься проговорить скороговорку и не поперхнуться ею,— тогда другое дело. Жизнь несется, как снежный ком с горы, набирая тяжести в теле, а снег за окном все идет и идет,— и все это мне что-то напоминало... Вся эта картина за окном была мне знакома, узнаваема, но не так, как вообще бывает знаком пейзаж среднерусской полосы, а иначе, тревожней и ближе, как только что приснившийся сон. Пришла моя сестра, и я сказала ей об этом. Я сказала, что у меня такое чувство, точно за теми елями стоит теремок. Сестра странно молчала, и когда я взглянула на нее, то увидела на ее лице удивление, превосходящее мои ожидания, и спросила: «А что?» Сестра, коротко вздохнув, сказала: «Нет, ты этого не можешь помнить, этого не помню даже я, хотя знаю, что на этом самом месте, где сейчас больница, стоял коттедж, в котором мы тогда жили. А за елями домик Курчатова, он и правда похож на теремок — теперь там какой-то кооператив. Но ты не можешь помнить все это, тебя тогда на свете не было». «За домиком река?» — спросила я наугад. «Пруд»,— ответила сестра радостно. «А дальше железка».— «Дальше мы не ходили, дальше была проволока».

Осень, спеша, обогнала календарь, раздела прежде времени деревья, высушила траву, снег длился и длился, заметая горизонт, отсекая клубы дымящихся вдали труб. Только лес смутно рябил перед глазами, как мелкий, ксерокопированный текст одной прекрасной, недавно прочитанной книги, в которой рассказывалось и об этом самом поселке, заносимом снегом сорокалетней давности. Снег покрывал прошлое ее героев, непридуманных, действительно живших на белом свете, мягко отсекал от этих людей их родных и близких, еще существующих в их мыслях, просеивал насквозь всего человека, чтобы в нем остались лишь силы идти вперед, под градом понуканий и угроз, преодолевая глубокие снега. Человек мечтал о своем теле: как внутри него еще тепло — и если б можно было засунуть окоченевшие руки внутрь живота, как в муфту. И как это странно: жизнь мерцает в теле, дрожит в позвоночном столбе, со всех сторон сдавленная, как столбик ртути в градуснике, и что ей ни делают, все еще колеблется меж делений позвонков, но если скатится с этого склона, ее тут же занесет снег бессрочной зимы. А когда снег уйдет с земли, накатит весна, изумрудной волной перельется в лето, потом осень сметет накопленные с помо-

щью солнца сокровища, н новая зима погребет их под собою, но это все ничему иас не учит, иет, хотя такое пронсходнт всякий год, начнная от сотворения мира. Сегодня сугроб вырос до подоконника физнокабинета на первом этаже, где мы с Машей по утрам прииимаем озокерит. Сиднм и переговариваемся через перегородку. Оиа говорнт: Куда это подевались дворннкн? Навериое, их заиесло снегом. Что оин себе думают в жэке, иеужели трудно проложнть тропинкн. Должно быть, н жэк занесло. Раиьше работать умели, говорит Маша, а сейчас разлеиились со страшной силой. И в самом деле, кто проложнт нзвнлистые, как наши мысли, тропинки? Мы одновременно перевернули иа полочке у нзголовья песочные часы, каждая свон, и посыпалась еще одиа порция нашего времеин, а снега уже по пояс. В декабрьскнх дебрях, засиеженных, сонных, сугробы по самые плечи. Перевернули часы еще раз — и остались под снегом вместе со стекляшкой, наполнениой умершим временем. Маша сказала: у меня уже остыло. И у меня остывает. Сестрнчка, вы про нас забылн, снимите озокернт. Не забыла, сейчас.

Здесь длнлось то же нескоичаемое небо, что уже третий месяц внсело иад Москвой. Третий месяц иад столнцей висела хмара, в которой дии и иочн былн похожи на смутные сумерки. К окоииому стеклу лепнлся тусклый, медиый, как отблеск похороииого оркестра, свет, и нн солнечиый луч, ин звездный ие моглн сквозь иего прорваться. Человек чувствовал себя сплюснутым н полусонным между тяжкнм бурым небом и сырымн снегамн, может, поэтому мне н казалось, что однн день пробуксовывает в другом, н было душно в застоявшемся воздухе.

Но сейчас хорошо было смотреть иа спокойное серое иебо и легче было выздоравлнвать под инм. Хорошо было смотреть иа снег. Я представляла себе, как в глубокнх снегах в пятом часу утра с фонарнком в руке мой отец прокладывает тропннку, направляясь в свою лабораторню...

Скоро будет год, как он просыпается с ощущеннем непочатой радости и фнзического здоровья в теле. Он выходит из дома иа час раньше, чтобы надышаться свободным, морозным воздухом. То и дело останавливается, гаснт фонарик, окуиая взгляд блнзоруких глаз в темное иебо с улыбчивым месяцем, в светящнйся снег, отбрасывающий, словно тени, темные деревья, стоящие по обе стороны тропннкн. Он ие вндит нн автоматчнков иа вышках,

ни колючки, разделившей людей от людей, деревья от деревьев, не слышит лая собак и радиоголоса громкоговорителя, потому что здесь, в зоне, он наконец-то обрел свободу, о которой мечтал целое десятилетие, начиная с первого дня войны и заканчивая последним днем пребывания на Колыме, когда его и коллегу Москалева, тоже доходягу, положили в сани и повезли на станцию. Чтобы чувствовать свободу, ему не надо, как Москалеву, выписывать из опечатанной квартиры в Москве библиотеку и пианино, ему вполне хватает этой едва отапливаемой лаборатории, размещенной в двухэтажном бараке, возможности читать научную периодику и возобновления переписки с норвежским ученым, разрабатывающим ту же проблему.

Он открывает лабораторию, снимает полушубок, надевает халат, запачканный реактивами. Он слышит, как по крылечку, ведущему в барак, медленно поднимается генетик Тисын, беззубый, с проваленными щеками, ему и щедрая шарашкина кормежка не впрок. Жены все еще нет с ним, хотя, говорят, Завенягин обшарил все лагеря — но Тисына как сквозь землю провалилась. Скорее всего, сквозь землю, под колымские или воркутинские снега. Ученому осторожно советуют присмотреть себе вольнонаемную, но отец, поддерживающий с Тисыным дружеские отношения, понимает, что этот человек одновалентен, как *Na* или *K*. Отец светит фонариком на циферблат часов: без пятнадцати пять, свет дадут через полчаса, в его распоряжении есть время для отдыха и размышлений. В дверном проеме появляется Тисын, на ходу сметая с валенок снег. Резкое пятно прыгает ему в лицо. Тисын, заслонившись рукавицей, говорит:

— Ну, вы, однако, прямо как мой следователь. Здравствуйте, Александр Николаевич.

— Доброе утро, Анатолий Викентьевич. Извините меня.

Тисын присаживается на скамью, аккуратно складывает рукавицы, словно ладони для молитвы, и привычным движением сует их поглубже за пазуху.

— Знаете, мой следователь был совсем нелюбопытный тип, физиономия простая, я бы сказал — внушающая доверие, крестьянская. Иногда, листая мое дело, забывался и слюнявил палец, переворачивая страницу. Однако фамилия была знаменитая: Башмачкин. Когда он мне представился, я даже вздрогнул: Бог мой, это великая русская проза, о которой я и думать забыл в те дни, поприветствовала меня в моем мрачном подземелье. Что-то,

думаю, в этом есть неслучайное. Сижу на допросе, жмурюсь от света и предаюсь одиноким размышлениям. Эх, думаю, Николай Васильевич, свет очей моих, посмотрел бы ты сейчас на своего маленького человека. Вот он сидит предо мною в лучах своей славы, светит мне в лицо настольной лампой, и ему, как и его однофамильцу Акакию Акакиевичу, не нужно никакой такой сатанинской власти над миром, а нужна всего-навсего теплая шинелишка, и он добросовестно шьет мне дело, чтобы сшить себе шинель, которую у него рано или поздно сопрут ночные воры.

Будто время перевернули, как песочные часы, и весь наш департамент оказался внизу, директор, столоначальники, советники угодили за решетку, а мой Башмачкин оказался наверху, сменил свой рыжевато-мучного цвета вицмундир на гимнастерку и стал работать сочинителем. Когда мы с ним прощались, он подошел ко мне вплотную и говорит шепотом: «Вы не беспокойтесь, хозяйку вашу не взяли». Смотрю ему в лицо своими воспаленными глазами и вижу: следователь-то мой, оказывается, рыжий, глаза голубые и физиономия в веснушках. Поверил я тогда этим веснушкам, от души отлегло, что не взяли жену. Не может ведь такой, с веснушками, соврать... Оказалось, может, еще как. И этот савраска уже натянул, как шинель, шакалью шкуру. Такое и Николаю Васильевичу присниться не могло в его страшных снах... А вашей супруге, говорят, разрешили рожать в Москве? Очень милостиво с их стороны.

— Бросьте. Просто мы с вами им понадобились, вот и вся милость.

— Что ж. Приятно было побеседовать. Всего наилучшего, Александр Николаевич.

— Будьте здоровы, Анатолий Викентьевич.

Еще с минуту отец слышит шаги над головой, потом и они стихают: Тисын сел на свое рабочее место и углубился в изучение своих страшных уродцев: подвергшихся радиоактивному облучению кроликов, облезших, с проплешинами на боках, но невероятно живучих, мышей и крыс, разбегающихся, точно нечистые мысли, по вольеру, собак, морских свинок. Отцу неведомо, что именно изучает Тисын, это его не интересует, хотя если бы он имел возможность заглянуть на десятилетия вперед, он бы очень заинтересовался этой проблемой, которая в будущем будет иметь самое прямое к нему отношение А пока Тисын сидит себе на втором этаже, утомленный, старый, как парка, и прядет нить будущего, а отец сно-

ва светит на циферблат: год 1947, февраль месяц, 22 число, время 5 часов 12 минут утра — он еще не знает, что ровно через полсуток появится на свет его первая дочь. Самое любимое его время, затерянность в снегах, в работе. Он накидывает на плечи овчинный полушубок, садится в вертящееся трофейное кресло и несколько минут греет пальцы над спиртовкой. Он сидит, ссутулившись над крохотным огоньком, с бессмысленной счастливой улыбкой пещерного человека, впервые добывшего огонь трением одной деревяшки о другую. Он греет свои большие руки, с которых уже сошли мозоли, чтобы поскорее сбылись пророческие сказки человечества об огненных реках, кисельных берегах, воспламенившихся озерах, потопленных градах Китежах, подземных царствах. Отец сидит, кутаясь в звериную шкуру, как великан над маленьким костерком, в котором уже столько сгорело и еще сгорит: бедный домишко в Пензенской губернии, где он появился на свет, высокие волжские кручи, где прошло его детство и юность, сосны, стоящие по берегам, как свечи, полноводные, полнорыбные реки, чистые криницы, зяблики на ветке, снегири на снегу, деревенские завалинки, старые мельницы, малиновый звон на заре.

Он не знает сомнений: его собственные научные цели так удачно совпали с целями государства,— но все дело в том, что сомнение заложено в самой природе человеческой, а из природы ничего не исчезает и не пропадает бесследно: от реакции отца с его жестоким временем сомнение выпало в осадок, который еще отложится в костях его детей, в сердце внуков. Он мирно сидит и мирно дует на свои холодные пальцы, с нетерпением предвкушая, как вот-вот зажжется свет и лаборатория оживет, наполнится людьми, и дыхание его трудов разнесется по всему миру. Согрев руки, он принимается за работу.

Проходит с полчаса, следы его успевает замести снег, а еще через полчаса, шурша по снегу, понурившись, проходит колонна людей. И дальше по протоптанной тропинке идут и идут люди — колоннами или поодиночке,— и снова тропинку заносит снегом. Ни звука, ни человека, тишина, деревья и снег, безопасность, чистая зона.

СОДЕРЖАНИЕ

Н 42 **Недолгое пребывание в камере пыток** / Сост. В. Л. Шохиной.— М.: Правда, 1991.— 480 с.

ISBN 5—253—00236—7

В сборник включены лучшие прозаические произведения, опубликованные на страницах журнала «Знамя» за последние несколько лет.

Н $\frac{4702010201—2330}{080(02)—91}$ 2330—91

84 Р 7

Литературно-художественное издание

НЕДОЛГОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В КАМЕРЕ ПЫТОК

Составитель
Шохина Виктория Львовна

Редактор «Библиотеки»
В. Ф. Кравченко

Оформление художника
С. И. Мухина

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 2330

Сдано в набор 17.01.91. Подписано к печати 11.07.91.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературнан». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 27,33.
Тираж 300 000 экз. (1-й завод: 1—150 000).
Заказ 218. Цена 3 руб.

Набрано и сматрицнровано в типографни издательства «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографин издательства «Советская Сибирь»,
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.

3 руб.

В сборник «Недолгое пребывание в камере пыток» вошли лучшие повести и рассказы, опубликованные на страницах журнала «Знамя» за последние несколько лет.
Среди авторов сборника Ю. Трифонов, Ф. Искандер, А. Битов, А. Ким, Д. Гранин, В. Тендряков, В. Шаламов, Б. Окуджава и другие писатели.